Новый Журнал

66

THE NEW REVIEW

Statement required by the Act of August 24, 1912, as amended by the Acts of March 3, 1933, July 2, 1946 and June 11, 1960 (74 Stat. 208) Showing the Ownership, Management, and Circulation of The New Review, Inc. Published Quarterly at New York, N. Y., for October 1, 1960.

1. The names and addresses of the Publisher, Editor, Managing Editor, and Business Managers are:

Publisher, New Review, Inc., 2700 Broadway, New York, N. Y.; Editor, Prof. Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 24, N. Y.; Managing Editor and Business Manager, Roman B. Goul, 506 West 113th St., New York 25, N. Y.

2. The owner is: (If owned by a corporation, its name and address must by stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual member, must be given).

New Review, Inc. No stocks. 2700 Broadway, New York 25, N. Y.; President, Nicolas S. Timasheff, 140 West 86 St., New York 24, N. Y.; Secretary, Alexis Goldenweiser, 523 West 112th St., New York 25, N. Y.; Treasurer, David Shub, 920 Riverside Drive, New York 32, N. Y.

3. The known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or other securities are: (If there are none so state).—None.

4. Paragraphs 2 and 3 include, in cases where the stockholders or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting; also the statements in the two paragraphs show the affiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner.

5. The average number of copies of each issue of this publication sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers during the 12 months preceding the date shown above was: (This information is required by the act of June 11, 1960 to be included in all statements regardless of frequency of issue). 1117.

Roman Goul, Managing Editor

Sworn to and subscribed before me this 23th day of September, 1961, James Sweetman, Notary Public, State of New York, Qualified in New York County, My Comission Expires March 30, 1963.

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели

М. АЛДАНОВ и М. ЦЕТЛИН

С 1946-го по 1959-й редактор М. КАРПОВИЧ

Двадцатый год издания

КН. 66 НЬЮ ИОРК 1961

РЕДАКЦИЯ:

Р. Б. ГУЛЬ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАШЕВ

NEW REVIEW, December 1961
Quarterly, No. 66
2700 *Broadway, New York* 25, *N. Y.*
Subscription Price $9. — *for one year*
Publisher: *New Review, Inc.*
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Из архива И. А. Бунина 5
Зинаида Гиппиус — Стихи 7
Сурен Санинян — Философ 8
Николай Моршен — Стихи 43
Анатолий Сапронов — Революция 46
Олег Ильинский — Стихи 58
П. Штейнгель — За дрофами 63
Михаил Чехонин — Индейские мотивы, стихи 71
П. Лапикен — Соловей 73
В. Злобин — Стихи 78
Иван Елагин — Льдина, поэма 79
Георгий Адамович — Table Talk 85
Н. Берберова — Ключи к настоящему 99
В. Вейдле — Ходасевич издали-вблизи 124
Тамара Петровская — Об эстонской поэзии 141
Б. Домогацкий — Н. А. Малько 156

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

Леонид Зуров — Литературное завещание И. А. Бунина . . 166
Ив. Бунин — К моему завещанию 169
Дневник П. Н. Милюкова 173
Л. Кауфман — Мой отец Шолом Алейхем 204

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

Н. С. Тимашев — Судьбы России 225
Прот. о. В. Зеньковский — Мифология в науке 237
Д. Шуб — Европейский социализм и советский коммунизм . . 247
Проф. С. Верховской — О Гоголе 260
Ю. Денике — Из европейских впечатлений 267

БИБЛИОГРАФИЯ:

Леонид Зуров — «Тамань» Лермонтова и «L'Orco» Жорж Занд. *Б. Прянишников*—Н. Рутыч. «КПСС у власти». *Г. Аронсон* — Ю. Марголин. «Еврейская повесть». *Вяч. Завалишин* — «Литуанус». *Н. Ульянов* — Н. Оцуп. «Жизнь и смерть». «Современники». «Литературные очерки» 278

Указатель содержания «Нов. Журн.», кн. 59—66 293

PRINTED IN USA BY RAUSEN BROS., 142 EAST 32 ST., NEW YORK 16, N.Y.

ИЗ АРХИВА И. А. БУНИНА*

ПОРТРЕТ

Богатая квартира, вечно безмолвная, — хозяин человек холостой, одинокий, гостей приглашает только по воскресеньям.

В просторной прихожей, устланной черно-красными коврами, медленно, беззвучно блещет медный диск маятника в английских высоких часах, каждый час оживающих: льется, переливается мелодический звон по всей квартире.

Сумрачная и великолепная столовая в темной фанере. Тяжелый стол из темного гладкого дерева без скатерти, темные дубовые стулья с очень высокими спинками. А над огромным кирпичным камином — достопримечательность квартиры, гордость хозяина: чей-то старинный портрет, писанный будто бы каким-то знаменитым художником, — смотрит с потрескавшегося лакового полотна, не спуская с зрителя глаз, куда он ни пойди, большой, плотный мужчина в бархатном малиновом берете, с коричневой прямоугольной бородой. Ничего замечательного нет в этом портрете. Но все гости хозяина, зная, что он им гордится почему-то, — совершенно неизвестно, почему! — считают своим долгом продолжительно, задумчиво, даже с важной грустью смотреть на портрет и наконец тихо говорить:

— Да. Вещь замечательная.

Так и проживет хозяин еще лет двадцать с этим неизвестным человеком в малиновом берете, с коричневой бородой, ставшим давным давно только картиной.

---

* Эти два неопубликованных рассказа И. А. Бунина и его литературное завещание присланы нам Л. Ф. Зуровым из архива И. А. Бунина. РЕД.

«КОГДА Я ВПЕРВЫЕ...»

Ходит по его большому кабинету в необычное время, в одиннадцатом часу темного петербургского утра, горячо говорит, слушая только себя, — тонкая кожа щек горит розовыми пятнами, продолговатое лицо очень похорошело:

— Когда я впервые...

Уже забыла, что хотела сказать только одно, — «просто и честно» признаться в своей любви к другому, — упивается теперь своей театральностью:

— Когда я полюбила тебя или вообразила, что люблю... Когда я, неопытная, не знающая жизни, доверчивая девочка, впервые взглянула в лицо действительности...

Внезапно вошла к нему в халате, после ванны, вся пахнущая миндальным мылом, с красиво убранными блестящими волосами, и сама чувствует, что должен чувствовать он, глядя на движения ее высокого тела под мягкой фланелью, подпоясанной длинным шнуром, на то, как открываются от быстрой ходьбы ее долгие ноги в натянутых черных чулках.

— Я решила наконец просто и честно, как порядочная женщина, положить конец тому двусмысленному положению, которое образовалось между нами — лично для меня, по крайней мере...

Он, повернувшись в кресле возле письменного стола, уже одетый с утренней тщательностью для выезда в город, слушает идиотически, думает «положить наконец конец!» и делает вид, что очень занят стряхиванием в пепельницу пепла с папиросы. Бормочет фальшиво-дружески:

— Да, да, пожалуйста говори все откровенно, напрямик... И поверь, что я сумею стать выше эгоистических соображений...

— Да, прежних чувств у меня к тебе нет! Да, ты убил их во мне!

— Чем, мой друг?

— Всем, всем!

— Например?

— Например! Когда я впервые поняла наконец, что все то духовное, чистое, на что я так страстно надеялась, вступая в жизнь...

Он сидит, опустив голову, пристально разглядывая свои размытые ногти, уже бледнея от злобы, и тихо говорит:

— Позволь тебе напомнить, что «вступая в жизнь», ты имела уже двадцать восемь лет...

22. 4. 44 *Ив. Бунин*

***

Любовь уходит незаметно,
Она бездейственно не ждет.
Скользит, скользит... И было б тщетно
Ее задерживать отход.

Не бойся этого скольженья
Ты так легко ослепнешь вновь,
Что позабудешь и прозренья
И слово самое любовь.

СТУЖА

Как эта стужа меня измаяла,
Этот сердечный мороз.
Мне бы заплакать, чтоб сердце оттаяло,
Да нет слез...

З. Гиппиус

Эти два стихотворения З. Н. Гиппиус присланы нам В. А. Злобиным из архива Мережковских. РЕД.

ФИЛОСОФ*

Философа, о котором я хочу сейчас рассказать, я встретил в моем первом концлагере. Лагерь этот, как кусок ледяного ада, крепко сидел на высоком берегу сибирской реки, неподалеку от дикой и мрачной тайги, раскинувшейся, как океан. Со всех сторон лагерь окружала высокая стена проволочных заграждений, и на пересекающих ее пунктах поднимались наблюдательные вышки.

1

Нас, вновь прибывших зе/ка, было человек шестьсот. Мы вошли в ворота, во двор. Когда нас кончили проверять, ко мне подошел из нашей партии невысокий плотный зе/ка, с длинной черной бородой и спросил меня по-армянски:

— Армянин?

Думая, что это священник, я поклонился ему и сказал:

— Да, батюшка.

Но бородатый весело засмеялся, показав белые, здоровые зубы:

— Вай! Что я тебе скажу, такому армянину-христианину, который не умеет отличить гражданского человека от духовного.

— Простите, дядя, я думал, что вы священник, — сказал я.

— Дядя? А сколько тебе лет?

— Двадцать два.

— Послушай! А если и мне 22, как же я могу быть твоим дядей? — И он смеялся, как-то весело наступая на меня.

---

* Мы печатаем в переводе с армянского второй отрывок из «Я совершил преступление» Сурена Саниняна. Первый отрывок напечатан в кн. 64. РЕД.

— Ты сперва скажи, почему ты такой веселый? — спросил я.

— Веселый? Да я за последнее время не встречал здесь армян, а сейчас вот говорю по-армянски, как же мне не веселиться!

— А за что тебя взяли?

— За философские взгляды.

— Ты философ? — спросил я удивленно.

— Да, философ.

— Какой же ты школы?

— Своей собственной.

— Это хорошо, — засмеялся я, — а разве ты что-нибудь уже написал?

— Написал. Мою рукопись отобрало ГПУ, — проговорил он печально.

— О чем же ты писал?

— Я отрицал материализм.

— Смог? — спросил я.

Он как-будто обиделся. И ответил известной армянской поговоркой:

— А ты думаешь, я такой легкий, что ты поднимешь меня одной рукой?

— Да нет, конечно.

— А ты кто такой? — спросил он меня.

— Я — кто? Я раб, — ответил я.

— Это не новость. Я и без тебя вижу, что ты раб, а не рабовладелец, — улыбнулся он.

— Я и предпочитаю быть рабом, а не рабовладельцем.

— Вот это ты молодец, — похвалил он. — Человек уже не человек, если он рабовладелец. А скажи мне, какая твоя профессия?

— Агроном.

Он засмеялся.

— Пока вас, агрономов, не было, наше сельское хозяйство было в порядке. У крестьян был хлеб. А как вы появились, все села разрушились и хлеба нет.

— Ну, это не мы, агрономы, сделали.

— Знаю, что не вы, но я всё-таки буду тебя считать разрушителем села, а не строителем.

В это время толпа заключенных дрогнула и рванулась по направлению к зданию. Все сразу побежали.

— Это что такое? — спросил озабоченно философ.

— Камеру дали. Бежим, скорей место занять, — проговорил я торопливо.

Но философ резко меня оборвал:

— Нет, я не побегу.

— Но пойдем всё-таки поскорее.

— И этого не сделаю, — очень спокойно проговорил он и так тихо пошел, будто действительно был древнегреческим философом, вышедшим на прогулку со своим учеником.

Из моего тюремного опыта я уже знал, что если в камере мы не захватим места, нам придется очень туго, и я стал прямо-таки умолять философа: — Пойдем скорее, философ, а то мы пропали, пойдем...

Но он только наморщил лоб и очень строго сказал: — Если тебе так хочется получить место в камере, беги и оставь меня в покое.

Оставить его одного я не мог.

Когда мы подошли к двери камеры, стоявший у дверей часовой сделал к нам шаг, поклонился и стал хохотать: — Ваше высокоблагородие, простите, докладаю, что самовар еще не поспел. Может вы хотите еще погулять, пока ваши благородные дамы находятся в процессе занятия туалетом?

Философ, не понимавший по-русски ни слова, спросил меня: — Что он говорит, агроном?

Но часовой не дал мне времени перевести. Он обеими руками так дал нам в спины, что мы влетели в камеру и оба упали под ноги стоявшим заключенным.

В камере — шум, крики. Люди уже заняли места. Камера — длинная, как амбарное здание, из свежих бревен. У стен поднимались к потолку трехэтажные нары. Меж нарами, в узком проходе, опоздавшие зе/ка торопились захватить себе ме-

сто, кричали, спорили. Мы с философом были последние. И было ясно, что мы уже никакого места себе на найдем.

— Пусть Бог разрушит твой дом, — пробормотал я армянскую поговорку, обращаясь к философу. — Откуда ты взялся, зачем ты меня встретил, — рассердился я на него.

Философ лежал.

— Много не говори, — почти простонал он, — помоги мне лучше встать, а то они затопчут меня.

— И хорошо сделают, если затопчут, — сказал я, помогая ему встать.

— Почему хорошо?

— Потому что теперь, где мы будем лежать?

— Смотри, вместо того, чтобы сердиться на твоих хозяев, ты сердишься на меня.

Я готов был его ударить.

Шум в камере постепенно стихал. Многие усталые с дороги зе/ка уже лежали. Всё вокруг нас было занято до самого порога. Для меня и философа остался всего один шаг возле двери, между несколькими парашами и лежавшими на полу людьми. Потеряв надежду найти что-нибудь лучшее, я лег. Между мной и парашами было полшага. От раздражения я не говорил с философом. Если бы не он, я сумел бы, успел бы занять место на нарах. Если бы он даже хоть немного поторопился, мы могли бы занять место между нарами в «коридоре». А теперь? Я уже знал, что такое лежать около параши в камере, где заперто несколько сот заключенных.

Теребя свою бороду, философ стоял и смотрел себе под ноги.

— Ложись! Чего ты стоишь?

— Куда ложись?

— Где стоишь — там и ложись!

Философ лег между мной и парашей. Мы долго молчали. Потом он тихо позвал меня:

— Агроном.

— Что, философ?

— Сердишься на меня?

— Да, очень!

— Не надо, братец, — проговорил он, протянув руку и ласково погладив меня по лицу. Смягчаясь от этой его ласки, я спросил:

— Скажи, почему ты не хотел бежать?

— Я не могу этого делать.

— Почему?

— Сам не знаю. Я не могу тебе этого объяснить, — с какими-то паузами, отрывочно проговорил он. Мы долго молчали. Философ лежал с закрытыми глазами. Я его окликнул:

Философ!

— Что, агроном?

— Как относится твоя философия к нашему положению?

Не открывая глаз, он сказал: — Не понимаю.

— Как твоя философия принимает наше рабство?

— Очень хорошо, — ответил он совершенно серьезно.

— Чтооо?

— Я сказал тебе — очень хорошо.

— Что ты, с ума сошел или, может быть, твоя философия это философия сумасшедших?

— И ни то, и ни другое.

— А что же тогда?

— Ничего. Ты должен познакомиться с моим учением.

— Ну, какое оно?

— Если я до утра тебе буду объяснять, ты всё равно ничего не поймешь.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что я вижу, что мы с тобой смотрим на всё по-разному. Мы люди разных мировоззрений.

— Какое же твое мировоззрение?

— Одним словом его нельзя определить.

— А какое мое мировоззрение?

— Эгоизм.

— Мое?

— Да, твое.

— Ошибаешься, философ.

— Дай Бог, чтоб ошибался.

— Да, ты ошибаешься, — разгорячился я. — Ты не знаешь, что меня арестовали за то, что я хотел помочь голодающим крестьянам, даже не нашим, а чужого села.

— Как начало, это хорошо, продолжай в том же духе. Но и не жалуйся тогда, что ты раб и что у тебя нет места где лежать.

— А какая мне польза оттого, если я не буду жаловаться?

— У борющегося против насилья не должно быть жалоб. Он всё переносит. Вспомни наших национальных революционеров.

— Они боролись за освобождение нашего народа. А я за кого?

— А ты сейчас борешься за освобождение всего мира.

— Борюсь моим рабством? — сказал я с усмешкой.

— Да, — ответил твердо философ, — твоим рабством.

— Но это же не борьба, я даже не знаю, как это назвать, что это такое.

— Нет, это борьба. И большая борьба, — продолжал философ. — Слушай. Чтобы ты мне не надоедал и дал мне возможность хоть немного поспать, я должен тебе сразу же сказать, что твое рабство это большой удар для наших хозяев. Эти идиоты этого не понимают. У них нет настолько ума, чтобы понять это. Но ведь если мы рабы, то это только потому, что наши хозяева насильники. И чем число нас, рабов, будет больше, тем и власть наших хозяев будет больше, они всё больше будут становиться насильниками, и власть их будет нравственно слабеть ...

— Да ты мне лучше скажи, когда придет конец этому насилью?

— Для нашей страны это неважно.

— А для кого же это важно?

— Для всего мира. Важно, чтобы насилье не распространялось. И для того, чтоб оно не распространилось, мы и должны быть здесь. Рабство это черное знамя насилья. И это знамя издалека остерегает всех свободных людей.

— А почему свободные люди сами не хотят бороться?

— Оставь их. Это их дело.

— Но ведь эти свободные люди о тебе даже понятия не имеют.

— И это опять их дело. Моя обязанность быть рабом, я и есть раб.

— И ты получаешь удовольствие от того, что ты раб? — засмеялся я зло и иронически.

Философ поднялся, сел и пощупал пол рукой.

— Земляной, — проговорил он, — было бы хорошо, если бы был из досок. Не было бы так холодно. Нет! — продолжая разговор, сказал он, — от рабства я удовольствия не получаю. Я очень люблю свободу. И жизнь тоже люблю. Но я чувствую удовлетворение, когда понимаю, что моими страданьями я освобождаю других от таких же страданий и этим ослабляю основы насилья, которое должно быть разрушено...

Сейчас, сидя, он говорил и смотрел мне прямо в глаза, и в его черных красивых глазах я видел какой-то блеск мистической веры.

— Да, агроном, всё будет разрушено, что причиняло горе человечеству. Будет разрушено и забыто, и эти концлагеря останутся только как печальное воспоминание...

— Но нас-то тогда, философ, уж не будет?

— Может быть. Но нам будут поставлены самые большие памятники в мире. Знаешь, они будут такие высокие, что концы их будут доходить до неба. И будущие потомки с глазами, полными слез, будут смотреть на эти памятники и будут читать на них надпись:

«Тем,
кто родился,
чтобы быть свободными,
но кто жили и пали рабами,
закованными в цепи».

Ну, а потом что будет? — спросил я.

Философ лег, повернулся на бок, закинул обе руки ладонями под голову, вместо подушки, и сказал:

— Для нас, кроме этих памятников, больше ничего не будет.

— А мы будем чувствовать эти памятники?

— Может быть — да. Может быть — нет. Я думаю, что — да. Веру рождает чувство. Я сегодня это чувствую. И если это так, то я всегда буду это чувствовать.

Лежа рядом, мы оба долго молчали. Первым тихо заговорил я:

— Ну, а наша молодость, философ? Наше желанье жить?

— Ах, как я курить хочу, — проговорил он внезапно, — только одну папироску, о, если бы у меня была сейчас эта одна папироса! — почти застонал он и ничего мне не ответил.

— А на свободе ты курил?

— Да, курил, конечно. Люблю курить и думать.

— Холодно, — дрожа проговорил я и весь сжался.

— Да, холодно, — проговорил и он. Мы спинами прижались друг к другу.

В камере стояла ночная тишина, со вздохами, стонами усталых за дорогу заключенных.

2

Было холодно от земляного пола. Если бы хоть что-нибудь подстелить, не было бы так страшно холодно. Но подстелить нечего.

— Агроном! Агроном! — беспокойно вдруг позвал меня философ. — Вставай, вставай! — Философ сам был уже на ногах. — Смотри, — показал он на место, где он лежал.

Я посмотрел и понял. За ночь пятьсот заключенных доверху наполнили четыре бочки. И желтая жидкость с человеческими экскрементами, как болото, стояла там, где лежал философ. Эта жидкость подтекала уже к моему месту, когда он разбудил меня.

— Я уже промок, — сказал философ.

— Скоты, разве не видят, что в парашах больше места нет!

— Они не виноваты, — спокойно сказал философ.

Из угла камеры четыре заключенных, идя прямо по телам лежавших на полу, подошли к парашам и остановились около них. Босыми ногами они шлепали по зловонной жиже.

— Эй, разве не видите, что полно! — закричал я им.

Они не обратили на меня никакого внимания. Сделали свое дело и пошли назад по телам спящих. На их место пришли другие. И так без конца...

Моча дошла до моего соседа. Он долго не просыпался. Наконец начал переворачиваться с бока на бок, пока не проснулся. Сел и не мог понять, отчего он проснулся. Потом потрогал рукой свою спину и пальцы поднес к носу. Понюхал. Шлепнул ладонью по жидкости под ним. Сонными полуоткрытыми глазами взглянул на параши, что-то пробормотал, повалился опять на свое место и тут же захрапел.

К рассвету холод усиливался. А очередь у бочек становилась всё длиннее и длиннее. Моча, наверное, уже дошла до последней стены камеры, потому что оттуда понеслись ругательства. Но эти же люди, мокрые от мочи, вставали и сами приходили мочиться в параши. Я скрючился, прижался к стене, думал о том, что если нас будут так держать в этой камере, то придется ведь не месяцы, а, может быть, годы не лежать и не спать.

— Философ, — сказал я, — ты знаешь, что всё это значит?

— Что? — спросил он безразлично.

— То, что мы больше не будем спать.

— Ну что же делать.

— А то делать, что если ты поможешь мне, я и для тебя и для себя найду место на нарах.

— Это можно, — произнес он иронически, — только с условием, чтобы мы слабых прогнали на наше место, а сами бы заняли их место.

— Да не то вовсе. Ты должен бы уже знать, что на нарах занимают места только сильные, так что о слабых нет речи.

— Я не могу занимать чужие места, — проговорил философ с явным желанием прекратить этот разговор.

— Да мы не займем чужие места, а заставим их потесниться, чтобы нам дали место, подвинулись.

— Не хочу. Старайся для себя, — и он от меня отвернулся.

— Философ, — проговорил я, — я тебя ненавижу!

— Это твое право. Но лучше было бы, чтоб ты любил меня. В наших условиях только любовь может принести утешение.

— Любовь, любовь! Любовь тут не спасет, когда через неделю и я и ты, как собаки, сдохнем от бессонницы.

— Не как собаки, а как люди, — тихо поправил философ. — Как люди, которых мучили и которые очень много страдали. Если я умру, то только так.

— Философ, я тебя ненавижу, — повторил я и отвернулся от него.

3

Я стоял у стены и думал, думал. Потом подошел к двери и стал в нее стучать что было силы.

— Что такое? — донесся снаружи недовольный голос.

— Прошу войти!

— Зачем?

— Тут беспорядок.

— Не могу.

— Кто ты?

— Часовой.

— Тогда как же ты не можешь войти?

— Дверь заперта. А если бы она и не была заперта, я всё равно не имею права войти.

— А если бы сгорела камера и мы все в ней?

— Если бы да кабы... В таком случае я имею право только

стрелять по тем, кто попробует бежать из двери, — проговорил голос весело.

— Значит только в этом твое дело?

— Да. В этом, — и за дверью послышался смех.

— Но слушай, мне непременно надо видеть кого-нибудь из начальников.

— А их ты можешь увидеть днем, без всякого твоего хотенья.

— Прошу позвать начальника караула!

— Не имею права.

— Жаль. Тогда я буду стучать в дверь, пока ты не позовешь.

— Тогда позову... Но знай, это тебе даром не пройдет... Начальник лагеря, товарищ Громов, не любит даже, когда заключенные во сне разговаривают.

— А он сейчас спит?

— Может быть — да, может быть — нет.

— Начинаю! — закричал я.

— Твое дело.

Трах, трах, трах! стучал я в крепкую дверь кулаками. Многие из заключенных проснулись и смотрели на меня непонимающими глазами. Часовой засвистел в свисток. И сразу же после свиста я услышал, как во дворе поднялся какой-то шум, топот ног. Я стоял у двери. Ко мне подошел философ.

— Что такое, агроном?

— Буду протестовать против нашего положения, — сказал я.

— Молодец, так и надо, — ответил он.

— Но ты уйди от меня, это опасно.

— Нет, я с тобой, агроном.

— Говорю тебе, уходи. Философы существуют не для избиения.

— Может быть, я больше вынес, чем ты.

— Может быть, но уходи, ради Бога, от меня.

— А я сказал тебе, что я буду с тобой.

За дверью уже слышался шум многих подбегавших ног.

Я слышал, как отпирали замок. — Уходи, философ, — сказал я и так толкнул его в грудь, что он отлетел и упал на спящих заключенных.

В этот момент дверь открылась.

— Кто стучал?! — В двери, с револьвером в руках, стоял начальник караула, смотря в упор на меня.

— Я, — сказал я.

— Выходи, быстро! — крикнул он и, схватив меня за шиворот, сразу выбросил во двор.

4

Еще в двери скрипучий сибирский мороз обнял меня так, что я сразу же задрожал. В это мгновение я уже вылечился от своего романтизма и уже раскаивался, что стучал в дверь.

Держа револьверы наготове, подошли несколько человек.

— Что? Попытка побега? — резко проговорил один из них.

— Нет, — с иронией ответил начальник караула, — этот тип только захотел своей башкой пробить дверь.

— Ай! — издевательски-удивленно сказал надзиратель. — Да разве у него такая башка крепкая?

— Не только крепкая, но и руки сильные. Он угрожал часовому, что поднимет всю камеру и всё разобьет.

Ночь была темная, морозная. Было страшно холодно. На снежном дворе тут и там виднелись длинные отдельные бараки — камеры заключенных. Вправо — здание канцелярии, где в окнах светился огонь. Над проволочным заграждением, с высоких вышек прожектора, пробивали темноту желтыми световыми снопами. По смеху и иронии надзирателя и начальника караула я понял, что дело мое плохо. И я взглянул на небо. Когда я был маленьким, бабушка всегда говорила, что в трудные минуты жизни надо глядеть на небо. Сейчас на темном небе горело несколько звезд удивительно холодным и слабым светом. Моя бабушка говорила, что у каждого человека есть на небе его звезда. Одна из этих звезд, наверное, была моя. Ведь звезда

заключенного и должна быть маленькой и тусклой. Философа в этот момент я и любил и ненавидел.

— Значит, этот такой герой?.... — проговорил вдруг надзиратель, пряча свой револьвер в кобуру.

— Да уж поверь — как говорю, — ответил начальник караула.

— А я не верю, — с издёвкой над моей беззащитностью проговорил он и повернулся к кому-то из окружающих. — Пробуй, Мишка! — крикнул.

Мишка засмеялся и пошел на меня... Мне показалось, что это были не удары рукой, это были — удары молотом — в подбородок, около уха, в шею, ниже уха. Моя голова откинулась назад. Не по моему желанию, я слабо увидел звезды, которые от меня побежали в разные стороны. Лежа в снегу на спине, я услышал общий смех, как лошадиное ржанье.

— Да наплёл он всё, он не сильный, — сквозь смех сказал старший.

— Сильный! Сильный! — иронически смеялся Мишка.

— Еще! — крикнул надзиратель.

— Теперь я, — сказал и выступил кто-то другой.

— Пробуй, — отозвался надзиратель.

— Эй, поднимись! — закричал Мишка и больно ударил меня ногой в бок.

Я с трудом поднялся, хоть голова и тянула меня вниз. Второй удар пришелся мне в затылок, отчего в темноте перед моими глазами пошли огневые кольца. И когда я лежал лицом вниз, мне показалось, что и снег стал красным. На этот раз смех надзирателей я расслышал с трудом — он слышался где-то глухо, отдаленно.

— Встань!

Опираясь ладонями о снег, я приподнялся, но остался на четвереньках.

— Поднимись!

Я пробовал подняться, но не мог, я не чувствовал опоры в коленях.

— Поднимись!

И тут же я почувствовал такой удар ногой в бок, что от боли упал в снег.

— Поднимись, тебе говорят!

И опять меня кто-то ударил.

— Поднимись! Подними... По...

Сколько времени я лежал без сознанья — не знаю. Но когда я очнулся, мне показалось, что я вернулся на землю из какой-то вечности. Они подняли меня на ноги.

— Мишка, проводи его в ледник, — приказал надзиратель.

— Иди.

Я двинулся, но в это время, круто скрипя сапогами, к нашей группе подбежал кто-то и, обращаясь к надзирателю, сказал:

— Товарищ начальник тебя хочет, за тобой прислал.

Не доведя меня до ледника, они повернули и повели меня к начальнику лагеря.

5

По всей видимости, эту ночь начальник лагеря проводил в свое удовольствие. В комнате было так тепло, что мне сразу стало нечем дышать. Посреди за составленными столами сидели надзиратели и несколько женщин зе/ка. На столе были бутылки от водки, куски хлеба, селедка. Когда мы вошли, все смеялись. Девушки сидели на коленях у надзирателей. Мишка остановил меня у двери, а надзиратель пошел с рапортом к начальнику.

В это время начальник лагеря спустил с своих колен женщину-заключенную и взглянул на меня. Это не был обыкновенный человек, это был богатырь. Он был очень широкоплеч, развернутая сильная грудь и, как у быка, крепкая шея. Лицо было полное, свежее. На левом виске, начиная ото лба и до уха, — старый глубокий шрам, может быть, от удара сабли белого казака.

— Почему безобразничаешь? — спросил он строго.

Я молчал.

— Говори! — крикнул он так, что, мне показалось, задрожала комната.

Женщины вздрогнули и сжались.

Я молчал.

Начальник взял водочную бутылку и с размаху бросил в меня. Я видел, как бутылка закружилась в воздухе, как пропеллер, я нагнулся. Бутылка ударилась в дверь и обсыпала меня осколками.

— Говори! — крикнул он.

Я хотел говорить, но я не мог. Голос не выходил из меня. У меня не было голоса. Так всегда бывало со мной во сне, когда я был маленький, и на меня нападали злые люди. В таких случаях я всегда хотел позвать мать на помощь, но ничего не мог выкрикнуть.

— Эй, дайте мне револьвер!

Я понял, что он меня убьет, и стал показывать ему руками на свой рот, объясняя движениями, что я хочу говорить и не могу. Показал, что хочу пить. Одна из заключенных, поняв меня, подала стакан воды, глядя не на меня, а в пол. Я выпил воду и почувствовал, что могу заговорить.

— Я не безобразничал, гражданин начальник, — сказал я.

— Ничего не делал?

— Ничего.

Начальник вопросительно посмотрел на старшего надзирателя.

— Он стучал в дверь с большим шумом. Создал тревогу, — проговорил мрачно надзиратель.

— Да, стучал, гражданин начальник, потому что у меня не было места где лежать.

— На нарах? — презрительно спросил он.

— Нет, хоть на полу не было.

— А стоять ты не мог?

— Мог бы, если бы знал, что тут останусь недолго, но у меня десять лет.

— Политический?

— Да.

— Все десять лет простоишь на ногах! — закричал начальник.

— Но это же бесчеловечно, — невольно вырвалось у меня.

— Ааа, это интересно, — проговорил он, и, повернувшись на стуле, чтобы поудобней усесться, начальник лагеря протянул: — А человечно было, когда вы веками заставляли нас стоять на ногах?

— Разве это я заставлял?

— Вы! Ваша власть!

— У меня власти не было.

— Дурака не валяй! — заревел он. — Ты меня понимаешь! Власть ваших царей!

— Цари же — русские, а я армянин. И я совсем не за царей.

— Тогда чью же власть ты хочешь восстановить? Капиталистов? — закричал начальник.

Две недели нас гнали по замерзшей сибирской реке. Я шел полуголодный, продрогший, с воспаленными от снега глазами. В лагере они избили меня. У меня болела челюсть, ныли бока. У меня не было сил стоять. Не было сил даже говорить. Я говорил с трудом, еле подбирая слова. Мне казалось, я вот-вот свалюсь. Комната в моих глазах иногда суживалась, удлинялась и куда-то уходила от меня, и люди в ней вдруг мне казались маленькими-маленькими, ну такими, как муравьи. А иногда стол и сидевшие за ним люди так близко подплывали ко мне, что я не мог даже разглядеть черты их лиц.

— Я никогда не видел капиталистов, гражданин начальник. Я ровесник октября, — выговорил я с трудом.

— Тогда почему же ты сюда попал?

— Ни по чему...

Только сейчас на лице начальника появилось что-то похожее на улыбку. И заметив это, все надзиратели захохотали.

— Ты из опасных, — сказал начальник лагеря.

В эту минуту я очень хотел, чтоб они меня расстреляли. У меня не было никаких сил. И я безразлично произнес:

— Как хотите.

— А вот я хочу, чтобы через десять лет, по окончании твоего срока, ты домой бы не вернулся.

— Если я выдержу столько, — проговорил я.

— Тысячелетия вашей эксплоатации мы выдерживали, — заревел начальник. — И выдержали! И вы тоже выдержите! А не выдержите — тем лучше для нас. Мы хотим вашего уничтожения!

— Нашего? Я же не эксплоататор, гражданин начальник.

— Молчать! Вы — бывший властвующий класс.

— Вся наша семья, гражданин начальник, трудовая.

— Это все равно, — перебил он. — Если ты сегодня тут, значит ты враг советской власти. Политические зря сюда не попадают. Вы хотите восстановить старый строй помещиков, которые от своей лени все были идиотами, и разбогатевших купцов, которые жирели, как свиньи, и из окон нам бросали, как собакам, обглоданные кости с своего стола. Молчать! — заорал он в какой-то ярости и кулаком, как молотом, ударил по столу так, что все на нем подскочило. — Молчать! — ревел он. — Тысячу лет вы говорили, а мы молчали, теперь мы будем говорить, а вы молчать! Понимаешь, гад?! Раз ты защищаешь идею класса эксплоататоров, то ты выразитель этого класса. Таких, как ты, немало и в нашей стране и заграницей, которые происходят из трудящихся, а становятся наемниками капитализма.

Я видел, что начальник лагеря говорил вовсе не со мной, он хотел, чтобы его речь слушали все подчиненные, все надзиратели. И они слушали.

— Гражданин начальник, — проговорил я, собрав последние силы, — разрешите мне сесть или пошлите меня в камеру, у меня нет сил стоять.

Все надзиратели громко захохотали.

— Смотрите, — обернулся начальник к хохочущим, — вот он, этот, один из аристократов.

— Да, если бы он не был из аристократов, товарищ начальник, — проговорил надзиратель, — он не поднял бы среди ночи шум и не потребовал бы себе мягкое место.

— А за это он хоть что-нибудь получил?

— Очень мало, товарищ начальник. Ребята только так, поздоровались с ним.

— В другой раз пусть подольше здороваются. Тот класс, который он защищает, нас не прощал, не нужно, чтоб и мы им прощали. Они хотят восстановить бывший рабовладельческий строй в нашей стране. Но этого не дождутся. Они будут уничтожены, будут уничтожены, будут уничтожены! — яростно кричал он. — И вы всегда различайте между ними и блатниками. Блатные — наши, а они — нет. Назначайте их на самую трудную работу. Не теряйте случая уничтожать их, мучить их! А теперь возьмите его в камеру, где он все ночи будет стоять! Возьмите его! Не могу я больше на него смотреть! — закричал он и повернулся ко мне спиной.

Несколько надзирателей бросились ко мне и вытолкнули меня из комнаты. Пока они вели меня в камеру, они били меня, я падал, вставал, опять шел. Так они довели меня до камеры, отперли дверь и втолкнули в нее.

6

Я пролетел через несколько ступенек и упал на лежавших на полу заключенных. С трудом приподнялся, сел на ступеньки и заплакал. Ко мне подошел философ, обнял меня и стал утешать.

— Философ, я хочу умереть, — сказал я.

— Это хорошо, — странно проговорил он.

— Почему хорошо? — спросил я. — Что хорошего в том, чтоб умереть?

— Кто не боится смерти — тот всегда смелый. А мы должны быть смелыми, чтоб мы в один день могли отсюда бежать.

— Бежать? Отсюда? — я нервно засмеялся, — это хороший сон.

— Без сна нет действительности, — тихо, упорно говорил философ. — Всегда сначала мечта, а потом уж действительность. И мы должны мечтать о свободе, чтобы ее достигнуть.

Мне стало как-то сразу легче, потому что философ заговорил о свободе.. И это говорил человек, который здесь был самым беспомощным. В этот раз мы долго проговорили с философом, как мы убежим, как очутимся где-нибудь заграницей. Я буду работать, а философ будет сидеть и писать философские труды.

— Философ, ты очень любишь твою философию?

— Очень, — ответил он, — философию и детей.

— А они согласны между собой — дети и философия?

— Вполне. Потому что любовь к человеку начинается с любви к ребенку. А философия это наука человеколюбия. Это наука о том, как сделать человека и его душу совершенными.

7

Во дворе резко звонили, били молотком в какой-то металл, наверное, в рельсу. И вскоре дверь в нашу камеру открылась. Врываясь белыми клубами, холодный пар сразу обволок меня и философа. Кто-то закричал:

— Эй, вставайте!

Заключенные обрадованно зашумели, спавшие проснулись.

— Хлеба принесли! Хлеба принесли! — закричал кто-то.

— Холеру я вам принес! Чтобы вы ее сожрали и все сразу сдохли! — закричал какой-то человек с порога. — Ты на них, Мишка, посмотри, на этих дармоедов! Еще ни одной ветки не срубили, ни одной лопаты земли не выкопали, а уже хлеба хотят, сволочи! А? Я вам покажу хлеба, давай! давай! вставай! быстро! — кричал человек с порога.

— Мы три дня ничего не ели, — раздался тихий голос из глубины камеры.

— А за это сейчас вы получите пирог с капустой, китайский чай с сахаром, мёд и масло. А в обед, еще не знаю что, — еще больше того же самого. А теперь давай, выходи во двор, пока я тут вас не перебил, как собак! — пригрозил тот же человек, стоявший на пороге.

Что он говорит, агроном? — спросил философ.

— Выходить на работу, — сказал я.

Во дворе было еще темно и невыносимо холодно. Во всех зданиях горел свет. Видно было, что подняли всех заключенных.

— Становись по сто человек! — крикнул один из надзирателей.

Когда мы выстроились, из канцелярии пришел высокий, сильный надзиратель с электрическим фонариком в руке. Идя вдоль строя, он по очереди стал освещать лица заключенных, а потом кулаком бил каждого в грудь. Если человек не выдерживал удара и падал, — его выкидывали из строя. А тот, кто выдерживал, — тот оставался в строю. Надзиратель осветил мое лицо и кулаком нанес мне удар в верхнюю часть груди. Я сильно покачнулся, но не упал. После меня он осветил лицо философа. И когда увидел его бороду, на лице надзирателя появилась какая-то неприятная гримаса, но он все-таки ударил его. Верхняя часть тела философа откинулась назад, качнулась вперед, опять назад, опять вперед, и потом вдруг философ сел в снег, будто сам так хотел.

— Выходи из строя, старик! — крикнул надзиратель.

Но не понимавший по-русски философ поднялся и снова встал со мной рядом. Тогда другой надзиратель подошел к нему, взял за шиворот и с такой силой выбросил из строя, что философ долго словно летел по снегу и наконец упал.

— Он по-русски не понимает, — сказал я этому злому надзирателю.

— А если не понимает, что он тут делает? — бормотнул надзиратель.

— Его заставляют делать, — сказал я.

— Молчать! — крикнул на меня надзиратель.

Счистив с себя снег, философ хотел опять стать рядом со мной, но на этот раз один из надзирателей взял его и поставил в группу тех, кого выбросили из строя.

Когда кончилась проверка надзирателем нашей трудоспособности, нас отвели в угол двора, там дали полфунта хлеба и вместо супа по половнику теплой воды. Во время этого «запт-

рака» я рассматривал лагерный двор. В темноте у порога всех камер были видны группы заключенных, трудоспособность которых проверяли так же, как нашу. Потом, под наблюдением часовых и собак, заключенных повели из лагеря на работу. Заключенных в этом лагере было, наверное, несколько тысяч. К нашей группе подошли надзиратели из заключенных-уголовников.

— Становись по четыре!

И нас строем вывели из ворот лагеря. Было страшно холодно...

8

Еще с первой же нашей встречи я заметил, что философ кашлял. Когда я раз спросил его об этом, он сказал, что простуда. Но кашель его становился все тяжелей и затяжней. И когда один раз я сказал ему, почему не идешь к доктору? — он ответил, что не говорит по-русски. — Да ведь надо же знать только два слова: «я больной».

— Не хочу итти! — резко проговорил философ и отвернулся.

В тот же вечер, вернувшись с работы в камеру, я стал искать глазами философа, но его нигде не было. Вдруг я увидел молодого человека, пристально смотревшего на меня, и его лицо мне показалось знакомым.

— Кто вы? — спросил я, подходя к нему.

— Вай! агроном, вай!

— Философ, да это ты?

— А кто же еще?

— Да где же твоя борода?

— Ее нет.

— Без твоего согласия?

— Да. Оказывается, что раб не имеет права отрастить себе бороду.

Я повел его к свету и стал рассматривать его. У философа был широкий и высокий лоб, удивительно тонкие черты лица, словно эти черты лица имели свою многовековую историю,

пока не отшлифовались в лице философа. Глаза были чисто армянские, темные, печальные, задумчивые. Я не смог удержать своего восхищения.

— Философ, а ты красивый!

— Без бороды мне кажется, я не тот, — как-то грустно ответил философ.

— А на свободе тебя любили женщины?

— Любили, — засмеялся он.

— А ты любил кого-нибудь?

— Нет. У меня времени не было.

— Да что же ты делал с твоим временем?

— Думал.

— Ну, а потом?

А потом — еще думал...

9

Раз в нашу камеру ввели новую группу заключенных. Один из них, не захватив места, уместился у двери на ступеньках, рядом со мной и философом. Это был молодой русский, и глаза у него были полны горя. Первую ночь он на нас не обращал внимания. А на вторую все не спал и смотрел на философа. И по его глазам я видел, что философ ему нравится.

— Кто вы? — спросил, наконец русский философа.

Не поняв русского языка, философ только виновато улыбнулся.

Русский с сожалением посмотрел на философа и замолчал. Немного погодя, я заговорил с философом по-армянски и молодой русский спросил:

— На каком языке вы говорите?

— По-армянски.

— Ах, вы — армяне? Я знаю историю Армении. Скажите, — обратился он ко мне, — кто ваш товарищ?

— Он — философ.

— Ооо, значит мы коллеги, — обрадовался русский, — он, наверное, троцкист?

— Нет, он антимарксист, — ответил я.

— Как это? — удивился он. — Где же он учился антимарксизму?

— Он не учился. У него свое собственное учение.

— А в чем же суть его учения? — спросил троцкист.

— Он отрицает материализм, как философское учение.

— А что он дает взамен?

— Свободу личности и любовь ко всем.

— Ааа, стало-быть, поповское учение, — засмеялся троцкист.

— Хотите, я переведу ему, что вы говорите? — спросил я.

— Конечно, переведите.

Когда я перевел, философ не обиделся, а повернулся к троцкисту и спокойно по-армянски спросил:

— А какому философскому учению следуете вы?

Я перевел.

— Марксизму, — ответил троцкист.

— Марксизм, это не философия, — ответил философ.

— Как так?

— По многим причинам. Во-первых, философия это всечеловеческое учение, а не одного класса, как у вас. Во-вторых, философия не может быть связана с каким-нибудь режимом, как у вас. И, в-третьих, содержание философии составляет человек, а не живая материя.

Троцкист слушал мой перевод, и я видел по его лицу, что он и удивлен и ни с чем не согласен.

— Это чисто капиталистическое учение, — наконец сказал он холодно.

— Капитализм, это слово, за которое всегда прячутся марксисты, когда хотят увильнуть от правды, — спокойно ответил философ. — Капитализм не может быть содержанием философии, потому что он сам является материализмом. У капитализма нет учения. И еще не было человека, который бы оправдал эксплоатацию человека человеком. Повторяю: содержание философии, это — человек, а не материя.

— А что ваша философия делает с человеком, когда он несчастен? Гладит его по головке? — иронически спросил троцкист.

— Гладить по головке, это тоже признак любви. Философия, если вы хотите, с этого и должна начинать свое дело с человеком, — не обращая внимания на иронию, ответил философ.

— И вы думаете, что желудок голодного от этого наполняется пищей?

— Если один голоден, то только потому, что другой отвратительно сыт, это и есть тот самый материализм, против которого должна бороться правдивая философия, — сказал философ.

— Ооо, так это же — опять марксизм! — как бы обрадовался троцкист.

— Нет, это отрицание марксизма, — проговорил философ.

— Тогда с чего же начинать?

— Начинать с совершенствования человека. С того, чтобы очистить души людей от материализма.

— Ха-ха-ха! — горько засмеялся троцкист, — какое это выгодное и нужное капитализму учение. Ведь веками только это и слушали счастливые люди нашего мира. Слушали, но не перестали жить во дворцах, накопляя богатства и грабя других. Слушали, давая прикуривать сигареты своим любовницам — от зажженного кредитного билета. А вы знаете, что на один этот бумажный знак, который сгорал в воздухе только для того, чтобы зажечь сигарету какой-то уличной девки, можно было бы прокормить целую семью целый месяц? Нет, дорогой мой, теперь я зе/ка в этом концлагере, но я готов оставаться тут все время, чтобы только руки наших хозяев дотянулись до этих проклятых капиталистов. Я бы очень хотел, чтобы эти счастливцы сидели сейчас со мной в этом лагере, — всё это троцкист проговорил и со злобой и с горечью.

— Но это же не философия, а только обида на жизнь, — тихо сказал философ. — И это очень опасная обида. Там на

Западе, ведь живут не одни капиталисты. Или на Востоке, что вы думаете, живут только султаны и магараджи? Если рука наших хозяев дотянется до Востока и до Запада, это только увеличит число точно таких же рабов, как мы с вами. Только единицы будут здесь из богатых, а большинство будут такие же, как и мы. Ведь среди нас, концлагерников, разве есть хоть один капиталист? Наоборот, мы все из трудящихся.

Такие споры троцкиста с философом длились целыми днями, всё время, пока троцкист сидел в одной с нами камере. Как-то раз троцкист спросил меня:

— Вы давно уже в этой камере, как же так, что ни вы, ни философ не на нарах?

— Философ не хочет, — ответил я. — А я не хочу оставить его одного.

— Он не хочет спать на нарах? — удивился троцкист. — Да почему же? Там же сухо и удобно?

— Вот именно поэтому, — невольно улыбнулся я, — философ не хочет спать на сухих и удобных нарах, потому что тогда вместо него один из заключенных будет спать здесь на холодных и сырых ступеньках.

У троцкиста от удивления раскрылись глаза. Он долго оставался словно в каком-то оцепенении. Потом не выдержал, подошел к философу, обнял его и с восхищением сказал:

— Молодец! Молодец!

Философ ничего не мог понять и по-армянски ответил ему:

— Простите меня, я сегодня не хочу спорить.

Я перевел и то и другое.

10

Когда началась оттепель, философ стал кашлять сильнее. На глазах он становился все бледнее, все слабее. Я беспокоился за него. Раз из-за проливных дождей нас не вывели на работу. И после полудня, когда дождь перестал, нас повели во внутренний двор лагеря на работы. Двор был переполнен заключенными. Это было похоже на какой-то людской мура-

вейник. Я все-таки решил разыскать философа и повести его к врачу. И я его разыскал.

— Знаешь что, философ, пойдем со мной.

— Куда?

— Пойдем! — и я силой потащил его за собой.

В лагере была молоденькая женщина-врач, тоже из заключенных, которая раз вылечила меня от цынги, давая мне есть сырую картошку. Когда я пришел к ней с философом, она, ласково улыбнувшись, спросила:

— Опять за картошкой пришел?

— Нет, доктор. Товарища привел, он ужасно кашляет.

— Знаю, — как-то печально ответила женщина-врач.

— Разве вы его знаете?

— Кто его внутри лагеря не знает. Иногда он убирает мою комнату. Ты скажи ему, чтобы он разделся и встал вот тут у окна.

Но раздеваться философ никак не хотел. Тогда я стал насильно раздевать его, и он наконец разделся. Тут я в первый раз увидел, что он весь — кожа и кости. Женщина-врач, качая головой и со слезами на глазах, стала слушать его грудь.

— Что с ним, доктор? — спросил я по-русски.

— Я думаю, туберкулез, — тихо сказала она, — только не надо ему переводить это.

— Ооо, доктор, — невольно вырвалось у меня.

— Дай Бог, чтоб я ошиблась, — ответила врач. — Скажите ему, пусть оденется.

И сев на табуретку, женщина-врач закрыла вдруг лицо руками.

— Доктор, а что же делать, чтобы спасти его как-нибудь?

— Ничего не могу сделать, — отняв руки от заплаканного лица, проговорила женщина. — Ему надо на юг. Теплый, сухой климат. Санаторий. А он зе/ка, у него нет даже права к врачу пойти.

— Может быть, у вас есть все-таки какие-нибудь лекарства?

Она вздохнула, отрицательно покачав головой.

— Ничего у меня нет. Ему надо усиленное питание, а я знаю, он свои полфунта хлеба и те делит с другими. Скажи ему, пусть не делает этого. Нет, нет, лучше уж не говори, — спохватилась она, — это его дело. Внутри лагеря его все зе/ка знают. Только они считают его будто ненормальным. А я-то знаю, какой он. Он за других на себя брал избиения. Я его понимаю, я его душу читаю, хоть и не знаю по-армянски.

Когда мы собрались уйти, философ вдруг повернулся к женщине и по-армянски сказал ей:

— Спасибо, доктор, что вы плакали.

Девушка (ей было на вид лет 25) подняла голову, утерла руками щеки и вопросительно посмотрела на меня. Я перевел ей. Она счастливо улыбнулась, обняла философа и поцеловала его. Я смотрел на них, и мне показалось, что в глазах этого армянского черномазого парня и в голубых глазах русской девушки было что-то такое, чего я не мог выразить. Это было что-то, что и больше и выше любви.

Когда мы вернулись в камеру, я думал, философ начнет спрашивать меня о своей болезни. Но он только спросил: — Как по-русски любить? — Я сказал ему и спросил: — Почему ты спрашиваешь?

— Просто так. Я думаю, что это единственное слово, которое надо знать на всех языках.

11

Была весна. Нас, несколько сот заключенных, погрузили в большие лодки и приказали грести вниз по течению большой реки. Среди нас был и философ. Приблизительно за год до этого нас с философом разъединили. И за этот год, далеко от его душевного влияния, среди жестоких и полудиких зе/ка, я сам стал жестоким и полудиким. Философа я забыл. И когда я его опять теперь увидел, я не особенно этому обрадовался. Но он обрадовался очень.

— Вот видишь, и встретились, — сказал он.

— Ну, и что же? — грубо ответил я.

Он долго, долго смотрел на меня, опустил голову и печально сказал:

— Ничего, просто так...

Я сразу же раскаялся в своей грубости, и мне захотелось ее как-нибудь загладить.

— Философ, ты знаешь, кто я теперь?

— Кто, агроном?

— Я — волк, философ.

— Я знаю это и прошу тебя вернуться опять к человеку, — сказал он еле слышно и очень мягко.

В эту минуту во мне произошло что-то необъяснимое. Словно всё во мне вдруг восстало от какого-то невероятного возмущенья. Что было сил я ударил кулаком по скамейке.

— Замолчи, философ, — проговорил я, — надоел ты мне с этим твоим человеком!

Он посмотрел мне в лицо и опять тихо прошептал:

— Ты устал, тебе отдохнуть надо.

— Не нужны мне твои заботы обо мне и твои разговоры о человеке, — все больше злился и горячился я, — где этот твой человек? Ты его видел? Покажи мне его!

— Каждый из нас сам в себе должен искать человека, — опять также тихо сказал он.

— А потом что?

— Только это.

— Хорошо, спасибо, — с издёвкой сказал я.

На его лице была какая-то глубокая горечь и какая-то двойная ирония по отношению ко мне, когда он спросил:

— За этот год сколько слабых зе/ка ты обидел?

— Я не хочу с тобой разговаривать, философ, — оборвал я грубо.

— Хорошо. Я тебя завтра об этом спрошу, — сказал он спокойно и замолчал.

Я удивлялся и его спокойствию и его упорству. Я молчал. И вдруг словно опять всё изменилось во мне.

— Я никогда никаких слабых не обижал и не обижу, — сказал я.

— Верить тебе?

— Да, верь, философ.

День был прекрасный. Было солнце и зелень. Зелень и солнце. Река была широкая. Ее левый берег был еле виден. На этом берегу лес казался синим. И казалось, что лес затянут каким-то дымом. Мы гребли вдоль правого берега, который почти весь был покрыт зеленью кустов. А там, где есть зелень, есть и жизнь. Там где есть зелень, есть и желание жить, и желание быть свободным. Но для зе/ка все это было только как сон. Богатство раба в сравнении с свободным человеком только в том, что все кажущееся свободному обыкновенным, заключенному — радость. Свободная жизнь представляется ему очарованным миром, необычайным и бесконечно желанным.

— Смотри, философ, — сказал я, — даже Сибирь хороша, если ты свободный.

Он не отозвался.

— Философ, — толкнул я его в плечо.

Он с трудом открыл глаза и сказал: — Я плохо себя чувствую, агроном.

В это время я забыл, что он болен. В рабстве ведь не видишь, кто больной, кто здоровый. Это на свободе даже самая ничтожная болезнь сразу видна. В рабстве же или все больные или все здоровые. Но сейчас я увидел, что философ еле дышал. Его красивое лицо было очень бледно. Большие блестящие глаза ввалились и были полны какой-то необыкновенной тоской.

— Философ, что с тобой? Ведь ты же больше не кашляешь?

— Нет, не кашляю, — еле-еле проговорил он.

— Ну, так что же?

— Ничего, пройдет.

— Эй, дайте место! Мой товарищ больной, он должен лежать! — закричал я на заключенных в лодке.

Ближайшие заключенные стали сдвигаться друг к другу, освобождая место.

— Агроном, — с досадой сказал и схватил меня за руку философ, — что ты только мне сказал?

— Да сказал, но ты же больной? Тебе сейчас надо лежать. Я тоже самое сделаю для любого заключенного.

— Скажи правду? Для других ты бы этого не сделал. А для меня не надо, спасибо. Скажи этим людям, чтоб они сидели, как сидели.

Таким я философа еще не видел никогда. Когда он это говорил, его лицо резко изменилось и он говорил голосом, показавшимся мне даже грубым. Я замолчал. Заключенные в лодке сели, как сидели раньше. Молчал и философ. Потом после долгого молчанья, он тихо сказал:

— Да Сибирь действительно красивая...

12

Вода, вода и вода. И нет берегов, не видно берегов. Все озера соединились вместе. Для того, кто не умеет плавать было опасно. Можно было идти по воде и вдруг — бух! — вы попадаете в скрытую водой глубокую яму. Говорили, что эта вода через месяц спадет, но мы не могли ждать. На самом деле в это время тут не должно было быть воды, тут должен был стоять лес. Но это был не настоящий лес, это лес низкорослой ивовой заросли.

Странное, удивительное дерево — ива. Любит воду. Наверное для своих слез. Этот лес был в несколько сот километров в окружности. Но других деревьев тут не было. Только ивы и ивы. Словно ивы не хотели смешиваться с другими.

Мы пришли драть лыко с этих ив. Это было то время года, когда дерево наливалось соком. Сок бежит между стволом и корою и облегчает сдиранье коры с этих неговорящих существ. Наша работа была варварская, но мы были только

рабы. Чем ни нежнее ива, тем ценнее ее лыко. Говорили, что из этих лык, где-то на каком-то заводе готовят какое-то вещество, которое употребляется в кожаном производстве. И мы, заключенные, рабы, вооруженные тупыми и кривыми ножами разрезали кору дерева, рвали ее и оголяли ствол жизнерадостного живого растения. Ивы плакали от боли и нас мочили своими слезами. Нас, которые и без того были мокры, потому что всегда работали по колено в воде. Без своей коры, обнаженные, ивы быстро желтели и высыхали. Но были и такие, которые боролись, упорствовали, спешили отрастить новую кожу, которая была желтовато-красноватого цвета. Хотя это всё равно им не помогало, они всё равно умирали от зимних морозов. Сто тысяч деревьев умирало. Но умирали и люди, которые их убивали. А кожаное производство получало то, что ему надо. «Чавк-чавк-чавк», ходили по воде рабы. И издали казалось, что стадо вошло в реку.

13

В первые же дни на высоком берегу мы выкопали себе землянку. Я, философ и еще один заключенный (Василий) должны были жить вместе. Я накосил сена, просушил его и завалил пол нашей землянки. После узких лагерных камер, землянка показалась нам дворцом. Правда, во время дождя с потолка текло, но все-таки это был дом. И — наш дом. И даже течь с потолка казалась необходимостью, потому ведь каждая крыша должна

Природа здесь была необыкновенная. Ночей не было. Всегда было светло. А солнце не отдыхало. Оно спускалось за лес и тут же опять поднималось. Куда ни посмотришь — везде вода, зелень, свет. Свет и свет. От солнца и от воды растения росли сказочно. Сегодня оно с палец, а на завтра уже выросло на две четверти. Вся зелень здесь налита внутренними соками. Были и цветы, но они только по внешности были цветами. Они были без запаха. Маленьких птиц — без числа. В светлые ночи они пели и пели.

После работы философ лежал около нашей землянки и с наслаждением слушал пенье птиц.

— Даже рабство это ничего, когда ты живешь с природой и слушаешь пенье птиц, — сказал он однажды.

— Да, но эти птицы своим пеньем только растравляют в нас тоску по свободе.

— Может быть. Но надо радоваться тому, что хоть они свободны.

Все-таки счастливы мы были только первое время. Скоро выяснилось, что мы попали в болотный ад. Человек должен быть сделан из железа, чтобы работать в воде по шестнадцать часов подряд. Голодные рабы ели желтые древесные грибы, росшие на ивах. Они поедали сырыми случайно пойманных, болотных рыбёшек. Как животные ели всякую траву и скоро начались страшные заболевания — дизентерия сваливала людей. К тому ж нельзя было понять, откуда летят эти комары? Они летели черной тучей, носясь в воздухе, словно ища себе жертву. Работая одной рукой мы другой рукой должны были отгонять комаров. Кроме дизентерии пришла и болотная лихорадка. От постоянного стояния в воде отнимались руки и ноги. Умирали молодые зеленые ивы. Умирали заключенные от голода, малярии, дизентерии, от тяжелой работы. Но в Сибири столько деревьев — сколько воды в океанах. И в Сибири — столько же рабов. И рабы эти — и не люди и не деревья.

14

Раз когда мы должны были выходить на работу, философ не смог подняться с постели. Пришел начальник, увидел, что на работу он действительно уже выйти не может. Надо сказать, что тут у начальства к заключенным не было уже той ненависти, какая была в лагерях. Умирающий тут мог свободно и спокойно умирать. Часовые обращались с нами мягче, человечнее. Может-быть даже потому, что боялись нашего восстанья?

В этот день я несколько раз бросал работу и навещал философа. Когда я входил в землянку, философ слабо улыбался мне, как бы желая сказать, что ничего опасного с ним нет. Но он дрожал, потел, потел и дрожал.

— Философ, а философ, — сдерживая слёзы спрашивал я, — ну, как ты, брат?

— Ничего, я ничего, агроном, — тихо шептал он.

Но когда я вернулся после работы, философ уже бредил, всё видимо с кем-то спорил: — «человек... жалко... очень жалко... надо читать... читать души... не отбирайте у него... не отбирайте...» — говорил он без конца, и все поворачивался с боку на бок.

Я плакал. Так плакал только в детстве. Только теперь я почувствовал, как нужен мне здесь этот человек. Когда утром я уходил на работу, философ пришел в себя и попросил меня вынести его наружу, на воздух.

— Но комары же, — сказал я, — они заедят тебя.

— Ничего, ничего на воздухе все-таки лучше, — прошептал философ.

Я работал как всегда в воде — обдирал ивы. К полудню я вдруг увидел, что с воды пыталась взлететь маленькая (с воробья) птица и не могла; она села на воду с растопыренными крыльями. Я обрадовался ей, как ребенок. Поймал и сунул ее во внутренний карман своей телогрейки. Надо побывать рабом, чтоб понять то, что я сделал. Несвободный человек бредит свободой. Он хочет хоть как нибудь ее коснуться. Теперь эта птица была в моих руках. И мне казалось, что в моих руках — сама свобода. Мне казалось так потому, что птица была свободная. И я ее поймал, чтобы разделить ее свободу с моей несвободой. Я очень хотел, чтоб кто-то свободный был вместе со мной.

После работы я с птицей побежал к философу.

— Философ, смотри, что я принес, — еще издали кричал я.

Философ еле-еле открыл глаза, посмотрел на птицу в моей руке, но не понял, что это такое.

Что это такое, агроном? — еле слышно прошептал он.

— Птица, это — птица, философ.

— Птица? Зачем ты ее поймал? Пусти ее, пусти.

И вдруг лицо философа выразило такой испуг, будто я поймал все человечество и лишил его свободы. Конечно, я бы и так отпустил эту птицу, но я хотел хоть несколько дней продержать ее у себя.

— Дай поглядеть, — протянул ко мне дрожавшие руки философ.

— Но смотри, не выпусти, — сказал я.

Философ взял птицу с большой лаской, поцеловал ее в клюв, потом раскрыл обе ладони и тихо сказал: — Иди... Лети!..

На ладонях птица только встряхнулась, но не улетела, а спокойно села на брюшко.

— Ооо, она не умеет летать, — прошептал философ.

— Умеет, философ, умеет.

— Лети же! — осторожно тряхнул ладони философ.

Но птица не улетала.

— Философ, ты ее посильней тряхни, — сказал я.

— Уходи, иди, лети, — снова ласково сказал и встряхнул руки философ.

На этот раз птица будто нехотя, привстала на ладони, с усильем открыла крылья и неловко взлетела. Сидя на траве, рядом с лежавшим философом, я следил за ее полётом, пока она не скрылась в дальнем воздухе, над водой, за кустами.

— Свобода, — будто сам с собою тихо сказал философ, и я в первый раз за всё время увидел, как он плачет. Лежа на боку на траве философ тихо плакал и свободной рукой вытирал слезы.

15

Через несколько дней философ умер. Я стоял над его могилой. Из зеленой высокой травы поднималась небольшая земляная насыпь. Земля черная, сырая. Какая-то птица пролетела над могилой философа едва не коснувшись крыльями моего лица.

«Цив-цив-цив» — та же птица вернулась, мелькнула и исчезла в светлой синеве неба. Вместе с Василием мы посадили на могиле философа сильную молодую иву. Ива быстро принялась и через месяц уже спустила плакучие ветви прямо на могилу философа. В дождливые дни ива шелестела над могилой и дождевые капли стекали с нее прямо на сырую могилу философа. И в такие дни мне воображалось, что это из далекой Армении шла, шла, шла мать философа. Дошла до Сибири и нашла вот здесь эту могилу своего сына. Пришла эта неграмотная армянка, мать, обняла могилу своего любимого сына и плачет...

Сурен Санинян

НА ЗАКАТЕ

С вожделеньем и с содроганьем,
Как голодный — краюхой хлеба,
Я любуюсь хвостом фазаньим,
Разметавшимся на полнеба.

Нет! То небо теряет силы,
Сколько воплей и сколько стонов!
Словно в каждом мазке — бациллы,
Словно каждый огонь — антонов.

Видишь, солнце уже повсюду
Гаснет: в море — цыганским пшиком,
На прибрежном песке — полудой,
На тропинке — случайным бликом,

На откосе — полоской ржавой,
На скале — оторочкой бурой...
О, не так ли былая слава,
Гордость наша — литература...

(Что виною — подкоп иль подкуп?
То, что было огнем и чудом,
Выдано головой на откуп
Лизоблюдам и словоблудам).

Нагло светит из-за забора
Лик луны, разжиревшей за день,
Желтым светом своим, который
Отражен, то-есть ложен, краден.

Но затмит ее облаками,
И яснее станет при этом,
Что мерцает море, как память,
Фосфорическим скрытым светом.

ОТВЕТ НА НОТУ

«...то, что принято называть парижской нотой...»
Из статей

А ты, бедняк, я вижу, заново
Поешь о том, что мы умрем?
Поверь, что жизнь так многопланова,
В ней столько тайного и странного,
Не обреченного на слом.

Пусть кролики с глазами пьяницы
Следят в испуге, как удав
К ним ближе тянется и тянется,
А ты бы загадал желаньице,
Да помечтал бы, загадав:

«Хочу, чтоб создавало творчество
Из бунта храмы, а не храмики,
Чтоб побеждало смертоборчество
Второй закон термодинамики...»

Я на такое предложение
Твое предвижу возражение,
Что мысли эти — отражение
Моей игры воображения.
Не отрицаю. Но пойми:
Затем в бессрочное владение
Нам и дано воображение,
Чтоб приходило все в брожение,
Чтоб все играло, черт возьми!

Твое ж о смерти многослезие
Есть род трагической амнезии
(*Долг* поэтический забыт),
Капитуляция поэзии
Пред очевидностью (о стыд!).
Пред тем, что ведомо заранее.

...Глядим в небесное сияние,
Свои устало шепчем жалобы,
А там — в насмешку? в назидание? —
Летит крылатое желание,
Шестимоторное, Дедалово...

Желали ж люди небывалого!

Н. Моршен

РЕВОЛЮЦИЯ*

По улице метёт. А в ланчонете «Два грека из Патрасса», он стоит при самом выезде на автостраду, — народу набилось столько что скоро там и сесть будет негде. Близко к полночи: 11 часов 30 минут показывают, из прохода бросающиеся в глаза, старинные, стенные (и откуда только греки их выкопали?) венские, с кукушкой и маятником часы. Но несмотря на поздний час, ланчонет гудит, как улей. Постукивают ложки и чашки, рассекаются ростбифы и бифштексы, в ненасытные горла вливаются и кока-кола и оранжад — и льется мирная беседа неуспевших отужинать в полагающееся время, проголодавшихся клиентов.

Во всем белом — точь в точь как у сестер милосердия — от столика к столику прохаживаются официантки. Что-то спросят, что-то безразлично запишут в блок-нот, и милостиво, но все так же безразлично, что-то принесут на тарелке — то, что, может быть, давным давно заказали, но так терпеливо ждали, может быть, и нетерпеливые посетители.

И так — пусть на карнизах осыпается снег. Пусть за этими сплошными-стеклянными, заиндевевшими окнами разворачивается какая угодно отчаянная погода — все равно в ланчонете «Двух патрасцев» всегда светло, тепло, а значит и уютно. Так что пусть себе мелькают и дальше, пыхтя моторами, обвешенные сосульками и не свистящие, как обычно, на повороте, а жалобно поскрипывающие, как сани на полозьях — все те, с цепями и без цепей, заметенные снегом, жалкие такие автомобили, вместе со своими упорными ездоками, всё по этой

---

* Анатолий Сапронов — молодой беллетрист, это его первое напечатанное произведение. РЕД.

дороге, — как сегодня, так и вчера, — прущими и прущими на автостраду. Пусть по скользкому тротуару и дальше бегут домой с последнего кино-сеанса, кутающиеся в пальто, в шарфы те, с обветренными лицами, прохожие — одно бесспорно: приятнее всего, в такой час, сидеть в подобном учреждении, где, тыча вилкой в ростбиф, можно хорошо беседовать с напротив сидящей... вашей дамой сердца, например, (пускай одним лишь кофе без сахара и питающейся)... или — с хорошим другом... или со старым дядюшкой... или, наконец, просто с первым встречным, у которого к этому часу, скажем, после изрядно выпитого в соседнем баре — ни с того, ни с сего — взял да и развязался язык.

*

Однако, всё это не настолько важно, как важен сам он — Тедди Джаксон, старший сварщик того большого сталелитейного завода, который от ланчонета всего лишь в пяти минутах езды. Вон тот, коренастый, в растегнутой куртке на красной подкладке, и со стальными (при этом фиолетовом освещении), по настоящему — с седыми, всклокоченными волосами, с красными — будто всегда с мороза — пухлыми щеками, и с тонкими, чуть в углах отвисающими, словно «обиженными» губами, — в общем — с детским, несмотря на седину лицом. Он сидит одиноко у первого от стойки, «проходного» столика. Яичница и кофе перед ним. Вилка в руке застыла. Брови приподняты. Глаза прищурены. Взгляд упирается то в одну точку — то, медленно передвигаясь, застывает на другой. В общем, если бы не поздний час, и не эти его покрасневшие щеки — сумасшедший и только, а не подвыпивший, запоздалый, проголодавшийся клиент.

А кругом все пожевывают, да попивают незапретные напитки, платят по счетам и выпроваживаются («вышвыриваются») вон, на мороз. Кое-кто для поддержания собственного настроения — а за компанию и настроения всех остальных — смотришь, и попал в очередь: смотришь, заиграл и его в «джу-

боксе» гривенник. Теперь только и остается наслаждаться (вместе с вашей, напротив сидящей) — подергивая ли плечиком, отстукивая ли в такт ножкой под столом, или, совсем уж скромно, пальчиком по сиденью, — в такт последней танцевальной новости, которая так меланхолически начинается:

«I am a lonely boy —
Lonely and blue...»

*

Белобрысая официантка Келли — она тут работает только вторую неделю. У нее и улыбка кислая, и очки на глазах, и волосы будто никогда не чесаны (на волосах еще желтая косынка, совсем несуразная: висит, вот-вот сейчас спадет) — и цифры у нее на выдаваемых счетах какие-то закругленные, каллиграфические, в общем, особа определенно бесцветная. Тот грек-патрасец, помоложе — усы черные, задорно опускающиеся вниз, и волосы вылезают из-под поварского колпака, вьющиеся, но уже с заметной сединой (зато на груди у него черных волос целая охапка: через растегнутый ворот рубахи хорошо видно) — ей никогда не подмигнет ни усом, ни глазом, и отпуская ее с подносом, ни за что фамильярно не хлопнет ее ниже талии, что он неизменно проделывает с тремя другими официантками, у которых есть «объективные данные», ради которых можно и хлопнуть, и которые сами в долгу не останутся: могут и огрызнуться и улыбнуться в ответ.

Но официантка Келли совсем не опечалена таким пренебрежительным отношением одного из хозяев. Во-первых существует и второй хозяин — тот, совершенно облысевший старый, лопоухий грек с лицом лимонного цвета и глазами широченного разреза (потому: с «вылупленными глазами»), с которым она и старается больше иметь дело. А во-вторых, у нее обручальное кольцо на руке, так что интересуется она не греками, а чаевыми и... чтобы скорее, скорее время шло...

Сейчас ей приходится разрываться на части — обычная история перед уходом. Но главное — она на своих шести столиках клиентов уже расчитала. Только тот, один, за отдельным столиком, у которого такой тяжелый взгляд и отчаянный вид, прямо как у проигравшегося в рулетку перед самоубийством, — не реагирует никак на уже три ее прихода. Счет она ему уже полчаса как выписала, а он всё сидит. Только обмерит ее ощуривающимся взглядом и на вопрос: «Не надо ли вам, мистер, еще чего-нибудь?» — процедит что-то непонятное через углы своих «обиженных губ». Последний раз, когда она проходила мимо, он опять оглядел ее и опять не сказал ни слова. Только в его руках — вернее, в его огромных лапах, она увидела ее счёт, который он скручивал в трубочку. Ее счёт — в трубочку! После этого она больше к нему не подходила, то-есть на чаевых поставила крест. Но и без этого ее заработок в тот вечер был более чем приличен. Все-же, ставши у стойки, рядом со старым греком, она выписала второй счёт на всякий случай. Составляя его, она несколько раз посмотрела в сторону странного клиента.

«Ах! Только бы мне мой зонт не забыть», — подумала. И тогда встретилась опять с его глазами «с явной сумасшедчинкой». И вдруг ей показалось, что на его обиженных губах появилась усмешка. Но, главное, она опять увидела в его руках счёт, который он теперь раскатывал, совсем как катают мякиш хлеба.

«Сейчас его на пол бросит», — промелькнуло у официантки Келли. Но тут внимание ее было отвлечено приходом двух новых посетителей. Поэтому она и не могла заметить, как голова Тедди Джаксона, вдруг, резко клюнула к тарелке. Седая его голова потом снова приподнялась, помоталась несколько раз, как бы ища равновесия, клюнула к тарелке снова...

А ланчонет продолжал и дальше гудеть как пчелиный улей...

2

«Сэр! Извините, что я вас беспокою. Но я ухожу, и я бы хотела, чтобы вы заплатили по счёту... У вас была яичница с колбасой, творожник, кофе. Итого с вас — 1 доллар 23 цента», — заглядывая, будто за справкой в блокнот, сказала официантка Келли.

«Ну, и доллар двадцать три цента», — опуская вилку на тарелку и поднимая на Келли свои, все еще мутноватые глаза, ответил Тедди Джаксон. — Ну и прекрасно... Ну и было...»

«Я вас, сэр, не принуждаю. Хотите — перенесем счёт на мою заместительницу?» — вежливо сказала официантка Келли.

«А это почему? Зачем переносить?.. Давайте прямо забудем! Не стоит вспоминать!» — странно ответил Тедди Джаксон. И, вдруг, неестественно захохотал; а потом добавил: — «Подумаешь, важность какая! Яичница!»

«Что значит, забудем»? Вы... что... собираетесь отказываться, что у вас была яичница?» — спросила официантка Келли с легким раздражением.

«Яичница — и отказываться? Зачем отказываться? Всё верно. Яичницу мне дали. Яичницу я съел. На то и яичница, чтобы ее есть», — ответил Тедди Джаксон и опять глупо рассмеялся.

«Послушайте! Это всё интересно, что вы съели яичницу. Но я кончаю работу и приходит моя заместительница. Вы не хотите мне платить, расплачивайтесь тогда с нею», — сказала официантка Келли.

«Яичница сегодня — яичница завтра», — не глядя на нее, но теперь вполне серьезно ответил Тедди Джаксон — «Сегодня доллар двадцать три цента — завтра доллар двадцать три цента... За бензин — плати... За яичницу — плати... Довольно: это выше человеческих сил. Который день — всё одно и то же. Одно и то же. Яичницу заказал — плати... Яичницу съел — плати...»

«Вы, мистер, заплáтите мне доллар двадцать три цента?» — резко перебила его официантка Келли.

«Каждый день — одно и то же», — не обращая внимания на нее, повторял Теддн Джаксон — «Не успел притти — плати. Поехал — плати... Сел за стол — опять плати... Довольно... Баста... Почему нельзя: вот прихожу я сегодня в ресторан, заказываю яичницу, которая стоит 1 доллар 23 цента, и: мне яичницу приносят; я яичницу съел... и не плачу! Ничего не плачу! Вот так. Тысячу раз яичницу ел и платил, а вот сегодня, в тысячу первый раз я яичницу заказываю... и не плачу! Вот хочу! Вот заказал! И не плачу!.. Мисис!» — вскинув на нее свои голубые (и тут уж с явной «сумасшедчинкой») глаза, крикнул Тедди Джаксон — «Я заявляю прямо: сегодня я за яичницу не плачу! И зарубите себе на носу: каждый день не смеет быть одно и то же... С меня довольно... Не плачу — и всё» — И с этими словами Тедди Джаксон опустил свой кулак, — правда, без особого шума, — на стол...

*

Глаза официантки Келли под очками расширились. В них в равной мере были отражены — и раздражение, и удивление, и испуг. Вообще выражение лица официантки Келли могло быть сопоставлено только с выражением лица священника, к которому в самый торжественный момент богослужения подошел бы хулиган и сказал бы какое-нибудь богохульство. Но, пожалуй, даже и тогда лицо священника не выразило бы такого удивления, какое было сейчас на лице официантки Келли. Ведь у священника могла мелькнуть мысль: «человек заблуждается... человеку свойственно заблуждаться». Тут-же о заблуждении не могло быть речи. Подвыпивший, седоволосый клиент подкапывался прямо под все основы. И не только под деятельность официантки Келли, но и под все основы человеческого общества.

Официантка Келли повернулась и спешно направилась к командной стойке — к старому греку. Но объяснять ей много не пришлось. Старый прекрасно всё видел и слышал всю тираду Тедди Джаксона. Он что-то сказал своему усатому компаньону.

Тот только остро посмотрел в сторону Тедди Джаксона, схватил с вешалки пальто и, находу накинув его, скрылся вмиг за выходной дверью.

Ланчонет на мгновение притих. Но потом опять по инерции загудел. Все, конечно, слышали, все наблюдали необычную перепалку между клиентом и официанткой. Многие даже сочувственно улыбались. И только он один, Тедди Джаксон (человек, запротестовавший против того «что каждый день — одно и то же»), подперев виски обеими руками, так и не шелохнулся, так и продолжал сидеть, уставившись в какую-то одну точку. Может-быть он о чем-то думал? Может-быть и не думал, — трудно сказать.

*

Дверь, захватывая за собой снежинки от порыва ветра, отворилась. Усатый грек, в черном пальто поверх белого одеянья, оттоптывая снег с каблуков, показался в ланчонете. А за ним, в темно-синих шинелях, в темно-синих фуражках, с большими тускло-серебряными кокардами и с такими же серебряными бляхами на груди, с палками и револьверами — два рослых полицейских: белый и негр.

Теперь ланчонет замер по-настоящему. Все насторожились — все с интересом ждали, что предпримут полицейские. И только он один, Тедди Джаксон, так и не повернулся, так и не шелохнулся. Вероятно, он был все-таки здорово пьян.

Полицейские важно подошли к стойке, важно сняли фуражки, положили их на стол. Старший полицейский Боб Огансен — сероглазый блондин, с торчащими «крюкат» волосами, узколобый, с приплюснутым носом и с коротким подбородком — что-то спросил у старого, лопоухого грека. Тот, вытаращив глаза больше обычного, ему что-то зло отлопотал. Очутившаяся тут же официантка Келли еще что-то от себя прибавила. Боб Огансен обменялся какими-то словами со своим напарником, патрульным полицейским Эмми Дюранте — плотным молодым парнем с отвисшими, толстыми губами и с

задумчиво-созерцательным, шоколадным лицом; а потом оба они важно оглядев присутствующих, приподняли свои служебные палки и направились к столику Тедди Джаксона. Эмми Дюранте обошел правонарушителя с тыла и, удобно оперевшись палкой о спинку следующего сиденья, стал спокойно ждать пока Огансен подойдет к Тедди Джаксону с фронта и ткнувши длинным указательным пальцем в предплечье, скажет:

«Эй! Джак!» — Так уж, повидимому, всех преступников и не преступников, встречавшихся на его служебном пути, окрикивал один из лучших полицейских нашего района Боб Огансен... — «Тут с вами какое-то недоразумение. Не потрудитесь ли объяснить в чем дело?

Тедди Джаксон повернул в его сторону свою седую голову, смерил Огансена снизу до верху хмурым взглядом, и только тогда проговорил:

«Никакого недоразумения не было. И объяснять нечего».

И Тедди Джаксон — внешне совсем спокойный — достал из кармана спички. Спокойно зажег папиросу. Спокойно закурил.

«Как утверждает господин Сориазис», — сказал Боб Огансен, ничуть не смущенный ответом, — «вами была заказана яичница. Вы яичницу заказывали?»

«Ну... заказывал».

«Сколько яичница стоит?»

«Черт ее знает сколько она стоит».

«Яичница стоит 1 доллар 23 цента», — проговорил Боб Огансен.

«Так чего-же вы меня спрашиваете, если знаете, сколько стоит яичница?» — ответил Тедди Джаксон, затягиваясь папиросой.

По ланчонету пронесся вздох. Полицейский Эмми Дюранте, до того презрительно-флегматично рассматривавший этого «мелкого» (в его представлении) порядконарушителя, посмотрел заметно-удивленно в сторону своего сослуживца. Но Боб

Огансен, не глядя ни на кого, только повертел несколько раз своей палкой и сказал:

«Конечно, я обязан знать сколько стоит яичница. Но я также должен выяснить: знаете ли вы, сколько стоит яичница, то-есть сколько вам нужно платить».

Тедди Джаксон продолжал спокойно курить.

«Итак! Раз яичница стоит 1 доллар 23 цента... и вы ее заказали... Так, почему же вы не хотите платить?»

Тедди Джаксон молчал.

«Может быть у вас нет денег? Скажите: деньги у вас есть?

Тедди Джаксон и на это ничего не ответил. Он был занят: тушил окурок в пепельнице.

«Ваше молчание я расцениваю, как признание. Итак, вы яичницу заказали. Деньги у вас есть. Яичница стоит 1 доллар 23 цента — так что потрудитесь уплатить. От 1 доллара 23 центов вы не убежите. Вы бы заплатили и 5 долларов 23 сента, если бы такая расценка была поставлена в меню. Раз вы сюда пришли, раз тут такие правила — вы обязаны платить».

Высокий Боб Огансен теперь высоко поднял свою голову, свысока и убедительно посмотрел на своего сослуживца, Эмми Дюранте и, покачивая плечами, также убедительно оглядел всех вокруг. Но Тедди Джаксон и на это ничего не ответил.

«В последний раз спрашиваю: будете платить за яичницу?»

Тедди Джаксон внимательно осмотрел кокарду и бляху Боб Огансена. Тедди Джаксон должен был теперь что-то сказать. Но Тедди Джаксон опустил глаза и снова не произнес ни слова.

«Даю вам минуту на размышление», — сказал Боб Огансен, и чуть задрав служебной палкой свой левый рукав, взглянул на свои ручные часы.

*

Ланчонет затаил дыхание. Все повернулись, все глядели на стенные часы. И с таким выражением, как глядят в пороховом погребе, на тлеющий трут динамита, который взорвется ровно через минуту. Только один полицейский, Эмми Дюранте, еще удобней облокотившийся на спинку сиденья, поглядывал с усмешкой на губах на насупившегося Тедди Джаксона. В его черных маслинах-глазах было будто написано:

«Ну, и герой. Подумаешь — герой выискался. Но какого героя из себя не строй, а платить, голубчик, все-равно будешь».

Потом кто-то кашлянул. И опять всё стихло. Одни лишь стенные, венские часы тихо и бесстрастно отмеривали секунду за секундой.

Тедди Джаксон поднял глаза и в упор посмотрел на Боб Огансена. Если и был он до этого пьян, то теперь он окончательно отрезвел. Сейчас в душе его происходила тяжелая борьба. Надо было отвечать за свои слова, в которых были замешаны — честь, гордость, самолюбие, храбрость и всё прочее, что неизменно присутствует при защите любого — правого или не правого, но дорогого, своего дела.

«Итак — время прошло», — опуская руку, сказал полицейский Боб Огансен. И тотчас закуковали на стене часы. Срок был увеличен почти до двух минут. Была полночь. Ровно двенадцать.

Тедди Джаксон и тогда ничего не сказал. Тедди Джаксон ждал. Ждал и тогда, когда подошел к нему полицейский Эмми Дюранте и крепко взял его за руку. Ждал и тогда, когда, заметно побледневший в лице, Боб Огансен попробовал взять его с другой стороны, чтобы вести сперва, через прихожую на мороз, потом к автомобилю, а потом в участок. И только почувствовав, что его уже поднимают со стула и, сжимая крепко его руки, тянут за собой — (да еще, когда сквозь голову пробежала мысль: «вот сейчас наденут наручники») — только тогда он тряхнул обоих... Тедди Джаксон был крепкий мужик...

оттолкнул одного, оттолкнул другого — Боб Огансен всей своей долговязой фигурой распластался на полу. Тут еще подскочили какие-то любители вмешаться в свалку. Но вдруг Тедди Джаксон закричал:

«Постойте! Постойте! Чего вы волнуетесь?.. Ведь вы же знаете, что за яичницу я заплачу!..»

На его столе, чуть сбоку стояла тарелка с недоеденной яичницей и на маленькой тарелочке — творожник, к которому он и не прикоснулся...

*

Стенные часы наигрывали свою несложную ночную мелодию. В ланчонете народу было всё также много. За «командной стойкой» суетились оба грека, обслуживая сидевших перед ними на высоких стульчиках многих новых посетителей — в том числе обоих полицейских, Боб Огансена и Эмми Дюранте. При полицейских — ни револьверов, ни палок, ни подавно наручников не было. Полицейские потихоньку между собой переговаривались, улыбались официанткам, закусывали. На них никто не обращал внимания. Играла всё та же пластинка в «джубоксе». Всё также пили и ели клиенты. Также блестел за окном снег. Только одной официантки Келли не было.

Тедди Джаксон встал. Зевнул. Потянулся. Расправил свои широкие плечи. Еще покрутил в руках помятый счёт. Достал кошелек. Положил пятнадцать центов на стол — на чай официантке. Взял свою кепку с вешалки, подошел к кассе. Отсчитал старому Сориазису (сразу же его поблагодарившему) ровно 1 доллар 23 цента. Сказал — «Гуд бай»...

«Гуд бай», — ответили ему оба грека.

«Бай, Тедди», — прибавил еще полицейский Боб Огансен.

Тедди Джаксон посмотрел на него, но ничего не сказал. Нахлобучил кепку и вышел.

*

Снег хрустел под ногами. Ветер хлестал по воротнику его добротной куртки. Пронизывающий, снежный ветер выметывал на улице воронки, бился о сугробы и завалы, а потом, резко меняя направление, — всё вновь разрушал чтобы снова завертеться на другом месте и запутаться опять в соотношениях предыдущим равных. Сильный ветер дул и на автостраде. Настолько сильный, что видневшаяся далеко впереди, в платочке женщина еле-еле передвигалась, опираясь на зонт. Плелись и машины на автостраду едва-едва. Но все-таки машины шли. Как шли вчера. Как пойдут завтра.

Тедди Джаксон добрался до своего автомобиля, чтобы скорее ехать на завод. Тедди Джаксон первый раз в жизни запаздывал. Впрочем сегодня было исключение. Обычно Тедди Джаксон точно приезжает на завод; ночью или днем, но всегда во время. Так что за будущее Тедди Джаксона беспокоиться нечего: у него каждый день одно и то же.

...А что касается революции... то... остаются только — фонтаны снега, брызжущие из-под колес... Автострада... Ужин... Обед... Жена... Дети... И каждый день — одно... и одно и то же...

Анатолий Сапронов

ШЕСТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

ВЕСНА В БРУКЛИНЕ

Бруклин во власти солнечных каскадов,
Бруклин у веток ласковых в руках,
Кувшинки Ботанического сада
Запутались в бегущих облаках.
Блестит вода. Вишневый цвет неистов.
Проносится и подавляет вздох
Весна почтовых ящиков и свиста
И щебета ветвей и проводов.
Висит белье и сохнет на задворках
Цветными рукавами шевеля,
А небо преломляется о створки
И брызжет зайчиками хрусталя.
Пернатым — рай. У них работы пропасть,
Они с рассвета джазом увлеклись,
И Голубой Рапсодии синкопы
Сквозь ветки небом хлынули в Бруклин.
Грохочет поезд, обдавая треском,
Перроны хлещут шорохом шагов,
И выступает Гершвинское детство
Из всех кварталов, как из берегов.

КУСКОВО

Пробираясь сквозь ветки наощупь,
Глядя окнами в ясную даль
В подмосковных смеющихся рощах
Доморощенный бродит Версаль.
Он стыдится величья и позы,
Заслоняясь на легком ветру

Серебристым изгибом березы,
Опрокинутой в северный пруд.
Люстра входит альпийским обвалом,
Входит гранями чуть шевеля
В белый блеск танцевального зала
Колкой радугою хрусталя.
В легком кружеве речи французской,
Между старых сановных голов,
Властно топает туфелькой узкой
Королева кусковских балов . . .
Зацветая колышатся травы
И сквозь лиственный легкий узор
Ровно дышет имперская слава
В камышевых свирелях озер.

АЭРОПОРТ

Эфирных колебаний хор
Гремит над океаном синим.
В бетонном кулаке Нью-Иорк
Зажал пучки воздушных линий.
Проглядывает утро, брызнув,
Лучом, как пальцем указав
Сквозь солнечные ребра призмы
В прохладный аэровокзал.
В простор строительных лесов,
В газоны, где дорожки лягут,
В простор стеклянных корпусов,
Навесов разноцветных флагов.
Мозаикой нанесено
На стену зала пол-планеты,
Декоративное панно
В слепящих молниях пометок.

Над полем приступы жары,
У старта винт гремит, потея,
А в стеклах мебель и ковры,
Журналы, бары и коктейли.
В строенья солнечные влит,
В хрустальные оправлен грани
Гигантский аэромагнит,
Всемирный радиус влиянья.
Сверхскоростных движений рост,
Математические дали,
Намеченные мелом звезд
На черных досках мирозданья.

ЖАРА

Каменные подземелья стонут,
Спазмы пульса бьются на бегу
Духотой, чумным нутром вагонов,
Сизой кровью негритянских губ.
Ад пошел туннелями скитаться,
Он составы прогонял сквозь строй,
Комьями сердечного припадка,
Клекотом одышек и жарой.
Ад гудит в железных переплетах
Рельс. И вырвавшись из-под земли,
Как насильник, он козлиным потом
Солнечный цветок испепелит.
Он застрянет острыми углами
Меж костями черепа, пока
Бредит жажда ледяным Монбланом,
Уводя фасад под облака.
Дымный смерч бесформенный и липкий
Нагнетает смертную струю,
Но не в силах этот смерч улыбку
Отравить озерную твою.

ЛЕТО

Июнь отражался в озерах. Июль,
Едва появившись, запутался в лирике
Реки камышевой. Он встал на краю
Моих монологов концом перемирия.
Земля обегает недвижную ось,
Мои монологи сквозь лес нерасслышаны,
Дождливую ночь прожигая насквозь
Воздушная трасса проходит над крышами.
Вода, как и ты, нечувствительна к злу.
Как жалко твоих отражений у берега.
Тебя я доверю стальному крылу,
Тебя, близорукую, небу доверю я.
Плескались пороги. Дымился закат,
Бледнела палитра у вечера раннего,
Протянут над озером млечный рукав,
Улыбка светилась в очках и туманились
Хрустальные зыби. Работал мотор,
Над темными крышами выли пропеллеры,
Воздушные мили спешили в упор
Озерный твой отпуск винтами расстреливать.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЦИФРЫ

Жизнь статистических частиц,
Где счет идет на миллионы,
Где силы без имен и лиц
Слепому отданы закону.
Где манекены правят суд
Над всем, где машинально быстро
Дома, как графики растут
В уме статистика-кубиста.

А площади упали ниц
Перед слепым стеклом фасадов,
И бредят общим, единиц
Не удостаивая взглядом.

. . . . . .

Каменный лабиринт на тысячи миль разветвленный.
Милая, отведи, как облако, прядь со лба —
Я не боюсь статистических миллионов,
Смотри, у тебя в бессмертие запрокинута голова.

Олег Ильинский, 1961

ЗА ДРОФАМИ

Уже совсем светло. В палатке так холодно, что нет сил и храбрости вылезти из-под одеяла, из теплого мешка. Пью горячий чай и курю. Косой утренний луч солнца пробивается сквозь полость палатки и в нем вьется зигзагами и кольцами дым папиросы. По разговору и окрикам слышу, что уже запрягают в можару лошадей. Сегодня едем стрелять дудаков. Вчера видели на солончаках большие стаи. На дроф охота совсем особая: к ним нельзя подойти на выстрел дробового ружья, особенно пешему человеку — и на пятьсот шагов зимой не подпустят. Зато возы с соломой и сеном, упряженные лошадьми и особенно быками они подпускают довольно близко, шагов на двести-триста.

Охота заключается в том, что несколько охотников усаживаются в воз и объезжают стаю. Охотники незаметно падают с воза около каких-нибудь кустиков и лежат, затаившись. Таким образом окружают стаю с одной стороны предполагаемого лёта (хотя на этот счет — предполагаемого лёта — очень часто ошибаются). Выбросив всех охотников, воз делает большую дугу и объезжает дроф с противоположной стороны, потом сразу заворачивает на дроф и гонит рысью или галопом на цепь охотников.

Семен кричит, что все готово; делаю усилие и выскакиваю из мешка. А еще надо мыться, а вода холодная, но ничего не поделаешь — таков обычай. Помню, как тот же самый Федор, когда я был еще мальчишкой и он называл меня Пашей, стыдил меня утром на охоте, «что же это вы, Паша, не умылись: если глаз утром холодной водой не промоете, промах дадите».

Через пять минут все уселись на воз, набитый соломой и

— едем. Федор и его помощник успели утром из кустов полыни связать заборчики, чтобы закрываться на совсем открытом месте. Вываливаешься с воза с таким заборчиком и сразу закрываешься лежа, и уже больше двигаться нельзя. Дрофы зорко следят за возом и если увидят, что воз отъехал, а сзади еще что-то движется, то уж в эту сторону не полетят.

В нашу можару запрягли четверик лошадей, потому что народа много и надо переезжать Чебутлу (приток Терека), а она хоть и не глубокая, да вязкая и берега крутые.

Въехали в Чебутлу: вязко и вода по брюхо лошадям. Ох, увязнем. Лошади понатужились, постромки трещат, вот-вот полопаются, а гнать нельзя — и так уж пристяжные в разброд рвутся, хотят выскочить из топкого места. Наконец перевалили через середину и легче пошло; крутой берег и сразу взяли так, что воз крякнул. Посмотрели, не обломались ли? Нет, все в порядке. Покатили по ровному солончаку, точно по асфальтовой мостовой. С нами напросился старик, хозяин хутора, и вижу что он, если не отрезвел со вчерашнего вечера, то уж наверное сегодня с утра перехватил, с Федором наугощались. Отказать было неудобно, да и старик гостеприимный, добродушный, а все же боюсь, что охоту испортит.

Ружье у старика пистонное, стволы почти насквозь проржавели — совсем опасно и для окружающих и для самого деда, но уговорить его взять другое — мое запасное ружье — было невозможно. Старик упрям, как сто ослов: «вы, паныч, не смотрите что оно пистонное, я ж с него абрека убил». — «Когда же, дедушка, вы из него абрека убили?» — «Да годов пятнадцать будет, як бабахнул, что косой срезал». — «Так вы его, вероятно, с тех пор и не чистили, оно все проржавело». — «А чего чистить-то, оно и так швидко бьет. Вот побачите, як на сто шагов дудака срежу: лучше чем из ваших заграничных!»

На возу я сел от него подальше и просил Федора, чтобы он незаметно пистоны снял, потому что «як бабахнет» в спину или в затылок — одна каша получится. Пока мы ехали быстро к месту, где вчера видели дроф, старик пьяным голосом

продолжал рассказывать Федору и Семену, как он «абрека срезал».

Скоро завидели далеко — не меньше версты — стаю дроф штук в тридцать. Они пасутся на совершенно голых, как пол, местах; изредка только — кусты полыни, и щипят мелкую красноватую траву, что растет на солончаках. Издали — точно стадо баранов. Дрофы гнездятся по всему северному Кавказу и их довольно много в ногайских степях. Так — летом, но теперь, в конце ноября, в этих местах проходят дрофы дальнего лёта и оттого их такое скопище. У нас летом гнездились две породы дроф: большая, — взрослый самец фунтов в тридцать весом, — на высоких ногах, с красно-бурым пером на спине и серо-синим оперением вокруг клюва и большими усами и — поменьше, фунтов на двадцать, ниже на ногах и опереньем больше на стрепетов похожи. Эта дрофа любит держаться по мелким бурьянам, быстро бегает и затаивается.

Увидев дроф, посоветовались, как подъезжать. Самое главное в этой охоте, это — опытный подводчик. К дрофам надо подъезжать так, будто вы едете мимо. Никогда нельзя прямо брать на них и надо хорошо знать расстояние: они ленивы на подъем, но все же осторожны и не нужно вызывать преждевременный испуг. Лошадьми правил старик Петро, он хорошо знал это дело. Угадать направление лёта трудно. Если ветер сильный, они летят с ветром, а если тихо, то так — как их пугнет подводчик. Если он сразу и большим ходом нажмет, да еще есть подручный верховой, или два, то на коротком расстоянии можно погнать в нужное направление, то есть, на цепь затаившихся охотников.

Подъехали шагов на триста и, не останавливаясь, спустили с воза первого Семена и он хорошо укрылся полынью. Вторым, шагов за двести, решили оставить старика около естественной заросли полыни. Дед благополучно слез и улегся тихонько; это меня успокоило, значит, не так уж пьян и, будто, охоту знает. Потом вывалился и я, и — последним Федор. Лежу на животе, как доска, все приготовил, ружье с правой стороны, и заборчик из полыни выправил. Свернул шею — головы под-

нять нельзя — и сквозь стебли вижу, что дрофы, как будто, еще спокойно гуляют. Первый признак их беспокойства, если слегка крылья приподымают, точно потягиваются: это значит, опоражниваются перед тем, как взлететь.

Со стариком тоже все благополучно — не видать; стало-быть, тихо лежит. Петро с возом дальше едет от дроф, большую дугу загибает, чтобы успокоились. Это на десять-пятнадцать минут, и я, чтобы не ломать себе шеи, лежу лбом на земле, подложив папаху.

Если дрофы поднимаются, особенно с перепугу, то они сильно хлопают крыльями и далеко слышно. Дрофы машут крыльями редко и тяжело. Зрительное впечатление, что они летят тихо — не верно: они летят очень скоро и, стреляя, нужно брать вперед, в зависимости от расстояния.

Прошло минут десять и я опять выглянул сквозь бурьян: что дрофы делают? Вижу — их нет, и сразу увидел, что они уже летят прямо над стариком через его голову, а выстрела нет. Мне и Семену далеко. Машут тяжело крыльями — шагов на сто развернулись в линию — и середина их над самой головой деда. Думаю, старик в угон хочет стрелять, «бабахнет», лишь бы ружье не лопнуло. Пролетели дрофы — и никакого выстрела. Наверное, осечка. Деда не видать. Поднимаюсь, выправляю шею и иду к деду. Вижу издали, что он лежит на спине, как мертвый. Подошел к нему, а дед спит, как запорожец из «Тараса Бульбы», руки и ноги раскинул и носом свистит. Ружье рядом лежит и курки взведены. Подошел Семен, хотел деда будить и ругать. Я его остановил: к чему?.. Лучший способ от него избавиться: пусть спит, выспится и домой пойдет — от хутора недалеко. Подъехал Петро, тоже сердит на старика. Подложили под него соломы, спустили курки у ружья, чтобы с просонья не «бабахнул», и поехали дальше. Петро рассказал, что не успел заехать, дрофы раньше снялись, оттого и шума от крыльев не было, и сразу полетели на пьяного старика, «верно угадали».

Еще раза два заезжали, — и все без удачи. Дрофы рань-

ше времени подымались и стороной проходили; только раз Федор стрелял, но далеко...

Уже после завтрака удачно и близко объехали стаю. Я лежал плашмя на земле, смотрел в небо и курил, надоело шею ломать. Пролетят — хорошо, а не пролетят — черт с ними. Время было уж к вечеру, высоко, точно серебряные ленточки, утки проходят и казара (маленький гусь) визгливо кричит. Летят тысячу шагов над землей, где-то будут завтра? И вдруг слышу, заорал Петро и захлопали крылья — значит, по хорошему, удалось. Нащупал правой рукой ружье и не двигаюсь, только глаза скосил в сторону, откуда лететь должны и думаю, налетят на меня, или нет... И вдруг они надо мною: точно накрыли, даже тень легла и крылья свистят. Хотел вскочить и не успел, уже перелетели. С колена стрелял — чуть в угон, совсем близко, шагов тридцать. Треснул выстрел и слышно, как дробь хлопнула по дудаку. Он скосил — вывернулось одно крыло, и камнем бухнул на землю.

Второй раз стреляю уже на ногах и хорошо выцелил в угонку. Дудак осел от стаи, повисла перебитая нога и он медленно, не двигая крыльями, снизился. Это тоже — битый наповал. Ну вот и с полем, и довольно! Заехали еще раз — мне хотелось, чтобы Федор и Семен постреляли — Семен хорошим дальним выстрелом взял очень большого самца. Весов в степи нет, но показалось, что около пуда вытянет.

Вернулись домой. Завтра едем дальше по Чубутле. Надо проведать старика-хозяина и узнать, как вернулся, поблагодарить за гостеприимство и попрощаться.

Встретила меня его жена, пожилая, толстая, симпатичная хохлушка. — «Здравствуй, а где же хозяин?» — «Мой дид спит еще, выпимши». — Я рассказал, как он уснул на охоте и я его не хотел будить. Она улыбнулась. — «А вы, хозяйка, когда он выпьет, ружья ему не давайте. Ружье все проржавело, как бы несчастья не случилось». — «Якое? О це же пистонное! Тай в нем пороха нема: я же давно за вместо пороха в него шерсти набила. Как бы в нем порох был, так мой старик давно бы нас увсих заместо абреков перестрелял. А так, пистонами цыкнет

раз другой и скажет: «должно, порох отсырел» и на стенку повесит и забуде, пока опять не выпьет...»

Года два после этой охоты в степи, я возвращался из Кизляра во Владикавказ — домой, под самое Рождество. Грязь была непролазная, шел снег с дождем, одним словом, погода хуже чего быть не может. Доехал до Старогладковской к полдню и решил у Семена обогреться, закусить и коней подкормить. Выскочил Семен: — «Вот, говорит, вовремя подъехали. Закусывайте скорее и едем дудаков стрелять. Казаки со степи приехали, говорят, что дудаки валом через буруны летят, их наверно большим снегом гонит». — «Семен, да погода-то какая? Ничего же не видно, глаза снегом заклеивает». — «Погода для дудаков самая подходящая: это раз в году бывает, что дудак в бурю в снег летит, тут его хоть рукой достать. А вымокнем — не беда, потом в хате у печки высохнем: тут близко лёт идет, и десяти верст не будет».

Приказал скорее лошадей подкормить и через час мы уже ехали обратно по направлению к станице Дубовской. Лошади тяжело шлепали по грязи, мокрый снег лепил прямо в лицо. Обвязали головы башлыками, только щелки для глаз оставили. Верст восемь проехали по большому тракту и свернули проселком к бурунам в степь, сразу легче стало — дорога неезженная, песчаная.

Мокрым снегом метет, в сорока шагах ничего не видно, на бурьянах и на кустах белые шапки наросли, а на земле тает. Не понимаю, и не верю, что в такую погоду стрелять можно, да и какая птица в такую погоду полетит? А Семен все свое: — «Потерпите, сами увидите»...

Подъехали к буграм, вылезли; ветром хвосты и гривы лошадям треплет. Нужно вылезти на гребень и между буграми в седловине ждать пролёт. Взяли патроны не в карманы, как обычно, а в сумку, потому что карманы промочит.

Полезли на бугор; бурьян и ветки мокротой обдают и вдруг над головой что-то лохматое пронеслось, точно солому с крыши ветром сорвало. Дудаки пролетели, борясь с ветром

и криво взмахивая крыльями, будто громадные тряпки; сразу унесло их ветром и проглотила снежная муть.

От этой картины мне точно на душу и сердце перцем посыпали. Ноги сами зашагали. Дошли до первой седловины, первым стал Семен, а меня послал на следующую: будто там особенно хорошо летят. На прощанье дал совет: перед собой не стреляйте; и попасть трудно, потому что быстро идут, и если битый на вас случайно упадет, так кости переломает, в нем почти пуд веса. Бейте боковых, или в угон. Не прошел я и ста шагов, как сзади со стороны Семена, хлопнул выстрел и сейчас же ударило в землю: дудак упал. Побежал скорее на место. Вот между двух бугров глубокая седловина. Стал за кустом тальника, чтобы меньше снегом лицо заклеивало. До чего же гадко: с носа вода капает, перчатки промокли, рукам холодно. Снял перчатки и левую руку — в карман, а правую — за пазуху, чтобы согреть, а то и не выстрелишь замерзшими пальцами. Передо мною мутно, в двадцати шагах ничего не видно. Дудаки, когда от снежной бури уходят, летят над самой землей, чтобы в тумане направление не потерять, да наверху и ветер еще сильнее. Когда в своем лёте натыкаются на бугры или гребни, то забирают вверх, чтобы высоту перелететь, но так низко, что, кажется, вот-вот заденут гребешки. Дрофы не так как гуси или утки, у которых есть инстинкт ощущения высоты, они летят и в бурю и ночью, не теряя направления. Дрофы и стрепета, если не видят земли и заносит их снегом и бурей в горы, сбиваются со своего пути.

Только закурил и стараюсь запрятать спички подальше, чтобы не промокли, и вдруг справа мутно обрисовался летящий дудак и дальше — еще... Схватил ружье, а уже не видно: стая стороной прошла и я, как всегда, из-за папироски прозевал. И всегда так: ждешь, ждешь — ничего, только закуришь — тут и есть, или что-то пролетит, или зверь пройдет на облаве. Папироса тут-же промокла, я ее выплюнул и пошел на то место, где дудаки пролетели: может, там лучше? Не прошел и двадцати шагов, как из снежной мути показались темные пятна и как раз летят над кустом тальника, от кото-

рого я только что ушел. Хочу бежать туда обратно, и вдруг перед самым носом, шагах в десяти, на высоте человеческого роста из тумана и снега вырастает крылатая масса. Дудак, с перепуга перекосив крылья, забирает вверх и в сторону. Стреляю сгоряча, не целясь, слишком близко и — мажу, и сейчас же вторым выстрелом почти над головой... Дудак падает, глухо ударившись в землю почти у самых ног.

Еще налетели две-три стаи, но я до того промок, и озяб, что больше стрелять не могу. Взял еще одного и иду обратно к Семену. Снег и ветер еще сильнее — настоящая метель; в такую погоду у себя на дворе заблудишься, не то что в степи. Нашел Семена, сидевшего сжавшись под кустом, совсем засыпанного снегом. У него — удачная охота: сбил пять дудаков и раз двадцать стрелял; говорит, что как я ушел, стая за стаей проходили — место хорошее удалось...

Нагрузились, поделив дроф, и пошли к лошадям. Экипаж точно стог сена снегом занесло; бедные лошади продрогли и свесили головы. Укрылись, как могли и поехали домой. Через час — дома. Переоделись и сидим у разогревшейся печки. Хозяйка ужин готовит.

Мы с Семеном выпили по стакану виноградной водки, балыком закусили; водка внутри теплом переливается. На дворе буря, порывами мокрым снегом в окна бьет.

До чего же в теплой комнате хорошо!

П. Штейнгель

ИНДЕЙСКИЕ МОТИВЫ

КАК ХОДЯТ В ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

Долго мы дрались и многих теряли.
Мы уходили прочь;
Десять племен нас окружали,
Шли мы и день и ночь.

Взял наш разведчик тогда — старый воин —
Смесь из походной сумы,
И новой раскраской раскрасил лицо он,
Грудь и руки свои...

И бросились мы на врагов — и погибли...
Я был в бою пощажен
Чтобы поведать вам прошлые были
О битвах великих племен.

Чтоб рассказать о раскраске бессмертных,
С которой в последний путь
Воин идет, распевая о предках —
    Белые щеки,
    Черные руки,
И красная, красная грудь.

КАК Я СТАЛ СТАРИКОМ

Я крепкий был воин — с тринадцати лет
Махал на бизонов, бывало, с отцом.
А сколько я с племенем нашим ходил
В кровавые битвы — не вспомнишь о том.

И прожил я так до седой головы
И добрый десяток вождей схоронил...
Заспорил однажды я с сыном своим,
Не помню о чем мы шумели тогда...

Вскочил он и луком мне так погрозил,
Что будто гроза промелькнула у глаз —
Смолчал я, и голову тихо склонил,
И сыну сказал —

Сильнее отцовской сынóвья рука,
Иди на охоту, настал твой черед —
Теперь ты корми старика...

МОЛОДОЙ ВОИН

Когда я увидел старое дерево
Сраженное бурей в лесу,
Я вспомнил своего отца.

Когда я увидел дикую цаплю
Несущую веточку в клюве,
Я вспомнил свою мать.

Однажды я видел, как горная серна
Быстро скакала по скалам...
Но так далеко от меня, что я понял —
Стрелой мне ее не догнать.

И вспомнил тогда я
Длинноволосую,
Искроглазую,
Тонконогую
Дочку вождя!

Михаил Чехонин

СОЛОВЕЙ

В моей душе лежит сокровище,
И ключ поручен только мне!
А. Блок

Девочка не оглянулась. Она чистила рыбу, отбрасывая чешую и внутренности. Текла вода, промывая рис, насыпанный в бамбуковые корзиночки. Дела было так много и если кому-то неугодно, что она, торопясь, бросила рыбий пузырь под ноги и кто-то поскользнулся — он же не упал! — то можете ее бранить. Она даже не оглянулась.

А человек уже поднимался по крутой деревянной лестнице, придерживаясь обеими руками за стены. Из раскрытых дверей выходил чад печей, сделанных из больших керосиновых банок. Два малыша необычайно толстых в ватных халатах, оттопырив руки, сползали со ступеньки на ступеньку. Они торопились, они очень торопились, ибо края их медных монет были сплюснуты молотком и, брошенная о камень, монета катилась далеко; они хотели выиграть.

На третьем этаже человек остановился. Постучал в стену, назвал себя. Вверху открылась форточка и сквозь драночную решетку глянуло чье-то лицо. Исчезло и вслед за этим заколыхалась стена и, подобная скале во время землетрясения, медленно отошла вбок. Тогда человек вошел в комнату, где можно было различить стол, стул, часы, радио и изображение необычайно сановитого предка, перед которым стояла вазочка с усохшим апельсином, двумя хлебцами и конфетными бумажками. Увы больше нечем было угостить сановитого предка.

Стена задвинулась и пар и чад стали еще нестерпимей. Это не смущало трех почтенных господ, лежавших на широких нарах-кровати, слегка задернутой пологом; пока они еще вели чинную беседу:

— Драгоценное место где?

— Презренная губерния Цзян-су.

— В Шанхае давно?

— Попусту провожу три года.

— В семье все благополучно?

— Опираюсь на ваше благожелательство.

Откланявшись, они оставались тихо лежать, возобновляя по временам свой изысканный разговор:

Ду Ю-шень знал этикет в совершенстве и был весьма церемонным.

Двое других, хоть и с трудом, но торопились вспоминать. Нельзя было допустить неравенства. Все они были равно-почтенны на этой широкой кровати.

— Видом гигант. Необычайно сильный и крикливый. В гневе раздувались крылья ноздрей. Жилы на лбу надувались. Громадные молоты-кулаки сжимались. Способен задушить вола. Нравом необузданный. Все его боялись.

— Он был маленьким тщедушным старичком. Лицо узкое. Легким движением кисти он отдавал приказания. Улыбался и церемонно кланялся. Всегда. Не кричал и не выказывал гнева. Боялись его все.

— Человек полный. Лицо нечистое и желтое. Люди глядели и удивлялись: — это философ? Когда ел гранат — пыхтел. Сок капал на шелковый халат. Вытирал сок горячим грязным полотенцем. Его боялись все. Почему?

Высказав, что читали, не спорили. Они не западные варвары.

Вновь пришедший осторожно уселся на стуле. Ему подали стакан горячей воды. Отпив, не торопясь, он прошелся по комнате и, как бы совершенно случайно, оказался рядом с кроватью. Лежащие потеснились и он прилег четвертым. Всеми движениями, всем своим поведением показывал равнодушие к происходящему. Нельзя было терять лица и торопиться, хотя дрожь нетерпения трясла руки. Ах, как хотелось бы схватить эту коричневую трубку, похожую на флейту. На кончике флейты, сбоку, был приделан жестяной волчек с небольшим отвер-

стием. Стальными спицами на волчек наматывали благоуханную коричневую массу, протыкали и зажигали над маленькой лампой. Он втягивал дым отрывистыми глотками. Три трубки были выкурены, можно было поговорить. А говорилось легко и свободно. Эти ранее незнакомые люди были воспитанными и не перебивали. Они спали, бормоча изредка какие-то слова.

Рассказывал, что жить стало очень трудно. В семье шесть ртов, которые никогда не насыщаются. Отец и мать, такая же старая, он сам, жена и двое детей. Ах, как дети любят есть! Почему? Матери иногда помогают люди, щадящие ее старость, но отец перестал выходить на улицу. Смешно сказать, два дня проведенные вне дома сделали его излишне пугливым. А может быть это стыд? Хотя кто его знает в этом большом городе? Дети еще очень малы, нельзя бросить. Трудно жить, совсем не стоит жить, если бы небо не подарило людям сок плода. Густой, как тесто — как он душист! Кто только первый узнал это наслаждение? Когда они перебирались из северных губерний сюда (как там было хорошо!) они на время остановились в Нанкине. Видел там памятник-могилу Сун-веню. А в больших залах дворцов и храмов висят на белых шелковых полотнах имена знаменитых царей и мужей. Что они все! Они все начисто умерли. Только льстивые потомки лицемерно вспоминают. Что они все!

Так постепенно засыпал. Хозяин привычно осмотрел и оценил спящих. Повернул валик, включил радио-музыку: пусть крепче спят — и стал осторожно ласкать карманы спящих. Нашел несколько закладных квитанций и горько усмехнулся:

«Как глупы люди! Всегда надеются на лучшее. И хлопот больше. Не всякая закладная лавка охотно выдает добычу. Спрашивают имя и дом. Недавно совсем было нехорошо. Пришел получать часы, а владелец стоит и предупреждает приказчиков. Он скорее выскочил. По дороге купил благовонное дерево и пачку свечей. Долго кадил ими перед изображением предка и перед чортом с раздвоенным черепом. Мало ли кто может помочь? Да, тяжело жить в этом городе, где люди

жадны и злы. Они стараются обмануть себе подобных и пребывают изрядное время погруженными в низкие желания и грязные страсти. Возвышенные чувства попраны. Мудрость бежит их. Добродетель забыта. Повсюду низость и зависть. Клевета и доносы. Последний обыск был сделан по доносу и так внезапно, что еле успел вывесить все трубки и опиум за окно на длинном шпагате. А как они искали! Как они искали! Даже вытащили деревцо из горшка. О грязные псы! Мерзкие зайцы, недостойные даже того, чтобы вас пожрали змеи! До этого опиум он прятал, вытаскивая деревцо, но кто об этом знал?! Да, тяжело жить достойному человеку в этом порочном городе!»

Так сокрушаясь и вздыхая, он обшаривал третьего, выворачивая обшлага рукавов, ощупывая носки и снимая туфли. Показалось, что предок с портрета смотрит неодобрительно.

«Мало дал пожрать ему», — подумал он про себя, и высказал вслух, почтительно склоняясь:

— Мой почтенный родитель. Я — гнилая свинья и нечистый раб — недостаточно внимателен к твоему столу. Почтительно прошу извинить. Обещаю, будешь доволен.

«Если найду у этих прощалыг что-нибудь, кроме закладных...», подумал он.

Ничего! Можно ли быть более нагло обманутым! Правда, остался еще четвертый проходимец, но как будто бы он не совсем заснул. Шевелит губами в такт колотушкам, гремящим из радио-горла и что-то мычит.

А четвертый проходимец блаженно улыбался. Тонкая фистула радио-скрипки скользила в туманном воздухе. Ему казалось, что звук схож с бабочкой и порхает очень близко. Было грустно и жалобно. По невидимой паутине скользил прохладный луч. Почудилось, что стоит на льду среди зеркал. Пустота разросталась. Он становился безмерно, безмерно, одиноким, несмотря на множество подобных ему существ, окружавших его. Хотелось страдать. В эту минуту он обостренно чувствовал красоту мира и свое ничтожество. Низменность существования угнетала. А музыка была поистине волшебной.

Зеркала́ отодвигались. От груди, переполненной любовью все равно к кому, отлетали выпуклые рыдания. И с любопытством новорожденного он разглядывал незнакомо-красивое лицо, наклонившееся над ним и остро чувствовал ласки чужих рук.

Но обласкать четвертого проходимца так и не удалось. Под напором чужих плечей, досчатая стена-дверь, давно уже не чувствовавшая призвания к своему высокому назначению, несмотря на новый крючок, украденный в соседней лавке — треснула и в проломину вошел чужестранный мир. Дикое племя варваров, которому чуждо все святое, которое недостойно черного хорошего гроба — грубо тормошило гостей. Успел только подумать, что не тому черту ставил душистые палочки. Дали слегка по шее и повели вместе с теми четырьмя. Девочка оглянулась. Рис был промыт и рыба вычищена.

А четвертый, одурманенный, как весенний соловей, пел и стонал, и при допросе улыбался.

— Как скользит бабочка по шелковинке — вы знаете? И птицы поют на рассвете на ветках ивы? Зимой на севере холодно. Лисица превращается в человека. Топит печь. Греется. Хризантемы надо ставить в комнату и корни заворачивать в мешки. Холодно. Но разве вы знаете как падает снег? Увядаю, увядаю, увядаю. И зачем я здесь?

Соловей пел и стонал, пел и стонал. Его все же посадили в клетку на два долгих года. Теперь, говорят, он печально бродит около тайных притонов (роскошное слово!) в надежде когда-нибудь выкурить настоящий товар, а не этот брак, от которого тяжело болит грудь и впали глаза. Два раза он встретил своего старого приятеля. У того шелковый синий халат и тридцать подручных. Жжет он душистые свечи надлежащему идолу.

Дети еще очень малы. Где они теперь? Где отец и старая мать? Тяжко болит грудь и впали глаза. Мимо идут люди. Сосредоточенно смотрят нет ли где камня... бросить...

П. Лапикен

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

***

Тебя, как в засуху — ненастья,
Как Бога, сшедшего с небес,
Который умер и воскрес,
Как чудотворного причастья
Я ждал, но ты не отзывалась.
Увы, всё кончено теперь:
В мою незапертую дверь
Другая гостья постучалась.
О, пусть она пришла до срока —
Неотвратим, не всё ль равно.
Мое высокое окно
Еще горит в ночи глубокой.
Еще в нем свет. Но скоро, скоро
Оно потухнет навсегда,
Как безымянная звезда
Для человеческого взора.

***

Когда бесславные потомки
Найдут на дне моей котомки
Средь всякой мелочи пустой
Волшебный перстень золотой, —
Тогда начнется всё сначала
И сила та, что мной играла,
Но не сумела овладеть
Заставит их плясать и петь
И будут вздрагивать их плечи
И повторятся вновь и вновь
Мои двусмысленные речи
Про невозможную любовь.

В. Злобин

ЛЬДИНА

Дома становились выше,
А улица — все длинней.
Как промельк летучей мыши,
Я косо скользил по ней.

Казалось, что я задену
Стену моим крылом,
Казалось — я врежусь в стену
Где-нибудь за углом,

Казалось — вот-вот настигнут
Каменные валы,
Но, удлиненно-выгнут,
Я обтекал углы.

Кидая на стены криво
Живые куски теней,
Шарахаясь, как от взрыва,
От вспыхивающих огней,

Я двигался под обстрелом
Витрин, фонарей, реклам,
То залит сияньем белым,
То с розовым пополам.

Как будто за мною гнались
Снопы цветовых лучей
И шел спектральный анализ
Город, твоих ночей!

Мимо авто промчалось,
Шарили прожектора...
Над головой качалось
Созвездие топора.

Вдруг раскаленный кратер
Улиц ночных померк:
Невидимый декоратор
Выключил фейерверк.

Как будто бы все живое
Сразу ушло с земли
В тот миг, когда эти двое
На перекресток вошли.

Гасли тысячи свечек.
В город вошли, как в морг,
Мистер Смит — контрразведчик,
Товарищ Петров — парторг.

На всех перекрестках мира
Стоят они по ночам,
На всех перекрестках мира
Прислушиваются к речам,

На всех перекрестках мира
Готовят переворот,
На всех перекрестках мира
Радио их орет,

На всех перекрестках мира
Гуляет их солдатня,
На всех перекрестках мира
Они убивают меня.

А в Антарктике
Среди льдин

ЛЬДИНА

В белом фартуке
Жил пингвин.

У поэта и у пингвина
В мире должна быть льдина.

Льдина — оплот
Льдина — приют.
Льдина плывет,
Волны ревут.

Ветер и холодина,
А у меня есть льдина!

Ветер таранящий,
Ранящий, режущий...
Льдина — пристанище,
Льдина — прибежище.

И никаких соседей,
Кроме больших медведей!

Волны накинутся
Ревом когорт —
Льдина — гостиница,
Льдина — курорт!

Море — а в середине —
Я и пингвин на льдине.

Льдина — качалка
Средь тысячи льдин,
Где вперевалку
Ходит пингвин.

Ходит себе господином
И улыбается льдинам.

Как на духу —
Сердце в грозу.
Небо вверху,
Море внизу...

Небо — стекло,
Море — тайник.
Птице — крыло,
Рыбе — плавник.

А у пингвина
Баловника
Две крыловины,
Два плавника,

А у поэта,
А у богемы,
Только примета —
Крылатые темы!

Где ж нам ютиться,
Деться куда еще?
Оба мы — птицы
Из нелетающих!

Оба мы — птицы
Из неуклюжих...
Солнце нам снится,
Горящее в лужах,

Ночи нам снятся
На льдине соленой,
Звездные святцы,
Стрельцы, Орионы,

Звездная азбука
В книге воды,

Грозного айсберга
Синие льды...

Слушайте, сильные мира сего!
Только и просим мы — льдину всего!

Льдину — скитаться в просторах зеленых,
Льдину — без Наций Объединенных,

Льдину, что кружит, хрустально горя,
Без генерального секретаря,

Льдину, что затемно блещет алмазом,
Льдину, ненужную атомным базам,

Льдину, подальше от лодок подводных,
Льдину подальше от сходок народных,

Льдину без компаса и без маршрута
Льдину, что встала над пропастью круто,

Льдину, что в пропасть плывет без возврата,
Льдину без пропуска и без мандата,

Без конституций и без династий,
Льдину из тех, что несутся на счастье

Там, где лазоревый дым в океане,
В месте, которого нету на плане,

Льдину без кодекса, льдину без статуса,
Льдину для тех, кому хочется спрятаться,

Льдину, что в море плывет анонимно,
Льдину без флага, льдину без гимна,

Льдину из тех, что удало несется,
Без генерала и без полководца,

Без мавзолея и без капитолия,
Льдину, которой милее приволье,

Льдину, куда не опустится летчик,
Льдину мечтателей и одиночек!

Волны раздвинув, плыви без запретов —
Льдина пингвинов, льдина поэтов!

Весь океан, убеленный сединами,
Слева и справа вздымается льдинами...

Я и пингвин — мы выходим на форум,
Мы дирижируем миром, как хором,

Слышим, как волны, высоки и скользки,
Шепчутся между собою по-польски!

Двигаясь медленно в брызгах и пене,
Ставим большие закаты на сцене!

Сколько увидим мы драм и трагедий
Из удивительной жизни медведей!

Рыбу и крабов к обеду надергав,
Мы хорошо проживем без парторгов!

Прямо на нас через водные хляби
Ляжет луны алюминевый кабель,

Нас повстречает звезда поцелуем
Там, где к полуночи мы пришвартуем,

Там, где за тьмою стоит наше завтра,
Как одинокий корабль космонавта.

Иван Елагин

TABLE TALK

II*

Андрэ Жид.

В Ницце, в годы войны. Я сидел в кафэ и что-то писал. Невдалеке грузный, осанистый старик перелистывал толстую французскую справочную книгу, «Ле Боттен», — и не знаю как, уронил ее на пол, опрокинув и стоявший перед ним стакан. Я поднял голову и узнал Андрэ Жида. Знаком я с ним не был. Но в своем «Дневнике» он одобрительно отозвался о коротком докладе, прочитанном мной за несколько лет до того — и я решил к нему подойти, тем более что ему повидимому трудно было поднять упавшую книгу.

— Мсье Андрэ Жид?

— Да, Жид... а что дальше? (непереводимое французское «Et après»?).

Вид был хмурый, голос сердитый, почти вызывающий. Позднее он мне объяснил, что к нему довольно часто подходят люди, знающие его лишь с виду и что он неизменно их «отшивает».

Я назвал себя, поблагодарил за отзыв, он протянул руку, сделался очень любезен. Мы условились встретиться в том же кафэ на следующий день.

Давно уже мне хотелось задать Жиду несколько вопросов, — частью о русской литературе, главным образом о Достоевском, частью о его собственных книгах. Он представлялся мне одним из редких во французской литературе «всепонимающих» людей, т. е. людей с умом вполне открытым, а от Шестова я слышал, что это едва ли не самый умный человек, какого он вообще встречал.

Разговор с Андрэ Жидом с глазу на глаз я, можно сказать, «предвкушал». Но настоящего разговора не вышло. Началось с Достоевского. Мне показалось, что Жид связывает с ним свою литературную репутацию, именно на него сделав ставку,

---

* Часть I см. кн. 64 «Нов. Журн.» РЕД.

и воспринимает малейшее критическое замечание о «Карамазовых» или «Бесах», как личную обиду. Предположение: не догадывался ли он тогда, не чувствовал ли, через двадцать с лишним лет после знаменитых своих лекций о Достоевском в театре «Вье Коломбье», что кое в чем всё-таки ошибся, кое-что просмотрел, и как в таких случаях бывает, не старался ли сам себя переубедить? Ничего невозможного в этом нет.

После Достоевского речь зашла о Маяковском, об Эренбурге, затем довольно неожиданно о Мережковском, которого Жид не любил и упорно называл Мерейковским, очевидно считая, что французское «жи» в этом имени соответствует русскому «и — краткому». Потом он заговорил о советской России, о каких-то катакомбах, которые должны там возникнуть, о бессмертном русском духе, который будто бы в эти катакомбы уйдет до лучших времен... Было это довольно выспренне, чуть-чуть театрально.

Я слушал и мне хотелось его спросить:

— Как может случиться, что вы, Андрэ Жид, первый писатель первой в мире литературы, говорите мне, двадцать третьему или сорок девятому писателю литературы, которая во всяком случае на первое место в мире права не имеет, как может случиться и чем объяснить, что вы говорите мне вещи, заставляющие меня с трудом сдерживать улыбку?

Конечно, я этого не спросил, да в такой форме и нельзя было бы спросить это. Личные мои чувства значения не имеют. Но вопрос сам по себе интересен и даже важен, и так или иначе в беседе с Андрэ Жидом поднять его можно было бы.

Без постылого российского зазнайства, без патриотического самоупоения, ответ, думаю, свелся бы к тому, что если не во всем, нет, не во всем, то в одной какой-то плоскости, в смысле чутья ко всякой «педали», к чистоте звука, — и в конце концов, значит, к правде и лжи, — русская литература действительно первая в мире, и тот, кто с ней связан, частицей этого дара наделен.

Во всяком случае **была** первой в мире. Не уверен, что можно было бы без натяжки сказать «была и осталась до сих пор».

Той же зимой я встретился с Андрэ Жидом у Буниных в Грассе.

За столом, пока завтракали, разговор шел о последних военных известиях, о положении во Франции, о Гитлере,о котором Жид сказал, что по его мнению он «крупнее Наполеона».

После завтрака заговорили наконец о литературе. Хозяин и гость явно нравились друг другу, хотя мало имели общего: Бунин — словоохотливый, шумный, насмешливый. Жид — сдержанный, вежливо улыбавшийся бунинским шуткам, но отвечавший на них, как на замечания серьезные. По-французски Бунин говорил плохо, Жид по-русски — ни слова.

Толстой и Достоевский: рано или поздно разговор должен был их коснуться, и так оно и произошло. Бунин знал о преклонении Жида перед Достоевским и принялся его поддразнивать. Тот отвечал коротко, уклончиво, неожиданно переняв бунинский шутливый тон, — вероятно для оправдания своей уклончивости. Бунин произнес имя Толстого, как бы для окончательного уничтожения и посрамления Достоевского. Жид пожал плечами, развел руками, несколько раз повторил «гений, да, великий гений...», — но признался, что для него «Война и мир» — книга чудовищно скучная («un monstre d'ennui»).

— Что? Что он сказал? — громко переспросил Бунин по-русски, и схватив огромный разрезной нож, с нарочито зверским видом замахнулся им, будто собираясь Жида убить.

Жид рассмеялся и долго, долго весь трясся от смеха. Потом заметил:

— Я сказал то, что думаю действительно. В печати я, конечно, выразился бы иначе, не так откровенно. Но над «Войной и миром» я засыпаю... А вот, позднего Толстого очень люблю. «Смерть Ивана Ильича», «Воскресение» — это незабываемо, это удивительно!

Не помню, как и в связи с чем, я процитировал фразу из одной статьи Клоделя: «Это было в те годы, когда Толстого и Ибсена считали большими писателями...»

Жид пришел в полнейший восторг, опять весь затрясся от смеха, и даже хотел записать цитату, приговаривая:

— О ла-ла, о ла-ла!.. Он один способен сказать подобный вздор, в этой области у него соперников нет.

Под вечер мы спускались с бунинского холма к автобусу. Речь зашла о французской печати, подлаживавшейся к оккупационным властям, и я выразил удивление, что такой человек, как Франсуа Мориак печатается в «Кандиде», еженедельной газете сверх-петеновского склада.

Жид сказал:

— Да ведь ему платят сто тысяч франков за каждую главу романа. А сто тысяч это сто тысяч!

Толстой и Достоевский.

Вечная русская тема, да и только ли русская? Не два романиста, а два мира, два отношения к бытию, при общей у обоих глубине и значительности этого отношения. Оттого спор и неразрешим, оттого он в самой сущности своей неисчерпаем.

Когда Андрэ Мальро пишет:

«Толстой в изображении заурядного чиновника перед лицом смерти не менее велик, чем Достоевский в речах Великого Инквизитора...»

— за этим его «не менее» чувствуются дни и годы к себе, к своему творчеству относящегося раздумья.

Джемс Джойс назвал «величайшим из всех когда-либо написанных рассказов» — «the greatest story ever written» — толстовское «Много ли человеку земли нужно» (в письме к дочери, незадолго до смерти).

Едва ли Бунин эту оценку знал, но вероятно с Джойсом согласился бы, так как считал толстовские народные рассказы самыми совершенными, что русская литература дала. Он называл их «несравненными», говорил о них с особым восхищением, порой даже со скрытой завистью, вообще то ему не свойственной.

Но меня лично выбор Джойса несколько удивляет: я назвал бы «Где любовь, там и Бог», — хотя «величайшего» рассказа вообще на свете не существует и никакой табели о рангах в литературе или в искусстве нет.

Перечитываю — в который раз! — Достоевского.

И в который раз с удивлением вспоминаю, что находятся люди, требующие единого твердого взгляда на великие литературные явления: люди, не допускающие противоречия в суждениях, подхода с разных сторон, спора с самим собой, в конце концов — беседы с самим собой.

Перечитываю Достоевского... Да, есть какая то шаткость в замыслах, многие из которых правильнее было бы назвать домыслами. Нередко есть фальшь, как бывает во всем, что выдумано, а не найдено. «Высшая реальность» Достоевского порой перестает быть реальностью вовсе, в любом значении слова, и как бы ни захлебывались от метафизического восторга современные властители и вице-властители дум, от нее едва ли многое уцелеет. Мучительные усилия договориться до чего-то еще неслыханного, произвольные догадки — и удар головой о крышку, плотно над всеми нами завинченную. Да, это так.

Но все-таки Достоевский — писатель в своем роде единственный, заменить, «перечеркнуть» которого никаким другим писателем в мире нельзя. Однако не в плоскости «проблем».

О человеке, которому «пойти некуда», обо всем, до чего истерзанное человеческое сердце может дочувствоваться, о стыде, отчаянии, боли, возмущении, раскаянии, об одиночестве не писал так никто, и никогда не напишет. Перечитываю главу из «Подростка», ту, где мать с пряниками и двугривенными в узелочке приходит в французский пансион к своему болвану-сыну: нет, это все-таки страницы единственные, навеки веков, — и да простит милосердный Бог Бунина и Алданова за всё, что оба они о Достоевском наговорили, да простит Набокова за «нашего отечественного Пинкертона с мистическим гарниром» (цитирую из «Отчаяния» по памяти, но кажется верно) и всех, кто в этом страшном свидетельстве о человеке и человеческой участи в мире ничего не уловил и не понял!

Было это в Париже, незадолго до войны.

В дверях монпарнасского «Дома» стоял, держась за косяк, поэт Верге или Вернье: не помню точно его имени, знаю только, что друзья считали его чрезвычайно талантливым, хотя и погибшим из-за беспутного образа жизни. Хозяин ругательски ругал его и выталкивал из кафэ, а он упирался, сердился, требовал, чтобы его впустили обратно.

Наконец его вышвырнули на улицу. Случайно я вышел вслед за ним.

Он стоял под дождем, без шляпы, в изодранном пальто, и опустив седую голову, еле слышно, совсем слабым голосом повторял:

— O, Dostoevsky... o, Dostoevsky... — взывая к Федору Михайловичу, как к последнему оставшемуся у него защитнику, покровителю униженных и оскорбленных.

На ту же тему: английский поэт Оден (Auden) очень хорошо сказал о Достоевском в статье, написанной к его юбилею, несколько лет тому назад:

«Построить человеческое общество на всем, о чем Достоевский рассказал, невозможно. Но общество, которое забудет то, о чем он рассказал, не достойно называться человеческим».

У Бунина был очень острый ум, лишенный однако всего, что можно бы отнести к способностям аналитическим. Ошибался он в оценках редко, — в особенности когда речь шла о прошлом, — но объяснить, обосновать свое суждение не мог. (Гумилев в «Цехе» при обсуждении стихов требовал «придаточных предложений», не допуская восклицаний ничем не мотивированных: в «придаточных предложениях» Бунин терялся и вероятно оттого не был к ним склонен).

Однажды он говорил о «Двенадцати» еще резче, чем обычно. Спорить я не стал, но отстаивая Блока, сказал, что «Куликово поле» по-моему — цикл чудесный.

Бунин усмехнулся.

— «Куликово поле»? Да ведь это же Васнецов!

Я был поражен меткостью сравнения: будто луч прожектора, внезапно наведенный на то, что оставалось в тени. Да, Васнецов, и значит чуть-чуть опера. И хотя этого Васнецова, т. е. «Куликово поле», горестную и величавую музыку его, я продолжаю любить, все же чувствую и правоту Бунина.

У него в поэзии было почти непогрешимое чутье к стилю — при глухоте к музыке. Сказалось это и на его собственных стихах, музыкой бедных.

В полутемном корридоре редакции «Последних Новостей» Михаил Андреевич Осоргин держал меня за пуговицу пиджака и поблескивая умными, добрыми, насмешливыми глазами, говорил:

— Послушайте, какой же Некрасов поэт? Скажите хоть раз в жизни правду... мы здесь одни, никто не услышит, а я никому не передам, даю слово... ну, какой же Некрасов поэт? Не оригинальничайте, бросьте, скажите правду... ведь не поэт, а виршеплет, а?

В ответ я говорил «правду». Но напрасно: Осоргин не верил. Кстати, вспоминаю, что в самом начале двадцатых годов Корней Ив. Чуковский провел среди петербургских литераторов анкету: любите вы Некрасова или нет? Поэты, без единого исключения, ответили утвердительно. Ахматова, помню, ответила одним словом: «люблю». Однако Максим Горький высказался иначе: несомненно талантливый человек, выдающийся демократический деятель, но не поэт.

«Своя своих не познаша». С Осоргиным, писателем-общественником произошло то же самое.

Самое верное и глубокое, что вообще было сказано о Некрасове, сказано Достоевским, сразу после его смерти, в «Дневнике писателя».

«Страстный к страданию человек». Удивительно, что Достоевский, при всем том, что должно было от либерала и вольнодумца Некрасова его отталкивать, уловил скрытую, безотчетную религиозность его поэзии.

Было в России два подлинно религиозных поэта — Лермонтов и Некрасов. Но Лермонтов это — метафизика христианства, темное, ночное небо христианства, а Некрасов — мораль христианства, в тональности «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя». У одного только Некрасова, ни у кого больше, нестерпимая рифма «любовь-кровь» звучит, как нечто незаменимое.

«Сердце мое, исходящее кровью,
Всевыносящей любовью
Полно, друг мой»

Были разнообразные сделки с совестью, были картишки, было и кое-что другое, менее благовидное, но сердце действительно «исходило кровью», — и этого — нельзя не расслышать.

Гумилев, обостренно чувствительный к самой ткани стиха, восхищался у Некрасова органичностью его мастерства, проявляющейся в любом сочетании слов:

Генерал Федор Карлыч фон-Штубе,
Десятипудовой генерал
Скушал четверть телятины в клубе,
Крикнул пас! — и со стула не встал.

— До чего хорошо! — повторял он, будто испытывая какое-то чувственное удовольствие от этих крепких, «на диво слаженных», — как «возок» княгини Трубецкой — строчек.

Ницца — и Алданов.

Ночью, в русском ресторане. У стойки — женщина, довольно потрепанная, но, как говорится, «со следами былой красоты на лице», и даже былой элегантности, ведет с полусон-

ным, усталым хозяином разговор о музыке. Водка, соленые огурчики.

— Кого я особенно люблю, так это Россини! Россини это мое безумие! У него в «Риголетто» есть одна ария... помните, ла-ла-ла-ла...

Вполголоса, с места, я сказал:

— «Риголетто» не Россини, а Верди.

Женщина обернулась и «смерила меня глазами».

— Простите, господин Алданов... Я — лауреатка киевской консерватории и музыку знаю.

— Допустим, что есть два «Риголетто», как было два «Юрия Милославских»... Но во всяком случае я — не Алданов.

— Как же вы — не Алданов, когда я вас прекрасно знаю? Напрасно отпираетесь!

— Ну, делать нечего... Значит, я — Алданов.

— Да, вы — господин Алданов... Удивительная эмигрантская привычка скрывать свои имена!

На следующий день я, смеясь, рассказал об этом инциденте Марку Александровичу. Неожиданно для меня он взволновался.

— Надо бы это разъяснить... Мне не хотелось бы так это оставить. Вы не знаете, кто эта дама?

Он был смущен не самым смешением имен. Нет, ему повидимому было неприятно другое: мог разнестись слух, что Алданов ночью, за рюмкой водки, вступает в спор с незнакомыми, подвыпившими женщинами.

В Ницце доживал свой век писатель, далеко не бездарный — Дмитрий Николаевич Крачковский.

Когда-то о нем с надеждой и одобрением отзывался Сологуб, а вслед за ним и Мих. Кузмин, человек с очень острым критическим чутьем. Но с годами Крачковский исписался, выдохся и опустился. Жил он впроголодь, был болен, до крайности нервен, страдал высокомерием, — и когда Бунину дали нобелевскую премию, настойчиво повторял:

— Да, да... пошлость торжествует, настоящая литература — в тени. Не удивляюсь. Так было, так будет!

Алданов с ним не то, что бы дружил, — дружить с Крачковским было невозможно, — но при своей несравненной обхо-

дительности, вежливости, деликатности поддерживал с ним добрые отношения и был к нему всегда внимателен.

Но Крачковский требовал иного. Крачковский считал, что его недооценивают, подозревал, что им тяготятся, и видел доказательство этого во всем.

Однажды, встретив меня на улице, он с кривой усмешкой сказал:

— Был я вчера у Алданова. Да, да, навестил, так сказать, приятеля... Представьте себе, он меня встречает и спрашивает «Чем разрешите вас потчивать?» Так именно и сказал: «потчивать»! Этого я ему не забуду.

— Позвольте, Дмитрий Николаевич, а что же тут обидного?

— Нет, ничего обидного, ничего... Но этого я ему не забуду. «Потт...ччивать!»

Бедный Марк Александрович опять оказался взволнован, когда об этом разговоре узнал. Но помочь ему я тут не мог и так никогда и не понял, что Крачковского задело. «Потт...ччивать!»

— «Нет, нет, ничего обидного»... — Но голос дрожал от ярости.

Алданов любил разговоры исторические. Не об исторических процессах, не о состоянии русского внутреннего рынка в восемнадцатом веке или о чем-нибудь в таком роде, а о людях. У него была отличная память, с цитатами и фактами он обращался очень осмотрительно.

Однажды зашел разговор о екатерининских фаворитах. Платон Зубов, — вспомнил я, — уже в конце александровского царствования признавался, что когда он ночью шел к старухе-Екатерине, у него заранее «ногти тряслись от отвращения».

Где я это прочел? Не помню. Но такую «черточку», такой яркий «штрих» я наверно не выдумал: нет, где-то прочел. Сначала я думал, что об этом говорила Жеребцова, сестра Зубова, Герцену; но в «Былом и думах», где о встречах с Ольгой Александровной рассказано, этих слов нет. Второе предположение — Покровский, развенчанный марксистский историк, который после всяческих товарообменов и таблиц с цифрами нередко пишет: «не к чему приводить такие пустяки, как...» — и сам того не замечая «пустяками» увлекается. Но

и у Покровского, давшего любопытнейший портрет Зубова, тоже слов этих нет.

Кто, какой зубовский «конфидент» их приводит? Алданов раз десять меня об этом спрашивал, просил отыскать цитату, не решаясь использовать ее без точной справки.

Но до сих пор я ее не нашел. Не поможет ли кто-нибудь из читателей, — хотя в сущности цитата эта уже никому теперь не нужна.

Бунин:

— Странные вещи попадаются в Библии, ей Богу! «Не пожелай жены ближнего твоего, ни вола его, ни осла его...» Ну, жену ближнего своего я иногда желал, скрывать не стану. И даже не раз желал. Но осла или вола... нет, этого со мной не бывало!

В парижском кружке русской молодежи.

После доклада подходит ко мне очень бойкая и очень хорошенькая барышня, «ответственный руководитель» секции не то литературной, не то какой-то другой.

— Вы непременно, непременно должны бывать у нас почаще! У нас с вами такие будут споры, что ой-ой-ой... Вот вы например, считаете Толстого гениальным романистом, а по-моему он просто хороший бытовой писатель, только и всего. Видите как интересно? Вы восхищаетесь Пушкиным, а по-моему Блок куда выше, как же можно сравнивать. Видите, как интересно? Вы говорили о каком-то Боратынском, а я даже и не читала его... нет, что-то начала читать, да сразу бросила, тощища патентованная. Видите как интересно? Нет, вы непременно, непременно должны бывать у нас, обещаете?

— Как же, неперменно. В самом деле, необычайно интересно.

Блока я знал мало.

Относился я к нему приблизительно так же, как когда-то Эдуард Род, забытый, но довольно замечательный швейцарский романист, к Толстому: с уважением, с преклонением почти суеверным. Эдуард Род всю жизнь мечтал о поездке в Ясную Поляну, но так желания своего и не исполнил. «С чем я поеду, что я ему, Толстому, скажу?» — заранее смущался

он, откладывая поездку из года в год. Думая о знакомстве с Блоком, я тоже спрашивал себя: что я ему скажу?

Впервые увидел я его в Тенишевском полукруглом зале, на вечере памяти Владимира Соловьева, — десятилетие со дня смерти? — будучи еще гимназистом. «Ночных часов» тогда еще не было, но была волшебная, — по крайней мере казавшаяся мне волшебной, — «Земля в снегу».

О, весна без конца и без края,
Без конца и без края мечта...

Стихами Блока я бредил, сходил от них с ума. Кому не было шестнадцать или восемнадцать лет в пору блоковского расцвета, тот этого не поймет, и даже пожалуй с недоумением пожмет плечами. Конечно, от Блока многое уцелело, осталось в русской поэзии навсегда. Но дух эпохи выветрился, обертона ее, особые ее веяния, ее трепет и надежды — это теперь неуловимо. А Блок был сердцем и сущностью эпохи, и теперь стихи его уже не те, какими были когда-то. Это случается в истории искусства. Счастлив тот, кто был молод, когда появился вагнеровский «Тристан».

Потом были редкие, случайные встречи. Помню, во «Всемирной литературе» Блок, после долгих проб и попыток, отказался переводить Бодлера, заявив, что «окончательно не любит его». Меня это озадачило и смутило. Помню эпизод с переводами Гейне.

Блок, эти переводы редактировавший, колебался, следует ли наново перевести «Два гренадера». Гумилев вызвался предложить ему на выбор с десяток переводов знаменитой баллады и просил друзей и учеников этим заняться. Мы трудились целую неделю и некоторые переводы оказались совсем недурны. Но Блок отверг их — и оставил старый перевод Михайлова.

«Горит моя старая рана...» — задумчиво, нараспев произнес он михайловскую строку, будто в укор всем нам, в том числе и Гумилеву.

У меня было письмо Блока, одно, единственное, увы, оставшееся в России, — письмо в ответ на первый, совсем маленький сборник стихов, который я ему послал. Насколько можно было по письму судить, стихи ему не понравились, — да и могло ли быть иначе? За исключением трех или четырех строчек не нравились они и мне самому. Зачем я постарался их издать? Для глупого молодого удовольствия иметь «свой» сбор-

ник стихов — «как у других», о, поручик Берг! — и делать авторские надписи.

Письмо Блока по содержанию своему польстить мне никак не могло. Но сдержанно-отрицательную оценку искупил тон его, дружественный, вернее — наставительно дружественный, от старшего к младшему, проникнутый той особой, неподдельной человечностью, которая сквозит в каждом блоковском слове.

Последние строчки письма помню наизусть, хотя прошло с тех пор чуть ли не полвека: «Раскачнитесь выше на качелях жизни и тогда вы увидите, что жизнь еще темнее и страшнее, чем кажется вам теперь».

У Бердяева, в его кламарском доме. Обсуждение книги Кёстлера «Тьма в полдень». В прениях кто-то заметил, что любопытно было-бы, — будь это возможно! — пригласить на такое собрание Сталина, послушать, что он скажет.

Бердяев расхохотался:

— Сталина? Да Сталин прежде всего не понял бы, о чем речь. Я ведь встречался с ним, разговаривал. Он был практически умен, хитер, как лиса, но и туп, как баран. Это бывает, я и других таких же людей знал. Ленин, тот понял бы всё с полуслова, но не стал бы слушать, а выругался бы и послал всех нас... сами знаете куда.

По утверждению Бердяева основным побуждением Ленина была ненависть к былому русскому политическому строю и стремление к его разрушению. Что дальше, к чему все в конце концов придет? — об этом Ленин будто бы никогда не думал, хотя безразличие к будущему скрывал. Действительно ли коммунизм даст людям удовлетворение и благополучие? Ищет ли человек равенства, хочет ли он его? Не потребует ли насильственное установление равенства постоянного контроля, непрерывного полицейски-государственного надзора? Не был ли прав Герцен, предвидевший в далеком будущем неизбежность новой, уже индивидуалистической революции? Ленина, как утверждал Бердяев, все это нисколько не интересовало.

— Ленин оттого и добился своей цели, — говорил он, — что признавал только цель ближайшую, а всякое мышление к ней не ведущее, или тем более осуществление ее задерживающее, презирал, как занятие пустое и вредное.

Как я видел Иннокентия Анненского.

В петербургские классические гимназии довольно часто приезжали для наблюдения лица начальственные: попечитель округа, окружные инспектора. Никого из них я, конечно, не помню.

Но Анненского помню, будто видел его вчера, и при склонности к объяснениям таинственным, мистическим должен был бы счесть это предначертанием свыше. Более правдоподобно однако объяснение другое: детское мое воображение поразила странность, диковинность его облика и именно она помешала смешать его с другими важными чиновниками, к нам заглядывавшими.

Был я в пятом или шестом классе. В середине латинского урока в класс вошел высокий, пожилой человек в форменном сюртуке со звездой и молча пожав руку нашему учителю, бросившемуся ему навстречу, молча, откинув голову, сел на стул, рядом с кафедрой. Урок продолжался. Посетитель сидел, закрыв глаза, не шевелясь, будто окаменевший. «Аршин проглотил», шепнул кто-то с задней парты. Действительно «аршин проглотил»: живая иллюстрация к этому выражению.

Так прошло минут двадцать, может быть больше. Внезапно окружной инспектор вздрогнул, открыл глаза, встал и снова пожав руку учителю, не без аффектации заметил, что у того «превосходный метод» и что он испытал «истинное удовольствие», слушая наши переводы из Цезаря. Когда он скрылся за дверью наш латинист, Петр Петрович Соколов, сообщил, что это был Анненский, «знаменитый оратор». Почему он назвал его именно оратором, не знаю.

Вскоре после этого Анненский умер. В некрологе, помещенном в «Журнале Министерства Народного Просвещения» было указано, что «покойный посвящал свои досуги изящной словесности». А года через два-три вышел «Кипарисовый ларец» и тогда стало ясно, какое значение для русской поэзии имели эти «досуги».

Впрочем догадаться об этом можно было бы и раньше, по «Тихим песням», вышедшим в начале столетия под псевдонимом Ник. Т-о. Но этот Ник. Т-о и его сборник, в котором несомненный диллетантизм причудливо сочетался с изощреннейшим, никому из современников и не снившимся мастерством, почти никто и не заметил.

Рецензии, правда, были. Брюсов со стереотипным высокомерием признанного мэтра рекомендовал поэту «поработать над собой». Блок подчеркнул «хрупкую тонкость», «настоящее поэтическое чутье» автора, но из ряда других книжек, о которых писал, все же собрника этого не выделил.

А в «Тихих песнях» было в зародыше все неповторимое своеобразие Анненского, все «скрипы и шорохи» его поэзии.

Георгий Адамович

КЛЮЧИ К НАСТОЯЩЕМУ

Символизм не есть аспект действительности. Он сам есть реальность.

Кассирер

1

В человеческой личности нет ни одной, хотя бы и самой малой, черты, которая бы не была связана со всеми другими и со всей цельностью человека. Каждое слово, движение, решение, каприз вкуса или маскировка — говорят обо всем человеке в его «тотальности». Выбор слова в стихотворении поэтом не только связан со всей поэмой, но и связан с тотальной личностью самого поэта. Уменьшительное, ласкательное, уничижительное имя существительное (домик, рученка, людишки) говорит не только о том, что́ оно определяет, но и о том, кто это определение нам дал, и об отношении к данному предмету того, кто его произнес. Человек — хочет он этого или не хочет — раскрывает себя во всем и в каждое мгновение своей жизни, но особенно это относится к поэтам. Каждая метафора, каждый символ нам дает не только знание того, что было «объективным коррелятом» (первосмыслом) поэта, но и знание о самом поэте. «Дева — заря», сказал Блок. И в результате в мозгу у нас остается образ самого Блока, сказавшего о деве, как о заре, о любимой женщине, как о встающем солнце, о Л. Д. Менделеевой, как о рассвете.

Это — одно из значений, которое символ несет с собой в наше сознание. Но как именно входит он в него? Есть ли наше восприятие инстинктивное действие? или рефлективное действие? или это условный символизирующий рефлекс?

Среди десятка авторов, затронувших этот вопрос (в англо-американской критике), большинство склоняется к тому, что в случае давно знакомого, объективно-бесспорного символа, в мозгу читателя (или слушателя) происходит условный символизирующий рефлекс. Про такие символы, как крест — христианство, прибавочная стоимость — эксплоатация рабочего класса, утро — детство человека и т. д., А. Н.

Уайтхэд говорит, что условный рефлекс несомненен. Другой автор, И. А. Ричардс, также уверен в этом. Т. С. Элиот не раз высказывался в том же смысле. Есть, таким образом, символы, которые автоматически воспринимаются нами, а с ними вместе и тот вторичный смысл, который они с собой несут: образ человека, ими пользующегося. В «Анне Карениной» догоревшая свеча накануне самоубийства Анны говорит нам столько же об Анне, сколько и о Толстом.

Было время, в XII-XIII вв., когда первые символы на Руси не могли рассчитывать ни на интуицию, ни на рефлексы. Они подавались, так сказать, вместе с их расшифровкой:

весна — христианская вера,
ветры — греховные помыслы,
агнцы — кроткие люди из язычников,
тельцы — кумирослужители неверных стран.

(Цитирует Г. Винокур. «Избранные работы по русскому языку»).

Но вернемся к догоревшей свече Толстого, или к мысли, текущей как река, Чернышевского, или к сну (смерти) Пушкина, или к грозе (сильным чувствам) Горького. Если здесь налицо условный рефлекс, то почему на основании его до сих пор не возник, параллельно социалистическому реализму, **социалистический символизм?** Учение Павлова облегчило бы его диалектику партийному руководству. И можно было бы выпустить (как выпускают облигации госзайма) первый десяток испытанных, общепонятных символов, основанных на принципе «звонок-слюна», которые бы освежили и украсили советскую словесность, облегчили бы труд советских поэтов и прозаиков.

Взятый у бесспорных авторитетов, принадлежащих к так называемому «критическому реализму», а также у «классиков», рекомендованный Союзом писателей для употребления, первый список примерно мог бы быть таким:

бушующий океан — страсти	(Герцен)
погода — настроение	(Энгельс. Переписка)
роза — женщина	(Золя)
кровь — убийство	(Шекспир)
вечер — старость	(Ромэн Роллан)
погасшая свеча — конец жизни	(Лев Толстой)
закат солнца — смерть	(Пушкин)
смятый цветок — погибшая юность	(Мопассан)
кусок хлеба — возрождение к жизни	(Диккенс)
пропасть — неизвестность	(Горький)

Никаких «частных» ассоциаций эти символы не несут, к ним не нужен индивидуальный ключ, они «отпираются» общим ключом и потому совершенно безопасны.

Мой вопрос: почему до сих пор не возник социалистический символизм, был, конечно, поставлен риторически: **социалистический символизм в СССР появился и существует,** и я бы сказала, что он сделал это менее шумно, болезненно и жестоко, чем в свое время (28 лет тому назад) социалистический реализм. Но прежде чем перейти к этому, на мой взгляд, важнейшему событию в русской литературе за много лет, я хочу сказать несколько слов об индивидуальном ключе к символам.

Когда мы читаем у Пушкина:

три сосны
Стоят — одна поодоль, две другие
Друг к дружке близко, —

есть много возможностей воспринять эти строчки. Возьмем четыре, наиболее простые возможности, первые приходящие в голову и, конечно, они «отпираются» индивидуальным ключом: первая возможность — мы видим дорогу, которая вьется между тремя соснами и уводит нас ОТ Пушкина; вторая возможность — мы видим поляну, на которой стоят три дерева и на которой мы вместе С Пушкиным; третья возможность — мы видим Голгофу с тремя крестами, и мы ОДНИ; и четвертая возможность — мы понимаем, что Пушкин заблудился в трех соснах, нам смешно, мы в этом не участвуем.

Кстати, о Голгофе: вспоминаются, в связи с этими строками Пушкина, строчки Т. С. Элиота из «Волхвов»:

И вот на рассвете мы сошли в долину
Сырую, теплую, где пахло весной.
Там прыгал ручей, стучала мельница,
На фоне низкого неба *стояли три дерева*
И куда-то проскакал старый, белый конь.
(Перевод мой).

Эти три дерева выдержали множество комментариев: они предвещают Голгофу, их видят волхвы, идущие в Вифлеем.

Индивидуальный ключ может в искусстве отпирать любые двери и в свободном мире это одна из наших главных истинно-великих радостей. Но в Советском Союзе об индивидуальных ключах говорить не приходится, там естественно начать говорить об общем ключе, всем и каждому одинако-

во доступном для раскрытия символов, которыми, вот уже более года, пользуются некоторые авторы. Приведу три примера:

Чтобы не делать лишнего шума вокруг имени, назову первого автора А. Он хорошо известен и у себя на родине, и на Западе, и даже многими и здесь, и там почитаем. Мне раньше не приходилось его читать: он много пишет о природе, а я избегаю читать о природе. В современной западной литературе описаний природы нет, **а если они бывают**, они функциональны. Когда мне попадаются описания природы в русской литературе, я их пропускаю. Мне, по правде говоря, совершенно безразлично, сидят ли герои под вязом на берегу пруда, или под дубом на берегу озера. Функционального значения это не имеет, а следовательно и не интересно. Но вот однажды, проходя вдоль книжных полок в одной университетской библиотеке в США (в русском отделе), я увидела не то шесть, не то восемь толстых томов сочинений А., наудачу вынула один из них, раскрыла и прочла следующее:

Описывалась летняя ночь, одинокая прогулка в лесу автора-героя. Около четырех страниц было посвящено описанию ночи, погоды, леса, тишины, запахов, звуков и лунного света. Наконец автор-герой приходит к тихому, заросшему тиной пруду. При блеске луны он видит посреди пруда нерасцветшую водяную лилию. Он долго стоит и смотрит на нее любуясь, ею, и размышляя. Наконец, страницы три спустя, водяная лилия вдруг медленно начинает раскрываться на глазах автора-героя. Это было чудесное зрелище, переполнившее его восторгом. Так, заканчивает свой рассказ А., постепенно миру открылись идеи Ленина.

Меня что-то укололо при этих словах и я задумалась. Это уже не был социалистический реализм, о нет! Неужели нарождалось нечто новое? Социалистический символизм? Несколько дней я была под впечатлением рассказа. Мне казалось, что я стою накануне большого открытия.

Не прошло недели, как случилось следующее: в «Новом мире» (осенью 1960 г.) я прочла одну историю, на этот раз это был очерк, не рассказ, о том, что случилось в одной из советских редакций. Молодой автор, назовем его Б., прислал роман о новом сорте стали, этот сорт назвали «Саламандра», и так был назван роман. Произведение понравилось редактору, оно было принято к печати, но редактор испугался названия, по его мнению «отзывавшегося символизмом». Он предложил автору назвать роман «Новый сорт стали». Автор от-

казался. И тогда вдруг кто-то вспомнил, что у Льва Толстого есть в «Войне и мире» какой-то дуб, который тоже **что-то выражает.** Перелистали «Войну и мир», нашли дуб, и к удовольствию автора «Саламандру» напечатали, подпершись, если так можно выразиться, толстовским дубом.

Скажу прямо: очерк этот меня поразил. Ведь если орудовать всего только одним Львом Толстым (не говоря уже об остальных «допущенных» и «рекомендованных»), то ведь это полный переворот в методах советского творчества! Ведь это значит громадный сдвиг в ту сторону, которая еще даже и названия не имеет, и которой я не подберу лучшего имени, как **социалистический символизм.** Это начало освобождения от почти тридцатилетней кабалы социалистического реализма, это струя свежего воздуха, которая быть может выведет советскую литературу с того пути, где каждый факт имеет только одно значение и где каждый конфликт, как таблица умножения, — только один единственный ответ.

Третьего автора назовем В. В одной из его речей, произнесенной прошлой зимой, есть центральное место: это образ чеховского «многоуважаемого шкапа» (из «Вишневого сада»), стоящего, как символ, и для него самого, и для всего его поколения (людей, рожденных 70 лет тому назад). Если первый случай (А) мог быть ошибкой, а второй (Б.) — случайностью, то третий случай (В), доказал мне, что советская литература огибает какой-то угол и выходит на новую дорогу. Со времени этих трех фактов я и в прозе, и в поэзии не перестаю встречать (иногда слабые) подтверждения моим первым догадкам. Для полноты скажу, что, глядя назад, я теперь вижу, что в последние четверть века в советской литературе были попытки прорваться из социалистического реализма в социалистический символизм, но их было мало: мне вспоминаются всего две. За первую Пильняк поплатился жизнью, вторая («Берингов пролив» Ильфа и Петрова) прошла незамеченной. (Я говорю, конечно, только об авторах, строивших все произведение целиком на символе, не о тех, кто пользовался символом для «частного случая»). Но если обратиться к недавнему прошлому, то здесь примеров можно найти больше. За последние пять лет то тут, то там рассыпаны были первые намеки на социалистический символизм, на которые никто не обратил внимания. Еще в «Сонете Петрарки» Погодина, одна героиня говорила другой: «Неужели ты не ощущаешь символов?» и корила ее «буквальностью». Но только сейчас можно начать говорить о некоем «движе-

нии», которое, между прочим, смутно поддержано одной статей в «Новом мире» (уже в 1961 году. См. также: «Русская литература», № 1 1961 г., статья А. Старцевой, где есть выражения «образ-символ» и «мелодия-символ»). В статье в «Новом мире» доказывается, что символы необходимы научному мышлению, и что даже точные науки пользуются ими. Автор этой статьи рекомендует писателям подумать над такими учеными выражениями, как «профиль ветра» (в метеорологии), «курчавые скалы» (в геологии) и«звездный дождь» (в астрономии). К этому же разряду явлений можно причислить и переход советской науки на символическую логику и на полное изменение отношения советских ученых к кибернетике, которая еще в 40-ых годах квалифицировалась в СССР как «упадочное явление, пережиток феодализма» (см. Философский словарь), и которой сейчас посвящен специальный ежемесячный журнал.

Мне кажется, что все выше сказанное можно формулировать следующим образом:

1. Во вторую половину 1960 года в советской литературе, без особых директив партии и специального созыва Съезда писателей, народилось, еще в очень робком виде, новое направление — **социалистический символизм.** Оно вырастает на почве социалистического реализма, всецело подчинено идеологии КПСС и основам марксистско-ленинской эстетики, отнюдь не таит в себе каких либо уклонов, наоборот, поддерживает тридцатилетнее здание советской литературы, обогащая ее и разнообразя ее методы и принципы.

2. Восприятие социалистических символов человеческим мозгом есть процесс, которому исчерпывающее объяснение можно найти в учении И. П. Павлова об условных рефлексах, в чем согласны, между прочим, и некоторые западные буржуазные ученые. (Для удобства приведу ссылки: A. N. Whitehead: Symbolism, its meaning and effect. I. A. Richards and C. K. Ogden: The Meaning of Meaning).

3. Надо надеяться, что в скором времени будет опубликована таблица, по примеру Периодической системы Менделеева, «разрешенных», или лучше сказать «утвержденных» символов. Эта таблица должна быть выработана Союзом писателей и утверждена партией таким образом, чтобы общему ключу была дана полная возможность «отпирать» любой дозволенный символ, нашедший себе место в таблице. Сама таблица окажется гарантией дозволенного и таким образом, не будет даже намека на возможность индивидуальных ключей,

так как индивидуальные ключи сейчас же поставят проблему восприятия символов вне Павловской теории рефлексов, а это выбьет из-под нового направления почву, которая ему совершенно необходима, и на которой оно только и может окрепнуть в первые годы своего существования.

2

Говоря о социалистическом реализме, которому скоро пойдет четвертый десяток, мне кажется, можно признать, что он удался — в тех рамках, в каких был задуман. На основании выработанной в 30-х годах марксистско-ленинской эстетики, было сооружено здание прочное, которое вполне может простоять еще несколько десятков лет, если его время от времени соответственно ремонтировать. Говоря о соц. реализме, невольно возникает вопрос: а есть ли на свете капиталистический реализм? Думаю, что есть, и что мы сталкиваемся с ним каждый день.

Если соц. реализм «изображает жизнь не как объективную реальность, а как действительность в ее революционном развитии» (Жданов), то в рекламе мы видим не объективную реальность, а действительность, в ее капиталистическом развитии. Реклама дает нам действительность в процессе ее эволюции к еще большему, еще более цветущему капитализму. В ней, в этой рекламе, все почти так, как оно есть, только немного лучше. Если продается дом, он изображается с великолепным балконом, окруженный тенистыми липами, за ним, на горизонте — холмы, вьется дорога. На самом деле так оно должно было бы быть, но в реальности, когда вы приезжаете, чтобы купить дом, вы видите две метлы вместо тенистых лип и «массового производства» жидковатое строение, в ряду тесно поставленных таких же строений, а на горизонте вместо холмов — фабричные трубы. Это и есть капиталистический реализм, так же, как и фотография семьи, занятой пикником, рекламирующая, скажем, термосы. Это делается для достижения капиталистического результата (продать-купить). Все знают, что папа и мама, которые готовят детям завтрак на бережку, пока девочка ловит бабочку, а мальчик ее фотографирует, что папа и мама эти, так же как и братец с сестрицей, вовсе уж не так любят друг друга, чтобы восторженно смотреть один на другого, или всем вместе на термос, растянув рот до ушей.

Но в то время, как реклама есть «принудительный ассор-

тимент» капитализма, соц. реализм есть основной товар. Никто на Западе не называет рекламу искусством, литературоведы и историки искусства не пишут о ней статей, как пишут статьи в Советском Союзе о произведениях соц. реалистов или книгах «критических реалистов», — так теперь называются писатели прошлого, «любившие народ».

Здесь нет преувеличения. В любой книге о литературе — от серьезного ученого Д. Д. Благого, пишущего о Карамзине и Державине, и до пошлейших рассуждений Льва Никулина, пишущего о Куприне и Бунине, мы находим все ту же фразу «он любил народ», которой автор хочет загладить Карамзинские или Купринские реакционные грешки. У Никулина прямо так и идут целыми страницами сравнения: Бунин вот так любил народ, а Куприн — вот эдак. До созданных ими вещей, до написанных ими книг, он так и не доходит: в сотый раз читаем мы: а еще он любил народ, любил свой народ, очень любил этот народ. И Кантемир любил народ. И, конечно, Ломоносов. Критиковал царей и любил народ. Мы забываем, о ком собственно критик пишет? Он пишет о времени, когда автор жил, об обществе, о режиме, о бедном народе, о нем самом, т. е. о его происхождении, поведении, (как до, так и после революции), но о том, что же все-таки от него осталось, и почему мы знаем о нем — ни слова.

Критицизм и патриотизм. Вот две вещи, которые необходимо навязать автору XVIII или XIX века, чтобы иметь право о нем поговорить. Если этого сделать нельзя, то о нем никогда нигде не упоминается. А иногда у таких авторов бывает «звездная» судьба: сначала их имена печатались в тексте, затем — в 30-ых гг. — они перешли «под звездочку», в подстрочное примечание, потом зашли за горизонт. Через много лет, они опять начали появляться «под звездочкой», а еще через некоторое время перешли в текст. Кто-то, видимо, ведает всеми этими суевериями и предрассудками. И строго следит за ритуалом.

Суеверий и предрассудков у соц. реализма очень много. Один из них — негласный запрет писать стихи вольным размером, другой — почти полное табу, наложенное на белые стихи. То ли белые стихи считаются космополитизмом (на Западе пишутся белые стихи), то ли формализмом, то ли негласно решено «следящими за ритуалом», что стихи должны непременно «звучать», что их надо «рубить», что они должны быть такими, чтобы их можно было, в случае надобности, петь хором, что они должны быть рассчитаны на эстраду,

откуда звучат эффектнее, когда они звонки. А между тем в русской поэзии есть сильная и прекрасная традиция белых стихов, и другая — стихов вольных. И один из представителей первой, и быть может, один из зачинателей ее, в то же время автор рассуждения **о вреде рифмы,** «трактата» столь же любопытного, сколь и глубокого. Его имя никогда не встречается в советской печати, он не имел даже «звездной судьбы»! Это — Семен Бобров (1760—1810), который не только не любил народ, не только не критиковал царское правительство, но был консерватор самой первой руки, реакционер, друг Шишкова и враг Карамзина и его реформы.

Бобров — автор необыкновенно интересной, можно даже сказать — замечательной, поэмы «Херсонида» (в первом издании, 1798 г., она называлась «Таврида»). Второе издание (окончательное) носит следующий подзаголовок: «Лирико-эпическое Песнотворение. Вновь исправленное и умноженное. 1804.» Это произведение написано белыми стихами (четырехстопным ямбом) и сначала было посвящено некоему адмиралу Мордвинову. Оно, по словам Боброва, «описывало летний день в Таврическом Херсонисе», а затем, во втором издании, он посвятил его «Александру Павловичу» (императору. Н. Б.) и объяснил, что Херсонида есть «картина лучшего летнего дня в Херсонисе Таврическом».

Поэма написана без рифм. О том, что думал Бобров о рифме, я скажу ниже, когда буду говорить о предисловии к поэме. Впрочем, иногда, неожиданно, две или три строчки срифмованы подряд, но чтобы читатель не подумал, что поэт сделал это нечаянно, Бобров на полях поэмы ставит фигурную скобку, объединяя ею рифмованные концы строк. Реже срифмованы четыре строчки в традиционной (или ставшей со времени Пушкина традиционной) манере:

Престань, веретено, вертеться
И прясть судьбину вещества!
Вот скоро дряхла нить порвется.
Ах, так проходит слава дня.

Эта рифмовка наименее любопытна. Она почти всегда неудачна (как и в приведенных строках). Но когда Бобров рифмует «вольно» или «не точно», то он находит очень оригинальные (особенно для своего века) ассонансы и аллитерации. Приведу несколько примеров этих, на мой слух, новых звучаний: многохолмном / небосклоном; незримо / неключимо (о дне реки, не имеющем ключей); юных / сребро-струйных;

спокойны / Помоны; холм / сонм; тень / ясень (с ударением на последнем слоге); бледны / звездны; дивный / Медины.

Эти рифмы занимают приблизительно одну сороковую стихов всей поэмы. Все другие строчки — рифм не имеют. Но как хорошо они звучат!

Сии железа нежной Музы —

какая здесь игра Ж и З. Эта строчка — **чудо прелести.** А следующее двустишие, по своим ускорениям, сделало бы честь и Державину:

Или на усыренны горы (после дождя. Н. Б.)
Там, где шафран напоминает...

— — — — — / — / —
— — — / — — — / —

здесь М, Н и А — прямо тают в воздухе.

Мужские и женские окончания Бобров ставит очень вольно. Длинная поэма его не разделена на строфы. Иногда два женских окончания (или больше) следуют друг за другом:

Как быстро ласточка летает
Вокруг грядущего отшельца!

Иногда два мужских идут парой:

И долго в оборотах сих
Сопровождает ушлеца, —

(мы видим дорогу, по которой ходит одинокий «отшелец» и дорогу вьющуюся, по которой уходит «ушлец»). Чаще мужские и женские окончания чередуются:

Или ужасных Митридатов,
Или растрепанных Медей, —

великолепные пэаны и крепко звучащее М.

Но перейдем к предисловию, или «трактату». В нем этот забытый поэт и теоретик, ждущий своего Колумба, чтобы быть открытым, говорит нам о рифме и о том, почему он ею пренебрег:

«Сие творение, — пишет Бобров, — писано белыми стихами, но я не отрекался щастия, есть ли оно произвольно снабжало мое перо, как неким подарком, равнозвучием (так он называет рифму Н. Б.), которое само иногда выходило.

Известно, что некоторые английские писатели, также некоторые немецкие давно пренебрегли сей Готический убор стихов... Правда, что слух наш, приученный к звону рифм, не охотно терпит те стихи, на конце коих не бряцают равнозвучные слова, но мне бы казалось, что рифма никогда еще не должна составлять существенной музыки в стихах. Естьли читать подлинник самого Попия (так Бобров называет английского поэта Попа, Н. Б.), то можно чувствовать у него доброгласие и стройность более в искусном и правильном подборе гласных или согласных букв при самом течении речи, а не в одних рифмах, так как еще не служащих общим согласием музыкальных тонов... Естьли кто из стихотворцев хотя несколько любомудрствующих, чувствует ту великую тяжесть, что ради рифмы, особливо при растяжности слов, всегда должно понизить, или ослабить лучшую мысль и сильнейшую картину и вместо отживления, так сказать, умертвить оную, тот верно со мною согласится, что рифма, часто служа будто некоторым отводом прекраснейших чувствований и изящнейших мыслей, почти всегда убивает душу сочинения.

«Один из таковых Парнасских словосудителей торжественно некогда объявил, что рифма кажется не что иное, как ребяческая побрякушка или простонародное трёканье при работе. Когда дружное бряцание стекол или черепьев в руках двух забавников бывает слышно вместе или в каком-то сообразии: то малоумные дети прыгают от радости; также чем живее бывает трёканье между простолюдинами тем, говорят, дружнее выдерживается ручная работа; и по тому-то, чем богатее и чище рифма, тем дивнее искусство для простодушного слушателя или читателя, но какой это — продолжает он — завидной способ и нарядный пример для нашей словесности? Разве это ручная работа?.. Можно сказать о рифмах умеренней и заключить о них по крайней мере то, что совместнее, кажется, им шуметь в имнах (т. е. гимнах. Н. Б.) или песнях, каковые случатся быть предметом вроде Эпопеи, но и тогда рифма не должна владычествовать над областью мыслей или связью предложений...

«Впрочем, не благодарить ли судьбе просвещения за то, что некоторые из наших отважных и бойких умов согласились оставить и сей образ Готической прикрасы?»

Это — только малая часть трактата. Далее следуют рассуждения об ассонансах, аллитерациях, употреблении иностранных слов и о многом другом, свидетельствующие о тонком вкусе и острых мыслях автора. Он не фанатик, он даже

говорит о том, что «не отрекался от счастья», если перо его выводило рифму, он только хочет, чтобы не было насилия, чтобы «труд» поэта был перенесен на всю строку.

Об этом читаем на следующих страницах трактата. Они показывают, какое прекрасное понимание поэзии и ее строя было у Боброва. Нет сомнения, Пушкин и его плеяда знали Боброва, читали его, и учились кое-чему у него. Но, конечно, время было против Боброва, и хвалить Боброва тогда, значило хвалить Шишкова, значило заслужить нелюбовь Карамзина, Вяземского, а это было совершенно вне дозволенного и возможного. Если не считать сатиры на него Батюшкова, то Боброва, можно сказать, «казнили молчанием»: полемизировать с ним было бы равносильно признанию его. Esprit de corps у Пушкина и его друзей был всегда очень силен, и я и в мыслях не имею осуждать их за это. Это было не случайной модой их дружеской компании, это было законом тогдашнего времени.

И вот Бобров даже звездочки подстрочного примечания не заслужил, несмотря на то, что его мысли о поэзии актуальнее мыслей многих других его современников и врагов. Сейчас, не раскрывая до конца его оригинальной поэтики и не вдаваясь в обсуждение его чисто-технических приемов, мне хочется сказать, что я во многом согласна с ним. «Убор» стихов кажется мне не только лишним, но и портящим все строение стиха; «существенная музыка» должна находиться в другом месте (в середине, в начале строчки), чтобы не было однообразия. «Доброгласие» хочется слышать **сквозное**, то есть гармонию чувствовать **насквозь**, «при самом течении речи», а не как «отвод» и «бряцание», и уж конечно не как «Готическую прикрасу».

Так, как дело обстоит в наше время, можно сказать, что очень часто (но конечно не всегда) «равнозвучие» есть единственный элемент во всей строчке, «сработанный» или «выработанный» поэтом. И начало, и середина принесены в жертву конечному звучанию. Насколько богаче могли бы звучать стихи, если бы то усилие, которое кладется поэтом на рифму, было бы распределено равномерно и в начале, и в середине строки, если бы повторы и гармонии были бы повсюду, а этого как раз все меньше в современных рифмованных стихах. В этом случае и «анжамбеман» мог бы иметь гораздо больший оттенок **легато**, чем то характерное **маркато**, которое оно имеет сейчас. И одновременно можно было бы освободиться от одной навязчивой идеи, а именно, что какие-то

гласные в русском языке веселые, а какие-то — унылые. Не вижу, что унылого в строчке «У Лукоморья дуб зеленый», и что веселого в строчке «Из края мрачного изгнанья»? Если не будет рифмы, в стихах будет равновесие, чудесный покой, сквозная гармония, не говоря уже о том, что стихи не будут умирать, как умирают рифмованные стихи, когда рифма меняет свое фонетическое лицо, что в наше время случается слишком часто. Что ни говори, а когда мы встречаем у Пушкина рифму лес — утес, то мы не знаем, как ее произнести: если мы прочтем: лес — утес, то это покажется претенциозным, если же мы прочтем ее лёс — утёс, то выйдет еще хуже. В стихотворении «Не пой, красавица, при мне» слова «напоминают мне онЕ» являются преткновением, о которое спотыкаются все, и в результате все стихотворение сползает на сторону. Разочарование наше при ненахождении обязательного звучания убивает стихотворение.

Как я уже сказала, в русской поэзии есть сильная и прекрасная традиция белых стихов и она перевита с более слабо намеченной, но несомненно существующей традицией вольных стихов, иначе — свободных, то есть без определенного **метра**, но с вполне определенным **ритмом**. Две эти традиции перевиты друг с другом. И путь их проходит от Боброва и Державина (не развил традицию, но нашел свои приемы) через Дмитриева и Карамзина (у этого последнего она особенно интересна, как у теоретика и врага шишковцев), к Пушкину, с его белым пятистопным ямбом и свободным стихом написанной «Сказкой о медведихе», к «Купцу Калашникову» — гениальной поэме Лермонтова, ко многим другим, более поздним вещам, к шедеврам этого жанра Фета, и наконец — к Блоку, Гумилеву, Ахматовой, Кузмину.... Может быть наше ухо так огрубело от рифмы, что мы не слышим их прелести?

Но что же будет с тиканьем метронома, с нашим привычным ритмом? — спросят меня те, кто боятся, что на месте стучащего маятника окажется вдруг пустое место. Будет для каждой поэмы своя музыкальная доминанта, единственный музыкальный рисунок, который никогда и никем не будет повторен. Если мы вчитаемся в такие вещи, как «О да, мы из расы» или «Моим читателям» Гумилева, или в «Александрийские песни» Кузмина, или в «Христос Воскресе» Белого — вне зависимости от того, любим мы их или не любим, мы, если только прислушаемся, услышим этот музыкальный рисунок, о котором я говорю, и который в будущей русской поэзии, если она хочет жить и быть, разовьется, преобразится,

углубится. Почему? — спросят меня. Потому что человек **физиологически** способен ответить не только на пять «точных» размеров, но на всякий ритм, таинственно соответствующий ритмам его организма. Мы, конечно, способны психологически воспринять новые паузники, но важнее, что мы способны на физиологическое их усвоение.

Ритм не есть что-то внешнее, что постигается нами разумом, или что-то навязанное нам с детства; есть что-то внутри нас, что отвечает физически, когда мы слышим:

— / — / — /

или:

/ — — / — — / — —

В нас самих происходят процессы, которые идут этим же шагом: ямб и хорей имеют ответность нашего пульса, трехдольники — нашего дыхания, а паузник — ответный ритм подачи крови в наш мозг, перестальтики, работы желёз. Новые ритмы будут соответствовать различным нашим внутренним «биениям» так, что никто не сможет уверить нас в том, что свободные стихи — это «кусочки прозы», нарезанные маленькими строчками. Важно найти те новые доминанты, которые будут иметь не только психологический, но и физиологический отзвук в нас, потому что для меня не подлежит сомнению факт, что старые наши двух- и трехстопные размеры этот физиологический отзвук имели. Почему (если позволено будет сказать о себе) так сладостен для меня **всякий** спондей? Потому что он отвечает на что-то, что есть в моем пульсе. Эти внутренние ритмы и «биения» знакомы многим, но мало кто когда-либо думал о них. Они относятся к той же категории ощущений, что и тайное чувство своего сходства с неодушевленным предметом, чувства схожести не с «кем-то», а с «чем-то»: один идентифицирует себя с цветущим лугом, другой с витой лестницей, а третий — с той, высеченной из дерева фигурой, которую ставят на нос корабля.

Вольными белыми стихами сейчас пишут поэты всех национальностей. Это не значит, что рифмованные стихи подлежат остракизму. Когда я говорю против рифмы, я не считаю, что ей нужно «свернуть шею» (по выражению Верлэна), а когда я говорю против метра, то вовсе не согласна с Одоевским, который считал, что шестистопный ямб это когда «6 тяжелых стоп лезут друг на друга и стучат, как молоты», — но факт остается фактом: в последние 30-40 лет поэты тех стран, с которыми русской литературе всегда было по пути

(во всяком случае, последние 200 лет), пишут белыми вольными стихами, творя свои «высокие» и «низкие» музыкальные стили, и эта черта западной поэзии есть один из неотъемлемых элементов новой поэзии.

3

Но что такое новая поэзия? Я бы хотела наметить некоторые ее черты. Прежде всего скажу, что многое в новой поэзии основано на конфликтах: принятие техники (математики и механики) и отрицание механизации и стандартизации; принятие данности, что человек стоит между атомом и звездной туманностью, и страх видеть себя незащищенным ни от атома, ни от звездной туманности; одиночество человека и слияние его с миром, — не посредством вельтшмерца, но благодаря данным кибернетики. Новая поэзия способна сказать миру истины, которые другие науки и искусства сказать не могут; она на втором месте после математики в ее усилии постичь вселенную; изучать новую поэзию значит изучать и «контролировать» жизнь мира, изучать и «контролировать» конфликты, о которых раньше никогда не было говорено с такой силой.

Гегель говорил о «секуляризованной духовности». Сквозь сложность так называемой «формы» мы получаем в поэзии эту секуляризованную духовность в виде личного свидетельства поэта, и здесь на новую поэзию сильнейшее влияние имела проза: она многому научила поэтов и на многое их навела. Д. Г. Лоуренс и А. Жид сыграли, быть может, наиболее значительную роль, особенно — в разрушении видимого благополучия быта и переоценки этого благополучия; но неменьшую роль сыграли и Кафка, и Достоевский. «Литературная ситуация, — говорит Уильрайт, — есть культурный феномен, и такой феномен несет с собой борьбу за моральные ценности, моральные же ценности выявляются на основе символов личного бытия, которые в свою очередь дают литературный стиль».

Но не только художественная проза влияла на новую поэзию, на нее влияли и антропологи, и психологи, и физики. Книга Фрезера о древних религиях была и продолжает быть настольной для новых поэтов. Фрезер как-бы дал им «право на миф», когда говорил о богах умирающих и воскресающих, о человеке, падающем и восстающем, и вкушающем тело Бога, когда говорил о троичности в пра-религиях и о пра-

символах, до сих пор живых. Новая поэзия не признает до-Сократовского первобытного хаоса, она против «благородной апатии» за «благородную судорожность»; она определила романтизм как конгломерат эмоциональности, эскапизма и уязвимости в отношении иронии; она ликвидировала иллюзии о безгрешности первобытных народов, слабости женщин и невинности детей. Ее энергия вне-этическая и постулат ее тот, что не этика, но эстетика первая метафизическая активность человека. Для этой поэзии в центре стоит поэтическое оправдание жизни в героическом приятии всех ее вызовов; в преодолении «подпольности».

Вот то, что «звучит» в новых стихах. Но я хотела бы остановиться на более конкретных чертах, наиболее, по-моему, важных: на четырех аспектах нового искусства. Эти четыре аспекта следующие: переоценка великих авторитетов, перемещение нигилизма, новая критика и современный символизм.

Концепции нового времени принесли с собой переоценку великих авторитетов прошлого. Никто не был «выкинут за борт», но были по новому прочтены поэты и прозаики Запада последних четырех столетий, и по новому оценены и поняты. Понимание некоторых углубилось и усложнилось, оценка иных понизилась в свете нашего времени. Третьи были переведены в ряд великих. К первым принадлежат Мелвиль и Диккенс и, конечно, Достоевский, ко вторым — Шелли и Браунинг, к третьим— мистики XVII века, и в первую очередь — Донн. И вот мне хотелось бы извлечь некоторый урок из этой переоценки.

Есть у нас в русской литературе, скажем, десять имен, которые по общему мнению, никогда не ошибались и ошибаться не могли. Случайно оброненное мнение в письме, недосказанная мысль в статье, выраженная наспех, или в запальчивости, неудачная строчка в стихотворении, ложная установка в рассказе — все принимается у этих десяти, как синайская скрижаль. А между тем, из наших бесспорных гениев нет ни одного, кто бы хоть в чем-нибудь когда-нибудь не ошибся. Я здесь не говорю об ошибках стилистических, о трех наречиях подряд в «Анне Карениной»[1] или о «лохмотьях», которые казались «отрепьями» в «Идиоте» — это даже не ошибки, это курьезы. Но от ошибок настоящих никто не был из-

---

[1] «Она остановилась *подле вплоть мимо* ее проходящего поезда». Часть 7, глава 31.

бавлен. От этого великие наши поэты и писатели не стали меньше. Но этого нельзя забывать. И нельзя заранее, подходя к ним, держаться предрассудка, что каждое их слово есть буква закона. Мы имеем восторженное мнение Державина о крепостном праве, и энтузиазм Жуковского по поводу смертной казни, наивные переложения Лермонтова гигантов немецкого романтизма, **стихи** Достоевского, которые не стихи, а вирши, и письмо Тургенева к Стасову о том, что через десять лет никто в России даже не будет помнить имен Мусоргского, Римского-Корсакова и Бородина. У нас, наконец, есть «Крейцерова Соната» — гениальная вещь построенная на совсем ложной предпосылке.[2] И еще у нас есть Пушкин, который считал, что **войной можно оживить страну.** В стихотворении, где он воспевает царя (этого я не ставлю ему в вину, об этом достаточно писалось), Пушкин, когда перечисляет то хорошее, что царь сделал для России, пишет (верить ли глазам?):

Россию оживил войной.

От этого он делается не меньше, но я лишний раз убеждаюсь в том, что не каждое его слово — заповедь.

Но это все относится, так сказать, к существу выраженного. Есть и другая сторона дела. Ломоносов, который «родил четырехстопный ямб» и был величайший новатор России, считал пиррихий вещью недозволенной — все последующее развитие русского стиха доказало, что он был глубоко не прав. Здесь нужна не переоценка Ломоносова, но знание факта, что и у него были ошибки, и даже весьма крупные. Затем — Некрасов. Тут я сталкиваюсь с явлением, которому не могу найти объяснения. Я всегда чувствовала, что есть в нем какая-то фальшивая нота, не та, о которой так много писалось в связи с его сентиментальностью в поэзии и весьма крутым и деловым характером в жизни — фальшивая нота имела отношение к «форме» стихов. Перечитав недавно Некрасова, я поняла, что именно меня так долго в нем смущало:

---

[2] С этим согласны и психологи, и критики, и этому подтверждение дает следующий факт: несколько лет тому назад были опрошены несколько сот студентов (западного мира) касательно их восприятия музыки (не джаза). Один из вопросов был: имеет ли классическая музыка на вас хоть какое-нибудь сексуально-возбудительное влияние? Из 700 студентов все без исключения ответили отрицательно.

полный разрыв словаря с образами. То огромное количество новых слов, отчасти газетных, отчасти обиходных, которые он ввел в русскую поэзию (и в чем главное его достоинство), соединено с образами и символами XVIII века, совершенно, уже ко временам Некрасова, потерявшими свою жизнеспособность, смысл и аромат. Вообразите человека, который бы стал говорить о своей поездке на велосипеде в полицейский участок с упоминанием Пегаса, Гермеса и Персефоны. Эта дисгармония не была замечена ни Б. Эйхенбаумом, написавшим о Некрасове замечательные статьи, ни другими его исследователями. Единственный человек (как всегда — умный и прозорливый) был Герцен: он однажды обмолвился, после чтения Некрасова, следующими словами: «Ему вовсе не идут слова «муза» и «Парнас».

Теперь, когда акмеизм стал прошлым, и довольно далеким, и когда позволительно к его «богам» подойти без искусственнаго фимиама, можно заметить, что и у акмеистов звучит некоторая дисгармония, но только иного порядка. Оговорюсь, что хотя Гумилев, Ахматова, Мандельштам и Кузмин для меня и не принадлежат к тем «непогрешимым» десяти, о которых я сказала вначале, но они идут сейчас же за ними, как большие поэты нашего века, наши **бессмертные забытые,** наши **великие запретные.** Дисгармония, которую не изжили (видимо не успели изжить) акмеисты, касается не словаря и образов, как у Некрасова, но находится между словарем и образами с одной стороны, и ритмикой — с другой. В этом отношении белые стихи Кузмина и паузник Ахматовой более органичны, в то время как традиционный стих Гумилева и Мандельштама как-то не вяжется с той революционностью, которую, казалось бы, они несли с собой. Ставя Гумилева и Мандельштама очень высоко, я все же не могу не удивляться, как эти два больших поэта прошли мимо новых возможностей ритма, не сломали старые, конвенциональные двух- и трехстопные метры, не отбросили рифму, вообще в конечном счете оказались более консервативными, чем некоторые из символистов (как напр. Белый), против которых они подняли бунт. Сейчас, 40 лет спустя после акмеизма, не верится, что многие стихи акмеистов были написаны после «Первого свидания» Белого. Они кажутся такими «причесанными».

Другой аспект нового искусства я называю перемещением нигилизма. Я считаю, что это едва ли не самый неожиданный аспект его. Теперь мы знаем, какую громадную роль для литературы двух последних столетий сыграла книга Дид-

ро «Племянник Рамо». Якобинцы французской революции столь многим ей обязаны, русский нигилизм вышел из нее, следующие сто лет были в известной степени окрашены этой книгой и модулировали ее тон. В свое время Гете перевел ее на немецкий язык, Гегель считал ее исключительным событием, Маркс восхищался ею всю жизнь, Бернард Шоу был под сильнейшим ее влиянием. Фрейд несколько раз перечитал ее.

Рукопись ее в свое время оказалась в руках у Шиллера. Она была написана в 1762 году и при Людовике во Франции напечатана быть не могла. Дидро переправил ее заграницу. Он умер до революции. Гете, которому Шиллер показал «Племянника Рамо», так восхитился им, что сам сел за перевод. Этот немецкий перевод был опубликован в начале XIX века. Шиллер умер. Французский оригинал пропал. Немецкий текст Гете был переведен обратно на французский и в таком виде книга существовала много десятков лет, в 1883 г. она была переведена на русский язык. А в 1894 году в Париже, у букиниста, среди хлама, была найдена копия «Племянника Рамо», переписанная самим Дидро. Сейчас эта французская копия и представляет собой основной текст.

Есть у Карамзина мало кому известная ранняя вещь, «Моя исповедь». Это — первое русское произведение, написанное под влиянием «Племянника Рамо», которого Карамзин, видимо, читал в извлечениях, как недозволенную литературу. От «Моей исповеди» можно проследить, как влиял Дидро, «отец нигилизма», на русскую литературу 60-70 гг. Нигилизм не был выдуман в России, в России ему дали только имя, он пришел из Франции, он вышел из «Племянника Рамо», и расцвел пышным цветом на российской почве. Затем, когда он поблек в России, он возобновил свое странствие по миру. В какие только страны он не заглядывал! И он всюду оставлял свой след.

Теперь, когда «Племяннику Рамо» исполняется 200 лет, мы, если постараемся взглянуть на вещи бесстрастно и беспристрастно, увидим такую картину: в России, где родилось слово «нигилизм» — нигилизм запрещен. Надо верить. Иначе — кутузка. Во Франции он существует — с ним борятся экзистенциалисты во главе с Сартром. В Англии он на той же стороне, где находятся оппоненты Т. С. Элиота. В Америке он часто входит в список рекордно-продаваемых книг и живет частично и в драме, и в прозе. Это то, что я называю перемещением нигилизма и что очень характерно для последней чет-

верти века. «Своя своих не познаша» — об этом не стоит даже упоминать! «Благомыслящие» французы считают, что советские литераторы — нигилисты (они не верят в то, во что верят «благомыслящие»), советские литературные критики считают, что американские «битники» — нигилисты. «Битники», которые в большинстве исповедуют религию зен-буддизма, считают, что нигилисты те, кто пишет рекордно-продаваемые книги. И т. д. Но если в свете всего этого перечитать «Племянника Рамо», то станет ясно, что этот племянник живет повсюду, что он цветет во всем мире, что для него нет границ национальностей, классов, нет преград языка, политических убеждений, что за 200 лет (и особенно за последние 30 лет) он пережил сильнейшую эволюцию, но не потерял своего вечного, неизменного облика.

О новой критике и ее подходах к новой поэзии я уже писала.[3] Но я думаю, что можно было бы и здесь воспользоваться некоторыми уроками Запада. Эта критика идет следом за литературой, она не опаздывает, она иногда даже слишком тесно прижата к новым произведениям, в то время, как у нас есть обычай опаздывать. Если это простительно читателю, то критику это простить трудно, ему как критику sui generis не следует ждать какой-то «перспективы времени», он сам эту перспективу обязан создавать. Вспомним молодого Карамзина («Письма русского путешественника»), который будучи в Веймаре не мог дождаться минуты, когда он сможет представиться Виланду и поклониться ему, и который совершенно не интересовался Гете. Он видел фигуру Гете в окне его дома, и вполне удовлетворился этим. Есть у нас какая-то затхлость в подходе к художественному произведению, должно пройти полвека, пока наконец русская критика оценит вещь. Десять лет тому назад я встретила одного русского художника, вещи которого висят в Третьяковской галлерее. На мой вопрос, кого он любит из новых французских художников, он ответил: Коро. И тут же добавил, что его сын, тоже художник, увлекается «модернизмом», и извинился за его передовой вкус, когда сказал мне, что сын его любит Ван Гога. До сих пор в советской критике Мопассан считается «новой французской литературой», — а в эмигрантской критике Толстым и Достоевским (Толстоевским, по остроумному определению В. Вейдле) орудуют без поправки на время. Второе замечание, которое приходит на мысль, когда читаешь, с какой точностью пишутся

---

[3] См. статью «Великий век», Новый Журнал, кн. *64*

статьи западными критиками (я не говорю о рецензентах иллюстрированных еженедельников), это о приблизительности русской критики. Правда, формалисты многое сделали чтобы это изменить, и они несомненно во многом преуспели. Но вот передо мной книга проф. Е. Аничкова (1904), о котором мемуаристы эпохи символизма много раз писали, как о достойнейшем человеке (Степун, С. Маковский и др.). Аничков был вхож ко многим большим поэтам и прозаикам своего времени. В своей книге «Литературные образы и мнения» (странное заглавие, которое для меня звучит совершенно непонятно, напоминая помножение яблок на груши) Аничков пишет о поэтах «Скорпиона» (стр. 143-184) и в них называет следующие фамилии: Брюссов — вместо Брюсов, Соллогуб — вместо Сологуб, Ремезов — вместо Ремизов, Волотин — вместо Волошин, Каневской — вместо Коневской. Что, кроме стыда, можем мы почувствовать при чтении такой критики? О том, сколько было за последние сто лет переврано в русской критике, страшно подумать.

В моей статье «Великий век», упоминая о марксистско-социологическом методе критики и говоря о том, что в СССР другого метода нет, я, пожалуй, слишком лестно отозвалась о советской критике. Собственно никакого социологического подхода в ней нет, это — обман. Если рассмотреть то, что пишется за последние годы о художественной литературе, то Маркса там будет всего одна десятая, а девять десятых будет проведением в жизнь на литературном материале правительственных распоряжений. Если мы сравним то, что пишется сейчас, с писаниями **настоящих** марксистских критиков — Л. Троцкого, Н. Бухарина, или иностранных критиков-марксистов Франции и Америки, то мы увидим разницу: за счет идеологии работает директива. Идеология не развивается, она не эволюционирует, автоматически появляются директивы — их надо проводить в жизнь. Всякий путь хорош. Путь литературной критики — наиболее удобен.

4

Вряд ли кто нибудь будет спорить с тем утверждением, что в истинно-поэтическом произведении подтекст больше самого текста. Под истинно-поэтическим произведением я понимаю стихотворение или поэму, которые символичны. Песни для красноармейских хоров, куплеты музыкальной комедии, рифмованная реклама — не символичны. Так же и научный язык

не имеет подтекста, но поэтический язык, это такой язык, где каждое понятие ведет за собой целый ряд обертонов. Из них некоторые играют решающее значение, т. е. по значительности своей равны непосредственно высказанным понятиям, сознательно выраженным поэтом-автором, который все, что говорит, говорит как бы наведя на предмет (или идею) **мягкий** фокус, в противоположность **резкому** фокусу, который наводится на научные истины.

Говорят, вино живет 70 лет. Говорят скрипки живут 200 лет, а потом умирают. Кто это говорит? Не человек науки, потому что есть вина, которые могут не прокиснуть и за 80 лет, и есть Страдивариусы, которые потеряют тон между 2010 и 2060 годами. Человек науки объявит нам факт, наведя на него резкий фокус. Поэт выразит порчу драгоценного вина или гибель чудесного инструмента в мягком фокусе, теми словами, которые приведут за собой целый сонм (или целую ауру) образов — логических и мелодических звучаний. Возьмем конец одного четверостишия:

Сменить часовенку кривую
Слегка надкусанным яйцом.

О чем здесь говорится? О том, что можно заменить один предмет — другим, т. е., что А = А. Но первое А — здание, а второе — круто сваренное яйцо?

За этим следует, всегда драгоценный, необходимый, меняющий нашу человеческую сущность **момент узнавания.** Он законно вступает в свои права, полученные им от мягкого фокуса. В стихах говорится о двух буквах русского алфавита, ЯТЬ и Е. В мозгу происходит цепная реакция: 1917 год, революция, новое правописание, Октябрь, ученики в школах переучились писать, военный коммунизм, гражданская война, голод, холод, тиф... Буква ять — как кривая часовенка, буква е — как надкусанное яйцо. Не стало часовенок — их разрушили, не стало, впрочем, и крутых яиц — их съели и (как писала когда то Цветаева) — «курочки ня няслись». Научному мышлению здесь нет места. Оно лежит **горизонтально,** мы-же говорим сейчас о **вертикалях;** или иначе: оно лежит в плане **круга,** мы же рассуждаем о **шаре.** И в этом плане часовенка становится символом старого режима, яйцо символом нового режима, а смена Ѣ на Е — символом революции.

Символ — не знак. Зеленый огонь говорит нам, что автомобиль может проехать. Это — знак. Огонь мог быть синим, он случайно зеленый. Но «плюс» (сложение) или «полуме-

сяц» (ислам) — символы. Они не могли быть иными, их не просто «кто-то выдумал». Они создались, когда идеальное воплотилось в объективном.

Иногда отличить символ от знака и знак от самого «объективного коррелята» не совсем легко: есть ли молния символ грозы? или знак грозы? или часть грозы? Она, вернее всего, есть символ гнева Зевеса, знак стихии и часть явления. Но апельсинный сок — есть апельсинный сок и ничего больше. В то время как виноградный сок — не только сок, но и символ: он ведет за собой миф о Вакхе.

Символ может быть индивидуален, но миф должен быть социально вкоренен и выпестован. О нем необходима «общая память», у него есть история, у него есть трансцендентные перекрестные ссылки, у него есть естественное развитие. Он не выдумка, наложенная на факт, он способ постижения факта, и сам по себе — явление культуры. И он имеет отношение к ощущению полноты жизни.

Мысленно охватывая мировую поэзию от Гомера до наших дней, можно сказать, что, кроме кажется Лукреция, ни один большой поэт не оставался на горизонтали и не стремился к резкому фокусу. Все сознательно (или бессознательно) знали, что миф имеет незаменимую семантическую функцию, ему одному принадлежащую, что сознание мифа («мифная сознательность», по выражению Уильрайта) имеет свое измерение в опыте, оно как-бы пересекает эмпирические измерения, будучи переменной величиной.

Эсхил и Данте принимали миф целиком. Шекспир и Вергилий ломали его и растаскивали во все стороны его элементы. Орест **один** видит фурий, Гамлет видит тень отца **вместе** с Горацио и другими. В наше время, несмотря на то, что нет цельного человека, который бы говорил с цельным человеком в цельном мире, миф жив: он дает поэту фон знакомой ему перекрестной ссылки, через нее восприятие его самого и его читателей ориентируется в одну и ту же сторону и тем самым — тесно слиты. Если у греков с мифом связан сюжет, а у Шекспира с мифом связаны образы, то у Тютчева «ветренная Геба» связана с личным его умонастроением и поэтическим стилем:

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба
Смеясь, на землю пролила.

Кому придет в голову заподозрить Тютчева в исповедании религии Олимпийских богов? Только тому, кто ждет от поэта резкого фокуса.

В этом смысле любопытны «Анчар» и «Медный всадник». Древние различали два рода мифов: хтонические (связанные с землей) и олимпийские (связанные с небом). Можно сказать, что в наше время преобладают первые над вторыми. У Пушкина они слиты. Вернее: стихотворение его и поэма имеют один общий миф: хтоно-олимпийский.

Миф не идеология. Если мотивирующие идеи поэта лежат в стороне идеологий, он пропал. Они могут лежать только в стороне мифов. И не догма есть основа поэзии, но символ, т. е. что-то близкое каждому, неотъемлемая черта человека, которого, как говорит С. Лангер, от животного отличает только способность к символизации. Тем, кто думают, что символизм есть нечто, что предполагает пребывание в башне из слоновой кости, К. Брукс отвечает так:

«Не поэты, но современная публика живет в башне из слоновой кости, отделяя свою эмоциональную жизнь от настоящего мира, и особенно от его интеллектуальной деятельности; а поэзия, которую она все еще любит, не имеет никакого отношения ни к современному миру, ни к его задачам. Ни к концепциям нового века».

Элементы нового искусства слиты между собой. Тенденция «великого века» состоит в том, чтобы сливать, не разделять, все, что возможно. В наше время культура на наших глазах сливается с цивилизацией, как сливается гуманитарная область знания с научной. XX век есть век соединений, центростремительной силы, век слияний. Явления рассматриваются в их цепи, и часть всегда хочет быть соединена с целым, даже если она, как это бывает в поэзии, больше целого. Еще полвека тому назад люди думали, что если дети играют в кубики и один ребенок выбирает те, на которых изображены буквы, а другой те, на которых изображены цифры, то первый — будущий лингвист и филолог, а второй — математик и физик. Теперь мы знаем, что медику больше нужна алгебра, чем латынь, что кибернетика не только касается электронных счетных машин, но в огромной степени и нашего мышления, и языка. Мы знаем, что физика и философия опираются друг на друга,[4] что симво-

[4] В западном мире это началось лет 50 тому назад. В СССР только сейчас начался этот, громадного значения процесс, который, в конечном счете, может разрушить Диамат.

лическая логика есть необходимый спутник всякого «умствования» и что лингвистические и философские проблемы решаются, как уравнения. Новое искусство, — с его переоценкой авторитетов, с переместившимся нигилизмом, с символизмом, черпающим свои образы из вселенной, которую мы, наконец, узнали, — как все области интеллектуальной жизни, имеет в себе эти центростремительные силы. Они помогают человеку жить, человеку, который стоит посередине между атомом и звездной туманностью.

Н. Берберова

ХОДАСЕВИЧ ИЗДАЛИ - ВБЛИЗИ

Плох тот критик, который в своих оценках не соблюдает различия между «это мне по душе» (или «не по душе») и «это хорошо» (или «не хорошо») — «по моему», хорошо, но все же «для всех», а не просто «для меня». Первое требование, предъявляемое критику, именно в том и состоит, чтобы он это различие соблюдал, и не поддавался искушению смешивать эти две оценки. Ни к читателю, ни к писателю мы такого требования не предъявляем. Читатель волен не читать, и тем более не перечитывать того, что хоть и «хорошо», но его не радует или не волнует. Писателю мы готовы простить неоправданную приязнь или неприязнь к другим писателям (даже и литературную, а не личную), ровно в той мере, в какой признаем своеобразие и могущество его собственного дара. Похвалы Толстого Бертольду Ауэрбаху не хоронят Толстого, хоть и не воскрешают Ауэрбаха. Гёте, к концу жизни, завоевал себе право отвергать Гёльдерлина, Клейста, Жан-Поля — величайших среди его младших современников. Непонимание поэзии Блока, столь бурно проявлявшееся Буниным, не умаляет Бунина, как не умаляет, разумеется, и Блока. Но становясь критиком, писатель (как и читатель) должен ограничить произвол своего выбора, что ему, если он это понял, сплошь и рядом вполне и удается. Лучшие критики не те, что пишут одни рецензии. Андрэ Жид едва ли не первый оценил Клоделя, Пеги, Жироду, Мишо, авторов отнюдь ему не родственных, его писаниям вовсе не созвучных. Т. С. Элиот отдал должное не только позднему Иетсу, но и Теннисону, и даже стихам своего антипода в поэзии, Киплинга. Вячеслав Иванов узнал поэта в совершенно чуждой ему Ахматовой; Андрей Белый в Ходасевиче. И если сводить критику к одним оценкам было бы нелепо, то крайняя узость или опрометчивость оценок, хотя бы и не высказанных, подразумеваемых только, все же сводит критику на нет.

Полной объективности, что и говорить, в области оценок быть не может; но полная субъективность, даже и в этой области, может и должна быть преодолена. Может и

должна. Только это не значит, что чем легче кто-нибудь ее преодолел, тем это для него лучше, тем скорей мы его сочтем, критиком, достойным доверия, или пусть хоть внимания. Такая легкость, наблюдаемая, например, в университетской среде, где изучение слова не всегда проистекает из влечения к слову, свидетельствует лишь о слабости, а то и полном отсутствии личного отношния к оцениваемому произведению или автору, в результате чего «объективность» достигается без труда, но оказывается внешней, пустой и никого в сущности не обязывающей, именно потому что она заранее готова. Иначе обстоит дело с тем, у кого есть живое чувство слова, а потому, хотя бы и колеблющаяся, вера в свое писательское призвание. Он тоже начинает с чужих оценок, с оценок воспитавшей его литературной среды, но усваивает их глубже, потому что ими определяются образцы, которым он следует, и, если ему и впрямь суждено стать писателем, его собственная — на первых порах по крайней мере — писательская манера. Критиком он может и не быть, но если он им будет, то ему придется расширить свой первоначальный горизонт и выйти за пределы тех оценок, которые определили характер собственного его писательства. Сделать это не легко, тем более что это касается и всего прошлого, пересматриваемого заново (в нормальных условиях) и приспосабливаемого к своим нуждам каждым новым литературным поколением. Но нелегкость этого дела как раз и дает ему его настоящий смысл. Плох тот критик, который узкого выбора никогда не знал, как и тот, который не дополнил его другим, более широким, включающим всё, о чем он по совести, на свой собственный страх и риск, может сказать «это хорошо», даже если «это мне по душе» он обо всем сказать не может.

Можно не любить ни Некрасова, ни Фета, или любить одного во много раз больше, чем другого, но в обоих случаях следует признать, что они поэты приблизительно равного достоинства. В первом случае признать это будет легче, во втором труднее, хотя признание это вовсе ведь меня не заставляет перестать любить Некрасова больше, чем Фета, или Фета больше, чем Некрасова. Никто мне не мешает предпочитать Достоевского Толстому, но это предпочтение еще не дает мне права «ставить» Толстого ниже, чем Достоевского. Если у меня есть та способность суждения немного издали, «со стороны», и то чувство ответственности, без которых критика превращается в каприз, я вынужден буду «ставить» этих гениев одинаково высоко, независимо от того, оди-

наково ли они мне дороги. Само по себе, такое утверждение их равенства столь же банально, как превознесение одного в ущерб другому; оно подлежит проверке; оно имеет цену, как вывод, а не как исходный пункт; однако именно в таких проверяющих, взвешивающих, «ставящих» усилиях мысли и состоит работа критика, а не в лирических извещениях о том, что к Фету у него «душа лежит», а к Некрасову не лежит. И тем не менее, хоть и нельзя отречься от этой истины, не отрекаясь от самой критики, начинается все же критика, если есть в ней жизнь, с чего то пассивного, «лежачего»: с восприятия художественного произведения (а не просто ознакомления с ним), с восприятия, при котором чужое создание это овладевает нами и мы (тем самым) овладеваем им, так что можем сказать: оно с нами слилось, стало частью нашего внутреннего мира. О стихах это верно едва ли не в большей степени, чем обо всем другом. Никогда мы их издали не поймем, если не было прежде таких, с которыми довелось нам сблизиться и сродниться. Те, что в юности пришлись нам по душе, определяют нередко до конца наших дней все наши, в том числе и отрицательные, оценки. Критику нужно бороться с этим; но и нужно, чтоб ему было с чем бороться. И пристрастие ему нужно и беспристрастие. Тем более, что поэты враждуют между собой. Особенно резко в наше время. И хрестоматийное примирение их — чистая иллюзия.

*

Поэты враждуют, потому что «поэзия» для одного значит не то же, что для другого. Без выбора нет творчества; их выборы непримиримы.

Лет семь или восемь назад стал я читать поздние стихи умершего вскоре после того Готфрида Бенна — изумительные стихи, которых не только я, но и никто, кажется, от него не ожидал — и сразу же Рильке отошел для меня куда-то вдаль, решусь даже сказать: оказался полностью зачеркнут. Но вместе с тем мне нельзя было забыть: я не поэт, и еще того менее немецкий, и уж ни капельки не Бенн. Он выбрал, он зачеркнул; я не выбирал и зачеркивать не мое дело. Мне оставалось ясно, что Рильке, в целом, явление более значительное, чем этот ставший между ним и мной поэт, да и не утратил я способности вернуться в тот внезапно затонувший мир и уж во всяком случае «отдать должное» Дуинским элегиям. Так некогда (к концу десятых годов, еще в России)

Клодель заслонил от меня всех французских поэтов, любимых мной; но постепенно они мне стали видны опять, да и никогда не собирался я «развенчивать» Малларме, Бодлера или Нерваля. И все же это согласие, это слияние с новым выбором, с поэзией, которой прежде не было, которая прежней поэзией отнюдь не подразумевалась, есть нечто несравнимое ни с чем, опрокидывающее все наши предвзятости, есть наибольшая близость к поэзии, возможная для нас, когда мы сами не поэты. Верно это и о впервые открывающихся нам поэтах прошлого, но о современниках, живущих в том же мире, что и мы, еще вернее. Верно о стихах на всех языках, которые мы знаем, но во сколько раз верней о стихах на языке, в котором и мы живем, вместе с написавшим их поэтом! Поэзия Ходасевича была последней по времени, на русском языке, что дала мне эту близость к существу поэзии.

До того, дал мне ее Блок, зачеркнувший многих; потом Анненский, Мандельштам, Ахматова (каждый по разному, частично, лишь слегка заслоняя один другого, лишь слегка отодвигая Блока в прошлое). В недавнее время читал и перечитывал я с полным согласием, с полным участием стихи последних лет Пастернака и стихи последних лет Георгия Иванова, поэтов, чьи более ранние стихи не вполне приемлю я и теперь, а также, совсем недавно, «Линии» Игоря Чиннова; но того, что дала мне когда то «Тяжелая лира», того, что дал бы мне Бенн, если бы писал по-русски (или того, что дал Пастернак Цветаевой, что дали Пастернак и Цветаева Святополк-Мирскому, не мне), этого я после Ходасевича ни от кого больше не получал. Признание это, как и все только что сделанные признания, конечно еще не критика, но признáюсь я в том, без чего и критики быть не может, и за что, как критик, я вполне готов нести ответственность. Пристрастия мои всегда старался я проверять бесстрастно и беспристрастно. Также и отталкиванья. Критик — тот же аптекарь, без весов ему не обойтись. Нет в его ремесле выверенных раз навсегда, абсолютно точных весов; пусть проверит свои, а проверив, пусть верит им, пусть мерит одной мерой всегда, а не сегодня одной, завтра другой, как это делают, увы, столь многие. Ходасевич и сам от весов не отрекался, разными мерами не мерил. Своим стихам он цену знал, но знал также, как и я это знал вместе с ним, что поэт он меньше Блока. Достаточно силы, однако, было в его стихах, чтобы поэзию заново определить и эту новую противопоставить всякой другой поэзии. Именно эта, не существовавшая раньше поэзия и захватила

меня, когда я ее узнал, и стала для меня, на время, едва ли не поэзией вообще. Теперь, как посмотрю назад, мне ясно, что на своем веку я больше читал Пушкина, Тютчева и Баратынского, не только чем Ходасевича, но и чем всех только что перечисленных поэтов вместе взятых. Не будь однако того общения, того слияния с родной, русской поэзией, с поэзией нашего пусть и омерзительного века, которое Ходасевич в последний раз и всего сильней дал мне испытать не были бы, я уверен, и те старые поэты так незаменимо, так горячо мне дороги.

Кончаю признания, возвращаюсь в аптеку, где мне и место. Беру весы. Они мне, как прежде, говорят: Ходасевич — большой поэт; Ходасевич — один из больших русских поэтов нашего времени. Как стыдно, какой стыд для всех нас, что до сих пор самое обстоятельное, что о нем написано, это моя статья в «Современных Записках» 1928 года! А иностранные историки нашей поэзии, уж не о Суркове ли они готовят диссертации? (Если же о Бальмонте, то и это ни к чему). Да ведь и не только поэтом был Ходасевич. Похоже, что никто не читал его «Некрополя», его «Державина», лучшей биографии на нашем языке; далеко не все его превосходные статьи собраны в томе, выпущенном Чеховским издательством. Никто повидимому и не подозревает, что он был мастером русской прозы. Мы то, впрочем, и подозревать не можем, потому что не избавились еще от провинциальнейшего предрассудка, согласно которому в прозе нет искусства, если нет вымысла. Иностранцы в этом пункте могли бы оказаться прозорливей; но они изучают, оценивать не решаются, а то и считают, что им нужно сообразоваться с оценками, провозглашаемыми в СССР. Там собираются, как будто, издать стихи Ходасевича, но не полностью и не отдельно, а запихав его с полдюжиной других, столь же ободранных авторов в синий томик «Библиотеки поэта». Что ж, пусть издают, быть может в этом месиве кто-нибудь и разберется. За рубежом «Собрание стихов» 27-го года разошлось таки лет через двадцать и Н. Н. Берберова воспроизвела его нынче в хорошо напечатанной (хоть и немного скучного вида) книге, за что ее надо очень благодарить. Тем более, что она дополнила старый текст некоторыми невключенными в него или позже написанными стихами, а также ценными примечаниями, извлеченными главным образом из пояснений автора, внесенных им в принадлежащий Н. Н. Берберовой экземпляр того старого издания.

Вот она, эта книга; раскрываю ее. Читаю напечатанные другим шрифтом, по другой орфографии, такие знакомые,

столько раз перечитанные стихи. Что же они постарели, померкли? Ничего с ними не случилось. Они также хороши, как когда я читал их в первый раз.

Палкой щупая дорогу,
Бродит наугад слепой,
Осторожно ставит ногу
И бормочет сам с собой.
А на бельмах у слепого
Целый мир отображен:
Дом, лужок, забор, корова,
Клочья неба голубого —
Всё, чего не видит он.

Как тихо, скромно, просто! Почти только картинка из детской книжки да горько-иронический афоризм: у слепого на бельмах всё, что мы видим, всё, чего он не видит. И какое это «всё» деревенски обыкновенное! Ничего лишнего. Никаких красот. Слова сплошь прозаически- верные, предельно точные. «Осторожно ставит ногу». Небо не какое-нибудь синее-синее, а так, голубое, да и всего лишь клочья голубого. Отчего же, однако, так ввинчиваются в сознание эти стихи? Оттого что их смысл неотделим от незаметной, настойчивой, однострунной их музыки. Все рифмы на о, и кроме того, прислушайтесь, везде это о, большинство ударений падает на о (все четыре в четырехударной строчке, третьей от конца): бродит, осторожно, бормочет, дом, лужок, корова, клочья, всё, чего. Выньте этот звук, афоризм и картинка останутся, исчезнет поэзия, — та, что возрастает, мы слышим, с каждым стихом, и пребудет в нас, когда отзвучит последний:

Дом, лужок, забор, корова,
Клочья неба голубого —
Всё, чего не видит он.

Работа над этим стихотворением была закончена через шесть месяцев после того, как Ходасевич ее начал. Зато и через шестьсот лет, если люди будут людьми и русский язык не умрет, найдутся такие, которых кольнут эти стихи прелестью своей и болью. Большой труд был положен на достижение того, что здесь достигнуто, но труд этот — не что-то другое, а то же самое, что талант, и не сводится он, конечно, к тому, чтобы подобрать как можно больше слов с ударением на о (ве-

роятно поэт вовсе не об этом и думал). Как и не измеряется этот труд временем. Так же безошибочно выверен каждый звук, взвешена каждая интонация в более раннем коротком стихотворении, написанном по словам поэта в одну ночь, размером горациева «э́кзегй монуме́нт' э́ре пере́нниу́с»

Сладко после дождя теплая пахнет ночь.
Быстро месяц бежи́т в прорезях белых туч.
Где-то в сырой траве часто кричит дергач.

Вот к лукавым губам губы впервые льнут,
Вот, коснувшись тебя, руки мои дрожат...
Минуло с той поры только шестнадцать лет.

Рифмам здесь не место. Они заменены не диссонансами (как в своем примечании не совсем удачно выразился автор), а полурифмами с одинаковыми согласными, при обязательном различии гласных, что приводит к нежнейшему, потушенному точно при помощи левой педали, созвучию. И как хороши в первой строке эти органные а о о, о а о! Или эти певучие у, в четвертой и пятой, которых в первом трехстишии не было (кроме глухого, быстрого в конце второго стиха), после чего музыка умолкает в последней, как бы отодвигающей ее вдаль строке, в нейтрально звучащем распределении ее гласных (и согласных).

Часто у Ходасевича это слияние звука и смысла заслоняется отделимым от звука сюжетным замыслом его стихотворений, так что и благожелательный читатель не всегда это слияние ощущает, а неблагожелательный склонен будет говорить о его отсутствии. Скрипичным ариям Ходасевич не доверяет; поэзию прячет. Протокол, афоризм — надо вслушаться, а то и не заметишь ничего кроме них:

Было на улице полутемно.
Стукнуло где-то под крышей окно.

Свет промелькнул, занавеска взвилась,
Быстрая тень со стены сорвалась —

Счастлив, кто падает вниз головой:
Мир для него хоть на миг — а иной.

Кто то выбросился из окна. Берлинская газета не могла бы сообщить об этом короче. Потом о мире, о себе: кратчай-

шая формула предельного отчаяния. Принять к сведению? Только это и остается, если мы не услышали, как разорвалась на-двое третья строка (еще сильней от повтора ударяемых слогов ве, ве) и как тень, сорвавшаяся со стены, упала, провалилась в раскрытое а слова «счастлив», в это а, которому как эхо отвечает та же гласная в слове «падает».

Жестокая пронзительность таких стихов (преобладающих особенно в «Европейской ночи») всегда отталкивала многих, даже из тех, кто называл себя поклонниками этого поэта. Признавая его мастерство, они отстранялись от его поэзии, частью по непониманию, частью же из боязни принять ее совсем в серьез, чего она требовала, как раз потому что была подлинной поэзией. Половинчатое свое признание иные из них и совсем сводили на нет, противополагая мастерство (измерявшееся ими не особенно строгой мерой) какому-то достижимому будто бы и без него поэтическому волшебству, следы которого они порой склонны были находить у стихотворцев явно третьесортных. На самом деле, в поэзии, как в любом искусстве — увы или слава Богу — мастерство есть волшебство, а волшебство есть мастерство, и Ходасевич этим отнюдь не ремесленным, волшебным мастерством полностью обладал, ни малейшего не проявляя в нем изъяна. Есть поэты больше него, — по крылатости, как Блок, по всечеловеческой широте чувства, по законодательной власти над стихом и языком, но в пределах своего мастерства и волшебства, он настолько же поэт, насколько и они поэты. Если попрекать его узостью, столь свойственной большинству поэтов нашего века, то найдется у него достаточно глубины, чтобы эту узость оправдать. Если корить его за мучительную мрачность его чувства жизни, то ведь есть у него и что-то невесомо-легкое во всем его жизненном составе, есть любовь и нежность и жалость, чтобы уравновесить этот мрак. Какой же еще поэт вызывал у нас такую улыбку — именно улыбку — жалости и боли, как он, когда мы читаем его «Жизель»:

Да, да! В слепой и нежной страсти
Переболей, перегори,
Рви сердце, как письмо, на части,
Сойди с ума, потом умри.

И что ж? Могильный камень двигать
Опять придется над собой,
Опять любить и ножкой дрыгать
На сцене лунно-голубой.

Или есть другие поэты, умевшие так же человечно, так же совестливо сочетать чувство избранности с чувством ничтожества, чувство житейскости с чувством надземности, как он в этих стихах о полете и срыве, о срыве и полете, которых было бы достаточно, чтобы сделать его незабываемым, если бы мы не были столь забывчивы:

Перешагни, перескочи,
Перелети, пере- что хочешь —
Но вырвись: камнем из пращи,
Звездой, сорвавшейся в ночи...
Сам затерял — теперь ищи...

Бог знает, что себе бормочешь,
Ища пенснэ или ключи.

Стихи эти характерны для Ходасевича, как своей сюжетностью, так и своим сюжетом, связанным с основной темой всей лирики его зрелых лет. Сюжетностью я называю не просто наличие в стихотворении чего-то, что поддается резюмированью в немногих словах (вроде, например, «мне грустно», «я влюблен», «я умру», «жить стоит», «жить не стоит», «утро за окном и во мне», «за окном утро, во мне вечер»), а укорененность его в гораздо более сложном тематическом замысле, передаваемом довольно легко «своими словами» (но отнюдь не двумя-тремя), причем осуществленный этот замысел, этот сюжет, не меньше, чем сама словесная ткань, определяет поэтический смысл стихотворения, тот смысл, который своими словами уже никак невозможно передать. Существует фельетонная сюжетность, губительная для лирики (и для поэзии вообще); ее не мало у Некрасова, но у него же, да еще у Анненского, у Случевского, есть и образцы настоящей лирической сюжетности. Она вообще редка. В недавнее время, на Западе, единственный и величайший мастер ее — Бодлер. Оттого то столь усердно и переводил его у нас бедный П. Я.: он принял его сюжетность за фельетонную, и в самом деле превратил его на русском языке в автора более или менее сатанинских и бунтарских фельетонов, похожего не на себя, а на своего подражателя, грубоватого стихотворца Роллина́. Непонимание поэзии Ходасевича сплошь и рядом бывает вызвано этим же самым смешением лирической сюжетности с фельетонной; точно также, как непонимание поэзии Некрасова, с той лишь разницей, что фельетонов у Ходасевича вовсе нет (различие

сюжетов нисколько этому сходству непониманий не мешает). Нечувствительный к поэзии читатель судит о Ходасевиче, как уже было сказано, по сюжетам, а чувствительный объявляет, что сюжеты мешают ему чувствовать поэзию. Этим он, однако, лишь дает нам знать, что восприимчив исключительно к бессюжетной лирике (так что у Бодлера полагалось бы ему ценить только три-четыре стихотворения, да еще отдельные строчки других стихотворений) и кроме того заставляет нас усомниться в качестве его слуха вообще, поскольку он не способен расслышать включенности сюжета в звуко-смысловое единство стихов Ходасевича.

Почти всегда в стихах этих, даже самых коротких (вроде приведенных мною, кроме второго) намечена бывает вполне определенная ситуация, бывает что-то рассказано, — анекдот, сказал бы фанатический приверженец «чистой» поэзии; но в том-то и дело, что этот «анекдот» превратился в поэзию, или (что то-же) из этой — особой — поэзии возник. Тем более это так, что начиная с 1917 года сюжеты эти чаще всего варьируют ту основную тему, которую впервые высказывает немного бледное восьмистишие, начинающееся строками:

В заботах каждого дня
Живу, — а душа под спудом
Каким-то пламенным чудом
Живет помимо меня.

Тема эта еще только намечается в «Путем зерна», но пронизывает насквозь «Тяжелую лиру» и в наиболее сумрачном облике своем наполняет «Европейскую ночь», где воспето самое это «под спудом», а чудо устремленной в другой мир или живущей в нем души только подразумевается, — раз она всё еще поет. Когда, много лет назад, я писал об этой теме и вместе с тем отрицал сколько-нибудь глубокую связь Ходасевича с нашим символизмом, я не учитывал того, что сама эта тема из символизма идет, им была поставлена, провозглашена, была в сущности его программой. Поэт стоит на грани двух миров, и будучи толкователем, а то и создателем образов или знамений того мира, явленных в нашем, он уже тем самым меньше принадлежит нашему миру, чем тому. Так учил символизм; не очень ответственно учил и не очень внятно. Трагедией Блока был подобный страшному пробужденью внезапный провал из того мира, обернувшегося выдумкой, в наш; провал, которого он нашему миру, да пожалуй и другому,

пусть и подлинному, не простил, и которому он обязан вместе с тем лучшими своими стихами. Блок был младшим из символистов; Ходасевич был на шесь лет моложе, но вырос, будучи москвичем, в той насыщенной символизмом литературной среде, о которой Блок, покуда он питался Фетом и Владимиром Соловьевым, понятия не имел. Недаром, после того, как вышел «Некрополь», надлежало бы запретить историкам нашей литературы писать о символизме, не ознакомившись с этой книгой, особенно с главами ее о Самуиле Киссине (Муни), об Андрее Белом, о Нине Петровской. В стихотворстве своем Ходасевич защитился от символизма Пушкиным, а также — тому свидетельство «Счастливый домик» — интимностью тона, простотой реквизита и отказом от превыспреннего словаря. Но полноту своей поэзии, все волшебство своего мастерства он обрел лишь с тех пор, как тема символизма, очищенная им от того, что в ней было роскошествующего, претенциозного и без веры принимаемого на веру, стала е г о темой, потому что он, как никто, пережил ее — в ее правде — взаправду, а не на словах.

*

Тема эта вошла в самую сердцевину его слова; оттого то и нашлись у него слова, чтобы воплотить ее в них, как ее еще никто не воплощал. Но тут я снимаю фартук, выхожу из аптеки. Не стану больше, ни взвешивать ударения, ни подсчитывать звуковые повторы, ни даже определять, сколько в точности меда надо примешать к цикуте, чтобы из этой смеси, в двадцатом веке, получить поэзию. Я видел собственными глазами, как жил Ходасевич этой темой, как не в одних стихах его, но и в жизни, она жила. Довольно говорить о нем издали. В дружбе с ним мне было дано не только прикоснуться к новому образу поэзии, — для этого достаточно было бы его стихов, — но и почувствовать совсем вблизи тот живой родник, откуда эта поэзия рождалась. Надо мне об этом сказать, хоть немного, сколько смогу. Я очень любил Ходасевича; поэтому, после его смерти, мне было легче молчать, чем говорить о нем. Но стоя двадцать два года назад над его открытой могилой я все-таки знал, что следовало бы подумать вслух о том, о чем я тогда думал, и о чем он писал в незаконченных своих стихах:

Нет, не понять, не разгадать:
Проклятье или благодать,

Но петь и гибнуть нам дано,
И песня с гибелью одно.
Когда и лучшие мгновенья
Мы в жертву звукам отдаем,
Что ж? Погибаем мы от пенья?
Или от гибели поем?

Не с того я начал, что возымел приязнь к Ходасевичу. Сперва я полюбил его стихи. Полюбив их, я попросил в начале 1922 года, кажется в марте, покойного Ю. Н. Верховского свести меня к нему в Елисеевский дом на Невском, «Дом Искусств», где он тогда жил. Он принял нас в комнате, где незадолго до того была написана «Баллада», и прочел нам ее, а также совсем недавно написанную «Улику» («Гость» в ней — тот же Верховский) и еще несколько стихотворений. Я и раньше слышал его чтение стихов (очень хорошее: один Блок читал лучше, совсем необычайно). «Баллада» больше, чем что-либо, посодействовала тогдашнему расцветанию его славы, может-быть потому, что она не так уж характерна для него: поэзия, в обычном или, скажем, в Блоковском смысле слова, меньше в ней спрятана. Меня особенно пленила «Улика»; пожалуй, и чтение было более к ней подходящим, более прячущим (в чтении Блока «декламации» точно также не было и в помине, но душевность поэтической стихии сильней была обнажена). И еще, в самом авторе этих стихов, пленило меня что-то легкое, летучее, сухое. Как рыхл, как безкостно-благодушен был милый Юрий Никандрович рядом с ним! И теперь еще, звук, который слышу, когда о Ходасевиче думаю, остается все тот же:

Тихонько ложечкой звеня,

а образ вижу, нет, не тогдашний, и все же связанный с тогдашним: не говорю с ним, не в лицо ему смотрю, такое постаревшее, осунувшееся в последние годы, а с террасы парижского кафе гляжу, как он проходит мимо и любуюсь его легкой, молодой — точно и не по земле идет — походкой. Сейчас его окликну и он сядет за столик рядом со мной.

В Петербурге, до его отъезда, я видел его еще два-три раза, и несколько раз осенью того же года, в Берлине. Затем наступил более, чем двухлетний перерыв. С 1925 года до смерти я постоянно с ним виделся в Париже. Ни разу не пробежала между ним и мной никакая кошка, — ни одна из

кошек, которых так нежно он любил. Той дружбы не могло быть между нами, какая связывала его когда-то с его ровесником Муни. Я был на девять лет моложе, прежнего его мира не знал, в литературе был новичком. Не говорю о разнице характеров: она дружбе скорее помогает; но и наши вкусы, наши жизненные привычки были во многом различны. Все же, думаю, он согласился бы сказать, что я был ему другом. Был и он мне другом. Лучшего друга никогда у меня не было.

Утверждали, что у него был «тяжелый характер». Больше того: называли его злым, нетерпимым, мстительным. Свидетельствую: был он добр, хоть и не добродушен, и жалостлив, едва ли не свыше меры. Тяжелого ничего в нем не было; характер его был не тяжел, а труден, труден для него самого, еще больше, чем для других. Трудность эта проистекала с одной стороны из того, что был он редкостно правдив и честен, да еще наделен, сверх своего дара, проницательным, трезвым, не-склонным ни к каким иллюзиям умом, а с другой стороны из того, что литературу принимал он нисколько не менее всерьез, чем жизнь, по крайней мере свою собственную. От многих других литераторов отличался он тем, что литература входила для него в сферу совести так же, если не больше, чем любые жизненные отношения и поступки. Шулерства он конечно и в картах (любимых им) не жаловал; в литературе он от него буквально заболевал, даже если его лично оно вовсе не касалось. Не выносил он кумовства, прислужничества, устройства своих частных дел под покровом якобы литературных согласий или разногласий, а всего этого в эмигрантской литературе (особенно в парижской между двух войн), вследствие узости ее круга, было еще больше, чем в прежней. Его возмущало покровительство, оказываемое иногда старшими писателями младшим, не по убежденности в их таланте, и даже не всегда «по дружбе», а просто так, «по доброте душевной», да еще из безразличия ко всему в литературе, за исключением их места в ней. Такого безразличия он не понимал и простить его не мог. Оскорбляла его и сама по себе глупость или бездарность, беспрепятственно проникавшая в печать, а уж поощрение ее, при несправедливости — чего доброго еще и сознательной — к подлинному таланту, угнетало его до крайности, мучило, язвило. Когда же он был уязвлен, тогда и в самом деле хотелось ему «мстить», хотелось, чтобы покаран был обидчик литературной совести, а значит и его обидчик, хотя бы ему самому при этом никакой обиды и не было нанесено. Чувствителен он был и к напад-

кам на себя, но преимущественно к таким, в которых распознавал мотивы низменные, литераторские, но внелитературные. Почуя их, он терял чувство меры, он становился сам несправедлив. Терпимым в этих делах он действительно не был, боясь больше всего, как бы его родной дом, единственный, который у него остался, дом русской литературы, не превратился в дом терпимости.

Готов признать, что страх этот был преувеличен, но что он был вовсе не обоснован, признать не могу. И кроме страха была скорбь, всё за ту же литературу, разорванную надвое, засоренную — т а м казенщиной, з д е с ь мякиной, подмешиваемой к хлебу, за недостатком хлеба. Была обремененность постоянной, хочешь-не хочешь, скаредно оплачиваемой газетной работой. Была болезнь. Были раздражение, нервность, страшная неврастения, вызывавшиеся всем этим. Слишком готов был он, быть-может, вычеркнуть из своего мира людей, казавшихся ему ловкачами или пошляками. Да, он бывал несправедлив. Но как он был несчастен! Особенно в последние десять лет жизни, когда почти не писал больше стихов. Писать их была боль и радость; не писать — боль, боль и еще боль. Мрак находил на него. Помню, как я раз больше часу просидел с ним на скамейке у церкви Мадлен, проводил его домой, потом привез к себе: боялся, как бы в ту ночь не наложил он на себя руки. И не только стихов, своего «Пушкина» не мог он писать: всего две первых главы остались от этой книги. Он годами ее обдумывал; ее ждали от него; нет и сейчас никого, кто эту биографию мог бы написать лучше. Десять лет его лечили от всевозможных желудочных болезней, когда у него были камни в печени. Операция произведена была слишком поздно. Еще надо удивляться, что в эти годы закончил он «Державина» и написал так много замечательных литературных статей. — К началу этого десятилетия относятся чудесные, страшные и неоправданные на первый взгляд стихи, озаглавленные «Я»:

Когда меня пред Божий суд
На черных дрогах повезут,

Смутятся нищие сердца
При виде моего лица.

Оно их тайно восхитит
И страх завистливый родит.

Отстав от шествия, тайком,
Воображаясь мертвецом,

Тогда пред стеклами витрин
Из вас, быть может, не один

Украдкой так же сложит рот,
И нос тихонько задерет,

И глаз полуприщурит свой,
Чтоб видеть, как закрыт другой.

Но свет (иль сумрак?) тайный *тот*
На чудака не снизойдет.

Не отразит румяный лик,
Чем я ужасен и велик:

Ни почивающих теней
На вещей бледности моей,

Ни беспощадного огня,
Который уж лизнул меня.

Последнюю мою примету
Чужому не отдам лицу...

Не подражайте мертвецу,
Как подражаете поэту.

Баратынский убийственно уподобил подражателя нищенке, просящей подаяния «с чужим ребенком на руках». Стихи Ходасевича еще убийственней; столь убийственны они, что перехватывают через край, бьют не в цель, а сквозь нее, в какое-то метафизическое обезьянство, предметом которого ни этот, ни какой бы то ни было другой отдельный поэт не был и быть не мог. Да никаких упорных, последовательных подражателей у Ходасевича и не было. Ему подражали, в отдельных стихотворениях, столь незначительные, большей частью авторы, что для них и стихи Баратынского были бы слишком крупнокалиберны; тут подходила скорей эпиграмма Пушкина «Собрание насекомых». Никакой злостной преднамеренности в этих подражаниях тоже не наблюдалось. Их и за-

мечать, не то что сердиться на них, не стоило, так что эта стрельба из пушки по воробьям может объясняться, в житейском плане, лишь измученностью, крайней раздраженностью. Думаю, однако, что в стихотворении этом есть и другой смысл, быть может не вполне осознанный — не знаю, я об этом с автором не говорил — но который мне кажется настоящим его смыслом. Его следовало бы озаглавить не «Я», а «Поэт»; оно говорит не о подражании Ходасевичу, а о подражании поэту, — подлинному поэту, под которого подделываются неподлинные. Таких бывает много всегда, таких знавал конечно и Ходасевич. Дело не в том, что они подражают чьим-то стихам: подражательность такого рода, особенно в молодые годы, сочетается даже и с гениальностью. Дело в том, что они принимают позу подлинного поэта, не имея на это права, и являют этим не просто убожество таланта, а изъян совести. Они подражают жизни поэта, тому слиянию жизни и творчества, которое определяет его личность и судьбу. Они и в самой смерти хотели бы ему подражать, потому что и в смерти остается он поэтом. Но это им не удастся. Поэт им это запретит. Смертью своей он запечатлел подлинность своего призвания.

Ходасевич остался поэтом, когда поэзия его умолкла. Он был до последней минуты тем, кем он был всегда. И та тема, что пришла к нему, что его пронзила, когда ему было тридцать лет, она и без стихов до конца осталась его темой. Больше, чем болезнь и чем невзгоды, больше, чем литературная грязца и канитель, мучила его та несовместимость души и мира, та неугасимость сияния, тонущего и неутопающего во мраке, но бессильного его рассеять, которая животворила его поэзию, а жизнь калечила и мертвила. Тяжело ему было, но он не тяжелел. Это сияние, оно в нем сияло. Никогда, до самой смерти, не исчезал в нем и тот поэт, что писал когда то «Анюте»:

На спичечной коробке
Смотри-ка — славный вид:
Кораблик трехмачтовый
Не двигаясь бежит...

или еще недавно составлял напутствие коту Мурру;

В забавах был так мудр и в мудрости забавен —
Друг утешительный и вдохновитель мой!
Теперь он в тех садах за огненной рекой,
Где с воробьем Катулл и с ласточкой Державин...

Как любил он Пушкина; с какой нежностью, но и с каким трезвым учетом человеческих его слабостей, без идолопоклонства, говорил о нем! Как хорошо рассказывал о тех, кого больше не было на свете: без иллюзий, со строгим судом, тем же, каким, внутри себя, судил себя. Ум его был неподкупен, как и совесть. Он мучился, но в доме его был мир. В его комнате, всегда опрятной, светлой — простой его стол, чернильница, перо, черная клеенчатая тетрадь. Когда вспоминаю о нем, только этот свет, только то сияние и вижу.

Можно было бы списать для его могилы надпись с могилы Свифта: «Он ушел туда, где ярость возмущения не может больше терзать его сердце». Но лучше начертать на ней сказанное навеки слово Августина:

БЕСПОКОЙНО СЕРДЦЕ МОЕ, ПОКУДА НЕ УПОКОИТСЯ В ТЕБЕ.

В. Вейдле

ОБ ЭСТОНСКОЙ ПОЭЗИИ

Шестидесятые годы прошлого столетия в истории Эстонии называются Временем Пробуждения. Это было время, когда эстонец мог и почувствовать и назвать себя эстонцем. Правда, приходилось еще отдавать дань отживающему прошлому. Чтобы получить образование или обеспечить себе социальное положение эстонец должен был брать немецкое имя: Крейцвальд, Фельман, Янсен, Эспенштейн. Но эстонец Фельман собирает эстонские народные песни и легенды и воссоздает забытую народную мифологию. Крейцвальд собирает эстонские песни и былины о Калевипоэге, сыне легендарного короля независимой Эстонии — Калева. Появление в 1861-ом году «Калевипоэга» как бы пробуждает эстонский народ от многовекового сна. У эстонцев теперь есть эпос и начало истории, — можно начинать творить художественную литературу.

Ю. В. Янсен — учитель по профессии — пишет первое в эстонской литературе «вечное» стихотворение: «Моя родина, мое счастье и радость». Это далеко еще не поэзия, это только несложная версификация, но вечность этому стихотворению обеспечена. В независимой Эстонии оно становится национальным гимном.

Время Пробуждения, утро эстонской поэзии неразрывно связано с именем одного из первых поэтов — Лидии Койдула (1843—1886). Имя это символическое. Койт — утренняя заря. По скромности своей Лидия Койдула сама не выбрала бы себе такого знаменательного имени, но так ее назвали ее собратья по перу. Долгое время в эстонской поэзии самые мужественные и героические стихи писала эта скромная и женственная поэтесса. До Густава Суйтса, уже нашего современника, никто кроме Койдула не писал таких сильных патриотических стихов. Словно она боялась писать о чем-нибудь другом. Природа, любовь, личная жизнь — все это казалось как-бы слишком незначительным по сравнению с проснувшимся в народе самосознанием, которое она чувствовала себя призванной воспеть. У нее даже роса на цветах — это слезы о горькой доле родины.

Язык Лидии Койдула предельно прост. Рядом с позднейшими поэтами, писавшими уже на обновленном эстонском языке, ее словарь кажется бедным, часто переводным. Но говорить об эстонской поэзии, не упомянув имени Койдула — нельзя. Беря новую тогда для эстонской поэзии форму рифмованного стиха, Койдула использует в своем творчестве и элементы народной песни. Характерное для эстонского языка ударение на первом слоге придает ее стихам романтический пафос. Позже, когда Лидия Койдула жила в далеком Кронштадте, ее поэзия освободилась от этой напряженной торжественности, стала проще, сердечнее, богаче. Но тема остается та же, и даже предсмертные стихи Койдула посвящены ее единственной любви — родине, Эстонии.

После Койдула место «первого поэта» ненадолго заняла Анна Хаава (Эспенштейн) (1864-1957) — нежная лирическая поэтесса. Ее родина меньше. Это всего лишь родной хутор, углы родного дома. Но все это — эстонское, хотя самой Эстонии, как государства, еще нет. Ее патриотическая поэзия — это горькое сиротство в родном доме: — «О, родина! — Лишь кров над головой, да труд рукам».

Анна Хаава пишет уже и о личных чувствах. Ее песни о скромной безнадежной любви стали теперь народным достоянием. Их поют, часто не зная автора.

С поэтами Времени Пробуждения — Анной Хаавой, Эдуардом Сээтом, Якобом Таммом и многими другими кончается детство эстонской поэзии. В этот период поэт был ближе к понятию просветителя, народного учителя. И так воспринимал его эстонский народ. Поэты Времени Пробуждения росли вместе с народом. Это было то благословенное время, когда поэту не нужно было задумываться для кого и зачем он пишет. Поэт писал и отдавал свои произведения в протянутые к нему руки.

Юхан Лийв (1864-1913) был первым поэтом, до которого не дорос еще в то время эстонский читатель. И его поэзия родилась из чувства сиротства в родном доме. Он на самом себе ощущал тяжесть шестисотлетнего рабства. Он не воспевал родину, как Койдула, не пел о ней как Хаава; его родина не была прекрасной легендарной страной Сээта и Тамма.

Черен потолок в нашем доме,
Да, черен и закопчен.
Там паутина и сажа,
Сверчки, тараканы и — сон...

Он видел немало плача,
И много ссор не раз,
Так много-много боли
Господь, помилуй нас.

(«Черен потолок в нашем доме».
Перев. *И. Северянина),*

Юхан Лийв первый увидел родину без прикрас. Для него красота не в романтических закатах, его красота проще и глубже, и вместе с тем символичнее, и может быть поэтому она не была понятна тогдашнему читателю. Для эстонского читателя того времени черный потолок не мог быть предметом поэзии. Но Юхан Лийв писал, что его «глаз лучшего и не вынесет».

Язык Лийва также прост, как у других поэтов его времени, но сила выражения иная. Она сказывается даже в таком описательном стихотворении, как «Мороз». К сожалению, переводы на русский плохо передают эстонскую поэзию. Динамичность эстонских стихов с их квантитативным ритмом разбивается разноударностью русской речи. Исчезают и звучные ассонансы и аллитерации.

Трещит от холода сосна,
Во сне поскрипывает ель...
Багрово-красная заря
Выглядывает из-за туч,
И пар седой морозно жгуч!
Все тихо в чаще снеговой,
Лишь раздается волчий вой,
Лишь лоси горестно мычат
И ждут, когда пойдет на спад
Ночной, все крепнущий мороз,
Когда займется новый день...

(«Мороз». Перев. Л. Тоома).

Современники не были готовы к такой поэзии. Они еще учились читать, но Лийв был не учителем, а поэтом. Его стихи долгое время не находили издателя, пока (уже в 1909-ом году) литературное объединение нового поколения «Молодая Эстония» не взялось за их публикацию. Передавая свои стихи издательству, Юхан Лийв писал:

Песни мои ужасны.
И в сердце ужас тая
Я знаю — вечно несчастна
Будет судьба моя.

Юхан Лийв знал, в чем ужас его судьбы. Он чувствовал приближающееся, уходящее и вновь возвращающееся безумие. Лийв заболел очень молодым и не обманывался насчет своей болезни. Когда наступало просветление — писались сильные стихи. В них был ужас душевной болезни и ужас закрепощенной родины.

Теперь Юхан Лийв стал классиком. Он создал стихи, хоть формально и не равноценные, но очень своеобразные по красоте метафор и эмоциальной непосредственности. Он по праву считается первым полноценным эстонским поэтом. К концу жизни тень душевного недуга совершенно омрачила разум поэта. В преддверии наступающего безумия он писал:

Медным было небо надо мною,
Подо мной — железная земля.

С Юханом Лийвом эстонская поэзия вошла в зрелый возраст. И все же она продолжала оставаться провинциальной, расчитанной на деревенского читателя, которого нужно было учить и наставлять.

Настоящая эстонская литература начинается с литературного объединения «Ноор Ээсти» — Молодая Эстония. Программу этого объединения можно было бы сформулировать так: «Наши деды и отцы учили народ читать, просвещали его. Мы же хотим освободиться от этих педагогических обязанностей. Мы хотим говорить и писать то, что думаем, и нам все равно, поучительно это для народа или нет».

Младо-эстонцы открывают литературные богатства Запада и Востока, и даже Севера. До сих пор эстонская поэзия питалась преимущественно немецкой и русской поэзией; теперь молодые поэты знакомятся с французской и финской. Сближение с этим старшим северным братом было пожалуй даже судьбоноснее. Можно предположить, что самое название «Ноор Ээсти» взято от финнов «Нуори Суоми» — Молодая Финляндия, если вообще нужно заимствование в таком само собой разумеющемся названии. Оно просто не могло быть иным, если его начинали «гимназисты», как их называет известный эстонский романист и критик Карл Ристикиви.

До «Молодой Эстонии» эстонская поэзия была чем-то вроде хрестоматии для народа. И хотя младо-эстонцы и провозгласили: «нам все равно, поучительно это для народа или нет», все же и они не избавились от учительства. Только теперь они стремились привить народу эстетические чувства,

дать не провинциальную, а уже поэзию европейского уровня. «Больше культуры! Больше европейской культуры! Останемся эстонцами, но будем и европейцами».

Движение «Молодая Эстония» возглавлял молодой поэт Густав Суйтс (1883-1956). Его первые стихи, еще до «Ноор Ээсти», вошли в сборник «Лучи» под псевдонимом Кустас Вахури. Он был тогда гимназистом императорской гимназии и под своим именем не рисковал печататься. Позже, уже под его именем, вышла первая книга его стихов «Огонь жизни». Название задорное, но и огня и жизни было там в изобилии. В стихах этого сборника была большая смелость и много молодости. Элементы своей поэтики Густав Суйтс брал от символистов, и в частности от Ф. Сологуба. Прежде учительная и однотонная эстонская поэзия заиграла многокрасочностью. Это не нравилось старым и восхищало молодых.

Огонь жизни горит, как солнце в небе,
Огонь жизни гремит, как гроза.

Новой в поэзии Густава Суйтса была и настоящая мужественность. Мягкий лирический тон царил в эстонской поэзии со времен устного народного творчества. Потом лучшими поэтами были женщины. И вот, наконец, зазвучал мужской голос:

Молот — свисти,
Горн — разгорайся.
Эй, парень, угли
К горну неси.
Меха раздувай, старайся.
Пламя — ярче гори!
(«Молодые кузнецы»).

Старики покачивали головой, а молодые декламировали:

Еще растем, мой сверстник молодой,
И ждем, когда настанет час
И тем, кто видит сны сейчас
Мы прогремим — на бой!
(«Песня молодых»)

Покачивания голов усилились, а у многих перешли в возмущение, когда дело дошло до любовной лирики Густава Суйтса. К такой чувственности эстонский читатель был не подготовлен. Чувственность вообще не в стиле этого сдер-

жанного народа. А после нежных стихов Анны Хаава читать о том, что настало «время от страсти пьянеть» — для старшего поколения было невыносимо. Но для молодых «Огонь жизни» Суйтса стал откровением. И хотя этот сборник совсем не характерен для позднего Суйтса, он очень характерен для того времени.

Следующий сборник стихов Густава Суйтса «Земля ветров» опять привлек общее внимание, но уже по-иному. После тяжких событий 1905-го года Суйтс уходит в добровольное изгнание. Он уехал в Финляндию и с перерывами жил там до времени независимости Эстонии. Некоторые критики пытаются этим уходом объяснить новый тон его поэзии. Но объяснять внутреннее внешним едва ли верно. Помимо всего, гимназист стал взрослым человеком. В его новый сборник вошло прекрасное стихотворение «Песня об Эстонии». В какой-то мере оно отражает мысли поэта в изгнании.

Жуткая, как проклятье, история,
И поколения, затоптанные в грязь;
Кривятся горбатые березы,
В окна гнилых болот глядясь.
Вот она — Эстония.

Глубокие чувства изгнанника выражены в другом, ставшем теперь классическим стихотворении «Под дрожащими осинами». Оно написано белым стихом, новым для молодой эстонской поэзии: — «Будьте благословенны, дрожащие осины, мои братья и сестры». Эта поэзия разочаровала многих молодых, видевших в авторе «Огня жизни» своего духовного руководителя. Им нужен был вождь, а перед ними был углубленный в себя поэт. Ощущение трагичности жизни, разочарование, горечь звучат и в следующем томике стихов Суйтса с характерным названием «Все было сном». Это не гнев политического деятеля, даже не тоска по родине, это тоска по праву жить и творить, как хочешь.

Разгорается первая мировая войны. Для маленькой Эстонии это — чужая война. И все же Густав Суйтс поэтическим чутьем угадывает будущую независимость своей родины, видит ее в грядущем. Потому и рождается стих, гремящий как орган в готическом соборе: «Выше флаги»! Но странны пути человека-поэта. Когда свобода Эстонии стала реальностью — Густав Суйтс замолчал. В независимой Эстонии жил литературный критик и профессор литературы Густав Суйтс,

но поэта Суйтса — не было. После двадцатилетнего молчания первые его стихи родились опять в изгнании. В Швеции вышел последний сборник Суйтса «Огонь и ветер». Эти стихи Густава Суйтса больно читать. Одно дело — иметь и потерять, и другое дело — не иметь и все же потерять. Двадцать лет независимости после семисот лет неволи. И опять неволя, изгнание, и теперь уже нет сил бороться. Может быть снова надо ждать семьсот лет? «Не подчинюсь, не привыкну» — писал поэт. Он не подчинился и за всю свою долгую жизнь не привык к бесправию своего маленького народа. Густав Суйтс — своего рода Гумилев эстонской поэзии — умер в Швеции в 1956-ом году.

В этой же Швеции сейчас живет самый, быть может, выдающийся поэт Эстонии — Мария Ундер (1883 —). Начало ее творчества связано с литературным объединением «Сиуру», что значит — птица радости, Гамаюн. «Сиуру» просуществовало недолго, всего около трех лет, с 1917-го по 20-ый. Конец войны, революция, независимость Эстонии. Казалось бы, что в эти годы гражданская нота должна была зазвучать громче. Но у сиурувцев ее не найти. Их романтическое творчество крайне индивидуалистично. Может быть это была своеобразная защита поэзии от слишком грубого вторжения в нее текущих событий. Во всяком случае широкий читатель недоумевал, читая стихи этих еще неизвестных поэтов.

Где ты кончаешься?
Где начинаюсь я?
Кто волны разлучит морские,
Разъединит твою и мою кровь?

(«Поцелуй»).

Это стихотворение Марии Ундер, поэзия которой скоро победила широкого читателя своей теплотой, богатством красок, живым дыханием природы и какой-то всеобъемлющей человечностью. Приведу названия ее стихотворных сборников: С 1917-го года — «Предцветие», «Сонеты», «Синие паруса», «Власть крови», «Своя доля», «Голос из тени», «Радость от прекрасного дня», «Затмение счастья», «Под открытым небом», «Камень с сердца», «Скорбными устами» (1942), «Искры в золе» (1954).

«Было бы трудно найти другого поэта, чей жизненный ритм развития в такой высокой степени согласовывался с ритмом страны — Эстонии того времени», — пишет выдающийся критик эстонской поэзии профессор Антс Орас.

В эстонской лирике не много песен о счастьи, и поэт умевший чувствовать «радость от прекрасного дня» уже сам по себе невольно выделялся из поэтов того времени. Все в стихах Марии Ундер — необычайно, все подымает, зовет, радует. В стихотворении «Высоко» у нее «звезда — золотой зверек» мелькнула из-за туч; и «комната вдруг осветилась: — может это Братец-Бог смотрит в окно»?

В сборнике «Камень с сердца» у Марии Ундер есть стихотворение «Библия моих родителей», одно из самых глубоких. Дочь берет в руки Библию: «Книга в руках, как дверная скоба». Повернула скобу — открыла книгу — и вошла в мир отца и матери, скрюченными, натруженными руками державших эту Книгу.

Два последних сборника Марии Ундер охватывают годы оккупации и годы изгнания. Темы большие и тяжкие. Многие поэты не смогли переступить высокий порог изгнания. Но Мария Ундер из певца личных чувств и личных радостей стала в изгнании певцом души своего народа, его совестью и гордостью. Эстонский поэт Мария Ундер стала как-бы самой страной, самой Эстонией, хотя в ее стихах вы не найдете слова «Эстония». Во времена молчания — две оккупации: советская и немецкая — Мария Ундер «Скорбными устами» говорила о том, что у каждого было на сердце. Это она перебросила «небесный мост» в безрождественную зиму 41-го года между родиной и теми, кто «по нашей общей вине»... «увезен в рабство». И позже, когда уже на чужой земле она вспоминает прошлые горести и говорит об оправданном гневе своего народа, она всё же спрашивает «Но разве месть слаще всего?»

Я счастлива, что могу читать Марию Ундер в оригинале, чувствовать теплоту ее поэзии и следить за высоким мастерством ее бегущего стиха. Только ради Марии Ундер уже стоит знать эстонский язык, язык малочисленного народа. К сожалению, я не могла найти переводов ее стихов на русский. В выпущенной Госиздатом в 1959-ом году «Антологии эстонской поэзии» ее стихов, конечно, нет. А антологию Игоря Северянина («Поэты Эстонии», Тарту, 1928), в свое время переводившего эстонских поэтов, найти почти невозможно.

Хенрика Виснапуу (1890-1951) друзья по объединению «Сиуру» называли «князем» эстонской поэзии, но сам он повысил себя в ранге и считал «королем». Из поэтов гнезда «Сиуру» Хенрик Виснапуу лучше других знал русский язык и русскую поэзию того времени. Отсюда и титулы и подра-

жания русским футуристам. Перед самым началом первой мировой войны Виснапуу, вместе с другим поэтом, выпустил два сборника «Момент первый» и «Зеленый момент»: «Настало время мне явиться! — Поэты — в круг! Ведь Я иду!»

И всё-таки за этим юным самоутверждением критика разглядела настоящего поэта. По звонкости стиха у него не было тогда соперников. Но его скорее можно было бы считать инструменталистом в поэзии, чем поэтом. Он любил злоупотреблять гласными созвучиями, соблазнительно легкими в эстонском языке:

Тили-или-лилли-лине-лилликен,
илликен
Тиуда-тиуда тиокене,
Эне!

Из этих слов только три — лилликен — цветок, тиокене — синичка и Эне — имя девушки имеют какой-то смысл. Все остальное — инструментальные радости.

Хенрик Виснапуу часто шел против течения, часто впадал в ереси. Так, именно он пытался воскресить немыслимую для того времени старомодность — патриотическую поэзию: «Мужицкая, крестьянская свободная страна!» И вместе с тем, в дни освободительной войны, когда страна еще боролась за свою независимость, Виснапуу писал:

Не убивайте человека!
Мне больно и стыдно.
Пока я спал — убили человека.
Пока я укрывался одеялом — человека повесили...
Мне больно и стыдно.

В эстонскую поэзию Виснапуу вводит белый стих, новые смелые диссонирующие рифмы, новые окончания, так называемые, народные. Но читая его поздние стихи, пожалуй начинаешь больше ценить того юного заносчивого мальчика с его зелеными стихами, которыми Виснапуу вошел в эстонскую литературу. В стихах, написанных им в эмиграции у Виснапуу слышны темы, обычные для поэта в изгнании. «Маре Балтикум» — беженство и скитания по Европе, «Прощай Европа», «Нью Йорк», «Колокол свободы». Виснапуу гневается на своих собратьев, теряющих национальные черты и растворяющихся среди чужих народов, как когда-то растворились вотяки и ливы. И для многих эстонских патриотов

Хенрик Виснапуу и сейчас, хоть и развенчанный, но всё же король.

Эстонский народ я назвала бы народом-певцом, ибо ни у одного европейского народа нет такого количества поэтов, как у эстонского. И это всего лишь за 100 лет существования эстонской поэзии. Но как ни хотелось бы упомянуть о многих выдающихся поэтах — Эрнст Энно, Виллем Ридала, Мария Хэйдберг и другие — в журнальной статье приходится остановиться только на тех, кто указывает направление эстонской поэзии.

Бетти Альвер — (1906 —) поэтесса младшего поколения. Когда Эстония стала независимой, Альвер было всего 13 лет. Ни война, ни революция ее не коснулись. Поэзия Бетти Альвер странно безлична. Даже в стихах, где она употребляет местоимение «я», она говорит как бы не о себе и не от себя. Словно у нее нет страстей. Ее поэзия — «пламя подо льдом». (Алексис Раннит). «Ее любимая тема — искусство, поэзия и их взаимоотношение с действительностью. Социальные проблемы ее не интересуют». (Карл Ристикиви).

Свой простой и одновременно изысканный словарь Бетти Альвер укладывает в самые неожиданные сочетания и делает это с изумительной легкостью. В «Антологии эстонской поэзии», выпущенной Госиздатом в 1959-ом году, я нашла всего лишь четыре стихотворения Бетти Альвер. И это те, которым можно, хоть и с большой натяжкой, придать некую социальную окраску.

Будь орлом с огнем во взоре, в каждой капле чувствуй море,
Стань упорным,
В белом пламени высоком различи пытливым оком
Уголь черный.
В жаркий бой вступив с врагами, славы озари лучами
Щит свой медный,
А падёшь в пылу сраженья — преврати и миг паденья
в блеск победный.
(«О большом дерзании». Вс. Рождественский)

Надо сказать, что этот перевод, хоть и сделан опытным поэтом — очень далек от оригинала. Альвер вовсе не «вступает в жаркий бой с врагами» и не «прикрывается» щитом. Это всё почему-то потребовалось переводчику. В эту антологию взято и стихотворение «Я-сам». В нем Альвер дает

яркую зарисовку эстонского Кита Китыча, самодура, каких было немало среди трудолюбивых зажиточных крестьян. Все нажито своим трудом, всё заработал я-сам. В переводе Рождественского «Я-сам» превратилось в «Я-хозяин». У Альвер я-сам, — гроза семьи, а в переводе — «Я-хозяин» — гроза батраков. У Альвер самодур зовет бедняка за стол: «Ешь мою еду, убогий, — Пей, тулуп блошиный». В переводе: «Лопай, что я дам, в сторонке — Да работай пёсья шкура». Конечно, неважно, как называет «я-сам» бедняка: «тулуп блошиный», или «пёсья шкура». Но важно другое: у Альвер — пей, а у Рождественского — да работай! Изменение сделано не для звучности стиха.

Об этой «Антологии эстонской поэзии» хочется сказать несколько слов. В нее вошли народные песни и почти все эстонские поэты, за исключением тех, кто ушел в эмиграцию. Даже Суйтса, Ундер, Виснапуу — в ней нет. Переводы технически не плохи, но эстонского языка эти поэты-переводчики явно не знают и переводят по подстрочникам. Но беда даже не в том, что в переводах теряется прелесть эстонского склада речи, а в том, что переводчики переделывают поэтов прошлого согласно современным требованиям социалистического реализма. Поэтому даже такому невинному стихотворению, как «Сон цыпленка» Эрнста Энно, придается необходимая «социальная мораль». Сличая переводы с оригиналами почти везде можно найти незаметные изменения. Неуловимая перестановка слов, опущено или добавлено слово — и вот уже стихотворение иное, с социальным нравоучением. Какой-то серый налет советской утомительной казенщины покрывает всё, что собрано в этой антологии.

После страшных бедствий военных лет в творчестве Бетти Альвер наступает перелом. Она осталась на родине. В «Антологии эстонской поэзии» сказано: «Бетти Альвер — поэтесса, прозаик, переводчик». Да, в Советской Эстонии поэт стал переводчиком. Ее последние стихи помечены 43-м годом, но написаны они еще раньше. Потом печатались только ее переводы. Как многие другие поэты Бетти Альвер, в сущности, молчит. И мы можем говорить только о том, каким большим поэтом она могла бы быть.

Здесь же хочется сказать о муже Бетти Альвер, выдающемся эстонском поэте Хэйти Тальвике (1904-1947). Он выступил в начале тридцатых годов. «Вызывающие, временами бесшабашные, чаще мрачные стихи явно указывают на по-

явление новой, своеобразной личности. Эти стихи подписаны именем Хэйти Тальвик». Так об этом молодом поэте писал в свое время профессор Антс Орас.

Поэзия Хэйти Тальвика действительно очень своеобразная. Первый сборник его стихов «Жар» (в смысле жара у больного) появился в 1934-ом году. Тальвик иногда писал нарочито грубым языком, с вызывающими метафорами. Думается, он понимал и сам, что не многие сумеют заглянуть за дымовую завесу его бравады: «И только детский взор — Меня как слиток золота увидел».

Следующий сборник Хэйти Тальвика «Судный день» вышел через три года. В нем интересна одна из тем. В маленькой Эстонии, вчера еще «мужицкой стране» Хэйти Тальвик ощущал некое нарастающее «восстание масс». «В каждом босяке и сапожнике может завтра проснуться мессия», — говорит Тальвик. Перед этим «восстанием масс» те, кто призван «бодрствовать у потухающих светильников», должны отступить, очищая место новым людям. «Нам небо больше не нужно», — говорит он. И в безнадежной попытке разбудить благодушествующую страну, в своем «Хоре рабов» поэт приходит в библейское неистовство: «Нам цепи нужны, чтоб их рвать — Снова и снова опять!»

Последние стихи Тальвика, печатавшиеся в альманахе «Аммукаар», помечены 42-ым годом. Это — «Буря», «Беженец». В них поэт приветствует бурю, хоть и знает, что она принесет немало бед и страданий, но зато быть может разбудит народ.

Хэйти Тальвик умер в 1947-ом году, в тюрьме, от брюшного тифа, как сказано в официальных советских источниках. Переводов его стихов в «Антологии эстонской поэзии», конечно, нет.

Этот весьма неполный обзор эстонской поэзии я закончу очерком о творчестве Алексиса Раннит (1914 —), одного из поэтов, живущих в эмиграции. Раннит — сложный поэт. Мне думается, он самый европейский из эстонских поэтов. Может быть именно в Алексисе Ранните исполнилась заветная мечта Густава Суйтса уже давно писавшего: «Останемся эстонцами, но при этом будем и европейцами».

«Поэтическая мысль Раннита рождается не от жизни. Она берет свое начало в различных формах культуры, в проекции человеческого духа на жизнь... Это поэзия о поэзии...

хотя темой ее может быть звуковое или изобразительное искусство». (А. Аспель).

Стихи Раннита ощущаются как бы двупланно: визионарное восприятие мировой культуры, та поэзия о поэзии, о которой пишет эстонский критик Александр Аспель, и другой план— эстонская поэтическая речь, эстонский музыкальный лад. Но в стихах Раннита нередко чувствуется, что для него эстонский язык только средство для выражения европейских мыслей.

В последнем сборнике Алексиса Раннита «Замкнутый простор», вышедшем в 1956-ом году в Швеции, особенно ярко видны эти два плана, два течения его поэзии. В этих стихах, «дисциплинированных», как их называет Аспель, написанных с геометрической точностью, линии переходят в музыку, слова переходят в краски; стихи подобны архитектурному созданию. В этом сборнике очень характерное для Раннита стихотворение «Шартрский собор» — мне кажется лучшим.

Алексис Раннит — эмигрант, но типично эмигрантских стихов у него нет. Читая точные, заостренные стихи Раннита, ищешь — а где же в этом европейце эстонец? И эстонца находишь неожиданно. Например, в стихотворении, написанном на гравюру Вийральта «Лежащий тигр» удивляешься, что не тигр, а рядом стоящая береза — предмет его стиха. Верная, домашняя береза.

В багровом сумраке преданья
возникла — странно хороша —
поверья тёмного созданье,
березы светлая душа.
Ее волос послушны струи
и мягок свет зеленых глаз,
и белой кротостью чарует
ее нежданный облик нас.
Когда же скорбно и тревожно
звенит вечерней птицей мгла,
душа березы бездорожно
летит от легкого ствола.
Влечет ли гарь костра лесного?
Зовет ли злое волшебство?
Но, верная, вернется снова
к порогу дома своего.
И вот рассвет, просторно розов,

проводит круг над сонной тьмой,
душа бессмертная березы,
твой час настал — вернись домой!
(«Береза», перев. Лидии Алексеевой, печат. впервые)

«Лучшим доказательством поэтического диапазона и силы синтеза Раннита может служить символ «синего луча», который в «Начальной песне» отождествляется со «счастливым взором матери», и потом повторяется в стихотворении «Синий», как символ струения внутреннего света, и в конце сборника, в стихотворении «Круговорот», синий луч приводит к караваю хлеба, испеченному матерью поэта и к клятве верности:

Буду верен вам, светлые очи июня,
Верен матери, небу надельной земли.

«Но звучание этой архаической и наивной клятвы не удивляет нас, ибо мы знаем — священность поэзии, это — краеугольный камень жизнеощущения поэта». (А. Аспель).

Стихи Алексиса Раннита переводились на русский язык Игорем Северянином и Лидией Алексеевой, на немецкий и английский Антсом Орас, на испанский Иоландой Бедрегаль.

Среди эстонских поэтов, ушедших в эмиграцию, следует также отметить Бернарда Кангро (1910 —) — лирического певца природы, вплетающего в свои стихи о цветах, травах и птицах древние эстонские поверья, объединяющие душу природы с душой его родного народа — творца этих легенд. Рядом с Бернардом Кангро упомяну таких видных поэтов, как Вальмар Адамс (1899 —), Уку Масинг (1909 —), Арно Вихалемм (1911 —), Харри Аси (1922 —) и Ивар Грюнталь (1924 —).

Заканчивая этот краткий обзор эстонской поэзии, я хочу сказать, почему я не коснулась поэтов Советской Эстонии, за исключением Альвер и Тальвика. Но их советскими поэтами считать нельзя. Советская Эстония — это особая глава в жизни эстонского народа и эстонской поэзии. Странным образом советские эстонские поэты гораздо ближе к поэтам Времени Пробуждения, чем к поэтам времени эстонской независимости. Они также нравоучительны, их язык также прост, а порой и примитивен, с расчетом на несовершеннолетие читателя. В эмиграции же язык эстонской поэзии все больше утончается и обогащается. Этому, вероятно, способствует

немало и то, что «отец» нового эстонского литературного языка Иоханнес Аавик (1885 —) признаваемый таковым даже советскими авторитетами, живет и работает заграницей. Поэтому гораздо легче перевести на русский поэму советского поэта Паула Хааваокса «Рождение человека», чем многие стихи эстонских поэтов в изгнании.

Эстония крохотная страна, но наречия ее столь разны, что северные эстонцы только с большим трудом могут понять южных. Двумя главными эстонскими поэтами пишущими на наречиях являются проживающий в Швеции Артур Адсон (1889 —), тонкий лирик, которого можно назвать эстонским Мистралем, он же выдающийся переводчик классической и новой русской прозы на эстонский, автор многочисленных статей о русской литературе, и Хендрик Адамсон (1891-1946), поэт-мистик, певец своей родины — области Вильяндимаа.

Тамара Петровская

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
на русском языке

1. *Антология эстонской поэзии.* 2 тома. Москва, 1959.
2. *Поэты Финляндии и Эстляндии.* Под редакцией Н. Н. Новича. С.-Петербург, 1898.
3. *Эстонские поэты XIX века.* Сборник. Москва, 1961.
4. *Калевипоэг.* Эстонский народный эпос. Собрал и обработал Ф. Р. Крейцвальд. Перевод с эстонского В. Державина и А. Кочеткова. Таллин, 1950.
5. Хенрик Виснапуу. Amores. Перевод Игоря Северянина. Москва, 1921.
6. Хенрик Виснапуу. *Полевая фиалка.* Перевод Игоря Северянина. Нарва, 1938.
7. Мария Ундер. *Предцветение.* Перевод Игоря Северянина. Таллин, 1937.
8. Алексис Раннит. *В оконном переплете.* Перевод Игоря Северянина. Таллин, 1938.
9. Алексис Раннит. Via Dolorosa. Перевод Игоря Северянина. Стокгольм, 1940.

Н. А. МАЛЬКО

ЧЕЛОВЕК И МУЗЫКАНТ

1

Н. А. Малько родился 4 мая 1883 года в Браилове, в юго-западной России. Отец его — Андрей Яковлевич, был доктором на сахарном заводе. По линии отца — Н. А. Малько из казачьего рода и Н. А. всегда шутил, говоря, — «мои предки — потомственные чумаки, соль возили...» Род матери — Ольги Ефимовны, дворянский, мать была — смолянка.

Родители Н. А. были одаренные люди и страстью их всегда была музыка. Еще в Браилове отец Н. А. создал любительский квартет и сам играл в нем на виолончели. Атмосфера музыки окружала Н. А. с раннего детства.

Когда А. Я. Малько перебрался в Одессу, где он получил место врача на железной дороге, он создал там любительский симфонический оркестр. В этом оркестре Н. А. играл сначала на ударных инструментах, а потом на волторне, мечтая уже тогда стать дирижером. Мать Н. А. открыла в Одессе женскую гимназию, принимая горячее участие во всех музыкальных начинаниях мужа.

Окончив гимназию в Одессе, Н. А. переехал в Петербург и поступил одновременно и в Петербургский Университет и в Петербургскую Консерваторию. В университете Н. А. учился на историческом отделении историко-филологического факультета, который и окончил. В консерватории Н. А. занимался у Римского-Корсакова, Глазунова, Лядова, Черепнина. Окончил консерваторию в 1909 году.

Еще за год до окончания Петербургской Консерватории Н. А. Малько был приглашен в Императорский Мариинский Театр в качестве балетного дирижера и его дебют в этом театре состоялся в 1908 году, когда Н. А. дирижировал балетом Н. Н. Черепнина «Павильон Армиды» в постановке М. Фокина, главную роль танцевала Анна Павлова. Известный музыколог и музыкальный критик Л. Л. Сабанеев писал, что «Малько блестяще дебютировал».

После своего дебюта Н. А. стал оперным дирижером в Мариинском Театре, работая вместе с Направником и Коутсом почти 15 лет. Первые успехи Н. А., как дирижера, были настолько велики и заметны, что Управление Императорскими Театрами в Петербурге дважды во время летних вакаций посылало его в Мюнхен для усовершенствования в дирижерском искусстве у знаменитого вагнерианского дирижера Феликса Моттл. Но уже и тогда, работая оперным дирижером, Н. А. Малько мечтал о деятельности дирижера только симфонической музыки. Эта мечта Н. А. в России исполнилась только частично — Н. А. выступал, как дирижер симфонических оркестров, в свободное время от своих постоянных занятий в опере.

Моя первая встреча с Н. А. Малько произошла почти полвека тому назад. С. А. Кусевицкий давал в Москве восемь абонементных концертов и восемь генеральных репетиций, открытых для публики. Генеральные репетиции происходили по воскресеньям, а концерты по понедельникам. По воскресеньям иногда дирижировал Н. А. Малько. Кроме того Кусевицкий давал летом, в Сокольниках, симфонические концерты и там Н. А. Малько почти всегда дирижировал.

Вот в Сокольниках-то, среди березовых аллей, я и услышал оркестр под управлением Малько. Оркестр у Кусевицкого был превосходный, даже барабан должен был иметь музыканта с консерваторским образованием. Тогда, впервые, я услышал (если память мне не изменяет в программе были «Франческо ди Римини» Чайковского, «Утес» Рахманинова и первая симфония Калинникова) хорошо знакомый мне оркестр, звучавший, по-моему, глубже и ярче чем у Кусевицкого. Сразу же запомнилась манера дирижирования — ни одного лишнего жеста, скупость движений, серьезность, уверенность и сила.

Главным заветом, самой важной стороной своей деятельности, как и его учитель Римский-Корсаков, Н. А. Малько считал свою педагогическую работу. Я вспоминаю, как часто он говорил: «самое ценное у человека это его желание и уменье передать свои знания другим». Еще в России Н. А. организовал дирижерские классы, сначала в Петербурге, когда он уже стал музыкальным директором Петербургского Филармонического Оркестра, а потом и в Москве, Одним из учеников Н. А. в Петербурге был Шостакович, симфония № 1 которого первый раз исполнялась под управлением Н. А. Малько.

2

Уехав из России Н. А. Малько скоро стал известен, как блестящий дирижер и не только среди любителей музыки вообще, но и среди тонких и строгих ценителей симфонической музыки. Первое же появление Н. А. Малько в Вене в 1928 году сопровождалось буквально сенсационным успехом. Музыкальные критики отметили глубину и красочность его интерпретации, динамичность и высокую музыкальность. Уже тогда широта музыкальных вкусов Н. А. Малько проявлялась в том, что в программах симфонических концертов, им управляемых, почти всегда были произведения современных композиторов и в особенности русских, получивших потом широкую известность. Так многие произведения Сергея Прокофьева впервые были исполнены оркестрами под управлением Малько. Это относится и к многим работам Мясковского, Черепнина, Стравинского, Скрябина.

Покинув Россию Н. А. Малько никогда не оставлял педагогической деятельности. Он организовал дирижерские классы в Праге, Копенгагене; читал лекции в Зальцбурге в Академии имени Моцарта во время музыкальных фестивалей. Потом читал лекции по дирижерскому искусству в одном из колледжей Калифорнии, в Чикагском Университете, в ряде колледжей на Среднем Западе Америки, а под конец своей жизни организовал дирижерские классы в Австралии, в Сиднее. Прием в дирижерские классы Австралийской Радиовещательной Компании происходил по конкурсу. На конкурс приехали десятки молодых людей и девушек из разных стран. Н. А. отобрал из них только пять — две китаянки, один испанец, один мулат ново-зеландец и один австралиец. Ученики Н. А. были разбросаны по всему миру, включая и Советский Союз и их отношение к Н. А. было исключительно теплое.

В 1950 году Н. А. Малько выпустил на английском языке в издательстве Вильгельма Хансена в Копенгагене первую часть своей работы — «Дирижер и его палочка» — основы техники дирижирования. Книга эта теперь является одним из самых серьезных пособий по дирижерскому искусству. В ней Н. А. пишет о дирижере, как исполнителе, о физической дрессировке дирижера, о времени такта, о палочке как инструменте, о дирижерской жестикуляции как элементах дирижерской техники, о роли левой руки и пр. Снабженная многочисленными музыкальными примерами и фактами из опыта таких ди-

рижеров, как Малер, Никиш, Рубинштейн, Штраус, Тосканини, — книга Н. А. вошла в сокровищницу музыкальных пособий нашего времени. Смерть помешала Н. А. выпустить вторую часть этой ценной работы.

3

Энергии, работоспособности и неутомимости Н. А. Малько не было пределов. В мире было мало больших симфонических оркестров, которыми бы он когда-нибудь не дирижировал. Когда Н. А. скончался в Австралии, сотни писем и телеграмм с выражением соболезнования пришли буквально со всех концов света. За всю свою жизнь Н. А. перебывал во всех странах и дирижировал в Австрии, Германии, Чехо-Словакии, Дании, Швеции, Норвегии, Голландии, Бельгии, Франции, Испании, Италии, Израиле, Англии, странах Южной Америки, Японии, Ново-Зеландии, Австралии, США.

В Англии Н. А. выступал со всеми крупнейшими и лучшими оркестрами страны: с Королевским Филармоническим, с оркестром Би-Би-Си, Лондонским Филармоническим, Лондонским Симфоническим, Шотландским, Ливерпульским, Бирмингамским, Иоркским Симфоническим, где он был главным дирижером и музыкальным советником.

Первое появление Н. А. Малько в Соединенных Штатах (он был американский гражданин) относится к 1940 году и первая дирижерская работа у Н. А. в США была с Бостонским Симфоническим оркестром, теперь одним из лучших оркестров мира. Потом Н. А. дирижировал многими оркестрами Америки, в том числе Чикагским и Нью-Иоркским. Став в 1945 году во главе «Гранд Парк» симфонического оркестра в Чикаго Н. А. Малько много сделал в приобретении этим оркестром репутации одного из лучших оркестров страны. Тысячи слушателей стекались на концерты этого оркестра под управлением Н. А. Малько.

Но одна страна после России была особенно мила сердцу Н. А. и в ней он был всегда не только желанный гость, но и друг — страна эта Дания, где сам король, Фридерик IX, был большой любитель симфонической музыки. В этой крошечной стране было восемь провинциальных оркестров и два больших столичных. Каждым из этих оркестров Н. А. дирижировал, как гость-дирижер, а в самом большом — Оркестре Датского Радио и Телевидения Н. А. был долгое время постоянным главным дирижером.

Когда 30 января 1955 года Дания праздновала 25-летие этого своего лучшего симфонического оркестра и оркестр под управлением Н. А. Малько должен был исполнить Девятую Симфонию Бетховена, множество людей уже с 3 часов утра стояли в очереди за билетами. Датская пресса назвала Н. А. «отцом датской музыки» и Н. А. был награжден королем высоким рыцарским орденом страны.

И где бы ни дирижировал Н. А. он каждый год в отпуск приезжал в Данию, где его всегда ждали и где он всегда дирижировал выпестованным им оркестром.

4

В октябре 1956 года Австралийская Радиовещательная Компания, в ведении которой находятся все симфонические оркестры страны (их пять), сделала по радио сообщение о приглашении Н. А. Малько в качестве музыкального директора Сиднейского симфонического оркестра, самого большого в Австралии, а в апреле 1957 Н. А. прибыл в Австралию.

За четыре года пребывания в Австралии Н. А. исколесил всю страну. Почти в каждом сезоне он кроме Сиднея выступал в Мельбурне, Аделаиде, Перте, Брисбоне, Хобарте, — главных городах австралийских штатов. Кроме этих городов Н. А. с окрестром выезжал в маленькие города австралийской провинции и везде, всегда большие аудитории, часто вмещающие несколько тысяч человек, были переполнены, и всегда, как у оркестрантов, так и у публики Н. А. встречал теплый, а часто и восторженный прием.

Двумя оркестрами — сиднейским и мельбурнским — Н. А. дирижировал чаще всего. Теперь эти оркестры считаются оркестрами высокого музыкального стандарта. Об этом свидетельствовали такие гости-дирижеры в Австралии, как Отто Клемперер, Игорь Маркевич, Шарль Мюнш. И это было заслугой Н. А. Малько.

В Австралии я посещал все концерты, которыми дирижировал Н. А. Малько, а нередко бывал и на репетициях (часто даже в день концерта Н. А. требовал двух репетиций — первую в 8 час. утра, вторую в 12 час. дня). Н. А. был строгий и требовательный мастер. Но это не мешало ему сразу же устанавливать в оркестрах обстановку дружественно-товарищескую и он добивался от оркестрантов такого единства, такой слаженности, такой слитности, какие удавались немногим дирижерам.

Ежегодно Н. А. давал один концерт, на котором исполнялась какая-нибудь большая оратория или старинная кантата, например, «Кармина Бурана» Карла Орфа, написанная на слова песен 13 века. Тогда в составе участников были оркестр в 100 инструментов и хор в 200 человек (мужской, женский и детский). Эти концерты были настоящим музыкальным событием и огромное мастерство дирижера проявлялось необычайно ярко.

Влияние Н. А. на развитие музыкальной культуры в Австралии было очень велико во всех сферах. Так ни один конкурс — вокальный, инструментальный, композиторский в стране не проходил без его участия и Н. А. всегда был главным и решающим судьей. Чрезвычайно требовательный к себе Н. А. был требователен и к людям, но не бывал пристрастен.

Мне кажется, что из всех дирижеров, которых знает современная Австралия, Н. А. Малько был самым любимым. Каждое его выступление сопровождалось такими овациями и такими многочисленными вызовами, какие даже как-то и не совсем свойственны хладнокровным англо-саксам. Особенно же был любим Н. А. молодежью.

При Н. А. Малько великолепная практика популяризации классической музыки в Австралии, введенная Австралийской Компанией Радиовещания, получила самое широкое развитие. Ежегодно во всех крупнейших городах Австралии симфонические оркестры давали ряд концертов по специальным абонементам только для молодежи (эти абонементы были ограничены возрастом) по чрезвычайно удешевленной цене — 3 доллара за серию концертов. Н. А. сам всегда составлял программы этих концертов. Огромные Таун-Холлы страны, часто вмещающие свыше 2.000 человек, в вечера этих концертов были полны до отказа (билеты на абонементы для молодежи обычно распродавались в один прием: девушки и юноши с ночи стояли в очереди и к 10 час. утра все билеты бывали проданы). И мы были свидетелями необычайного энтузиазма, с которым принимала молодежь Н. А., всегда, по традиции, обращавшегося к молодежи перед концертом с шутливым приветствием. Излишне говорить, что не было ни одного концерта для молодежи, в программе которого не было бы русской музыки, как не было ни одного сезона во время пребывания Н. А. в Австралии, чтобы не исполнялись крупнейшие произведения русских композиторов.

До приезда Н. А. Малько в Австралию симфонические концерты посещались немногочисленной публикой, через год

же после его приезда залы концертов почти всегда были переполнены и интерес к музыке и уровень вкусов настолько поднялись, что Н. А. Малько мог поставить вопрос о приглашении в Австралию в полном составе на гастроли всемирно известных оркестров. По его инициативе были приглашены Бостонский Симфонический Оркестр во главе с Шарлем Мюнш и любители музыки услышали в исполнении бостонцев под палочкой Мюнша такого Берлиоза, какого редко можно услышать, а потом был приглашен и Чешский Филармонический Оркестр, которым Н. А. в тридцатых годах долго дирижировал.

5

Я думаю, я не преувеличу, если скажу, что среди музыкантов, может быть, трудно найти человека такой широкой культуры, каким был покойный Н. А. Малько. Музыка была его жизнью, его всепоглощающей любовью и его безмерным трудом, но интересы его были очень широки. История русская и всеобщая — вторая основа его образования — были всегда в круге его интересов. Обладая совершенно исключительной памятью он часто своими примерами из области истории ставил втупик и хорошо образованных собеседников.

Его русский язык был замечателен по форме, образности, выразительности, он подмечал всегда всякую неправильность в русской литературной речи. Книги, которые он читал, пестрели пометками. А читал он много на всех языках.

Объездив весь мир и дирижируя не только симфоническими оркестрами, но и оркестрами оперы и балета Н. А. Малько сохранил в памяти много интересного, связанного с выступлениями знаменитых певцов, танцоров, музыкантов. И так как остроумие было одной из черт Н. А., то рассказы его о знаменитых современниках были исключительно занятны. Вспоминаю рассказ о Шаляпине, которого Н. А. хорошо знал и который пел много раз, когда оркестром дирижировал Н. А. Малько.

— Шел «Борис Годунов». До выхода Шаляпина — пять минут. Но что-то или кто-то рассердили Ф. И. В гриме и костюме Шаляпин начинает ругаться так, как ругаться мог только Шаляпин... Подбегает перепуганный помощник режиссера: — «Ф. И. — три минуты до выхода, ради Бога...» Но Ф. И. продолжает ругаться. «Ф. И. — одна минута!» Ругань продолжается и..... занавес, на сцене нет Шаляпина, на сцене — царь!

Пожалуй, самой главной чертой характера Н. А. была скромность. Так, он совершенно не переносил никакой рекламы и часто его симпатии или антипатии имели своим источником это людское свойство.

— Да, хороший дирижер, слов нет, — говорил он об одном музыканте, — но ведь жить не может без рекламы. И посмотрите, как любуется собой, как кокетничает рукой, чтобы показать манжету с жемчужной запонкой...

Сам Н. А. свою работу рассматривал, как священную; как долго и напряженно готовил он и себя и оркестр. Вот маленькая деталь — в дни концертов после завтрака в 12 часов Н. А. больше никогда не ел до конца концерта, т. е. до 11 часов ночи.

У Н. А. была исключительная музыкальная память, поставившая его даже среди первоклассных дирижеров на одно из первых мест; Н. А. дирижировал без партитуры всем Бетховеном, всем Чайковским, почти всем Брамсом, Моцартом, Шуманом, Мусоргским, Бородиным, Рахманиновым, Прокофьевым, Стравинским. Казалось бы это могло ослабить напряжение предварительной подготовки вещи. Но Н. А. никогда не допускал этого: каждая программа в ряде опусов проигрывалась Н. А. дома на рояли и потом обязательно на репетициях.

Во время дирижирования жесты Н. А. Малько были скупы до крайности, в них не было ни одной лишней линии. Хорошо зная своего мастера и любя его, чувствуя его крепкую руку, — оркестр преображался, когда Н. А. подымался на свой подиум. Говоря о стиле дирижирования Н. А. Малько мы полностью разделяем мнение Л. Л. Сабанеева, давшего высокую оценку этого стиля:

— Оценивая именно стиль его дирижерского искусства, я должен отметить прежде всего его глубокую серьезность и отсутствие в нем всяких приемов обращения внимания именно на личность дирижера, а не на исполняемую им музыку. Его стиль в этом отношении был вполне сообразен со стилем вообще русской музыки и русских музыкантов — скромность и отсутствие доминирующего славолюбия...

Сравнивая глубокую серьезность дирижерской работы Н. А. Малько с такой же серьезностью Рахманинова, Л. Л. Сабанеев говорит, что в интерпретации Н. А. Малько чувствовалось русское музыкальное восприятие.

Скромность самого Н. А., как дирижера, сказывалась даже и в такой мелочи — Н. А., выходя на вызовы, прежде

всего подымал оркестр и только тогда, когда наступал момент и оркестр, апплодируя своему дирижеру, отказывался подыматься, — Н. А. уступая настойчивым требованиям публики, раскланивался один.

Постоянно помогая людям Н. А. никогда не говорил об этом и часто его помощь носила анонимный характер — это всё черты его исключительной скромности.

6

Мы живем в такое время, когда на многих музыкальных произведениях, в особенности исполняемых оркестрами, лежит отпечаток нашего огрубевшего века. Это огрубение музыки сильнее всего чувствуется там, где давно уже царит мертвящая пята тоталитаризма. Когда я слушал в исполнении Чешской Филармонии Шестую Патетическую Чайковского, то внешне было всё — большое мастерство большого музыкального организма, но исчезла и лирика и патетика этой лебединой песни нашего композитора.

Рассказывая мне об исполнении Чайковского в странах за железным занавесом Н. А. говорил — «там нет понимания глубинных начал этой музыки, там есть только материя, но духа нет».

Четвертую, Пятую и Шестую симфонии Чайковского Н. А. Малько исполнял в Австралии много раз и со всеми оркестрами и интерпретация Н. А. была поразительна.

Всегда и везде исполняя русских композиторов Н. А. Малько больше всего, как музыкант, любил все же Бетховена. Он проникал в исключительную глубину этого композитора. Бетховенские циклы концертов, которые шли под управлением Н. А. Малько во всех главных городах Австралии привлекали тысячи слушателей и проходили с колоссальным успехом.

У меня нет под рукой полного списка граммофонных записей работ Н. А. Малько — диски с его именем сделаны самыми крупными компаниями и записи велись при исполнении лучшими оркестрами многих произведений.

7

Почти до самого последнего дня Н. А. Малько, стоявший у пульта 53 года, знал только один воздух — воздух музыки. Этот воздух давал ему силы и радость бытия. Вне музыки он не представлял себе жизни и когда он понял, что силы его

оставляют, ему нужен длительный отдых, он должен оставить свой дирижерский пост, он должен на какой-то срок забыть о музыке, — тогда его последние силы, истощенные болезнью, стали быстро таять. Он не хотел сдаваться. Он стал дирижировать сидя. Он все еще сохранял полностью свою изумительную память, свое великое дирижерское мастерство.

Уже больной он не отменил ни одного своего концерта в Сиднее и поехал потом дирижировать в Мельбурн. Там, во время репетиции, он упал в обморок. Но на другой день, в отеле, он совершенно казалось бы пришел в себя, вызвал певца-солиста, финна Борга и заставил его прорепетировать цикл «Песен и плясок смерти» Мусоргского.

Потом его увезли в Сидней. Силы стали как-будто возвращаться. Он настолько был уверен, что силы вернутся, что когда я по телефону, ибо все визиты к нему были отменены, спросил, как он себя чувствует, он велел передать, что на следующей неделе будет дирижировать концертами. А через день, во сне, он скончался. И я вспомнил, как за три недели до смерти Н. А. Малько говорил мне, что вот теперь он предполагает приступить к работе над воспоминаниями о Римском-Корсакове для советского издания «Музыкальное Наследство», но.... Бог располагал.

Вся музыкальная Австралия хоронила Н. А. Малько. Со всего мира получались соболезнования. А все те, кто знали этого изумительного музыканта, человека и артиста, поняли, что потеряли одного из тех замечательных русских людей нашего времени, которых так мало осталось.

Сидней, Австралия *Борис Домогацкий*

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ И. А. БУНИНА

Публикуя литературное завещание Ивана Алексеевича Бунина, я выполняю желание покойной Веры Николаевны Буниной. Перед болезнью она собиралась послать эти исключительно важные документы в «Новый Журнал».

Литературное завещание делится на две части.

Первая часть («К моему завещанию») написана рукою Ивана Алексеевича Бунина в мае 1942 года на вырванном из школьной тетради листке. На первой странице теми же чернилами подпись «И. А. Бунин». Но подписал это завещание Иван Алексеевич еще два раза уже после войны, во время болезни. Эти две подписи сделаны красным химическим карандашом, которым Иван Алексеевич пользовался в последние годы своей жизни (этим же карандашом написано его последнее стихотворение «Венки», датированное 1953 годом).

Когда-то Иван Алексеевич выбросил из этого завещания последний абзац, перечеркнув его красным (простым) карандашом. Абзац начинается так: «Умоляю разных литературных гробокопателей...», а кончается словами: «...я делаю указания». Впоследствии он раздумал, отменил свое решение и под этим абзацем второй раз подписался «Ив. Бунин» (красный химический карандаш), а на полях, лиловым химическим карандашом, слабеющим почерком написал: «Зачеркнуто по ошибке». Внизу, под сохраненным абзацем он тем же лиловым химическим карандашом приписал: «Самое ужасное: заваливают хорошее детским, плохим». И под этой фразой; в третий раз подписался «Ив. Бунин» (красный химический карандаш).

Вторая часть («К моему литературному завещанию») написана в разное время, но при перепечатке помечена 1951 годом. Это завещание менее сурово, оно смягчает первое и даже местами меняет его смысл. Иван Алексеевич дал его Вере Николаевне перепечатать на машинке, что она и сделала в 1951 году. Просмотрев печатный текст, Иван Алексеевич на последней странице (а на ней напечатаны всего три строчки) под третьей печатной строкой своею рукою написал (простыми чернилами) следующее:

«Все это (из II и IV т.) ввести в собрание, следуя хронологии.

Указания насчет стихов я делаю на книжках («нивских») стихов.

Есть кроме того (приложенный здесь же) пакет стихов писанных рукой — эти стихи тоже можно ввести в будущее собрание».

Во время болезни, в последний год своей жизни, Иван Алексеевич красным химическим карандашом (он хранится у меня) на той же странице приписал очень крупным почерком:

«Все — и стихи и проза — что я не ввожу в это собрание моих сочинений, напечатать, если это нужно, как приложение к нему».

Этим Иван Алексеевич отменил суровое распоряжение сделанное им в первом завещании. Необходимо сказать, что все эти противоречия немало смущали, после смерти Ивана Алексеевича, Веру Николаевну.

Последняя часть второго завещания была когда-то (предполагаю. что до 1951 года) написана рукой Ивана Алексеевича на отдельном листе большого формата. Начинается она так:

«После меня явится, может быть, у кого-нибудь мысль печатать мои письма, дневники, записные книжки («запис-

ные книжки» написано красными чернилами; эти слова включены в текст позже Л. З.). Кончается этот абзац так: «Записные книжки можно печатать» (и эти слова написаны красными чернилами, т. е. позже Л. З.).

Далее Иван Алексеевич говорит об издании отдельным томом русских и иностранных рецензий и статей о нем. «Но, конечно — добавляет он, — взять эти рецензии и статьи в выдержках» (подчеркнуто опять красными чернилами).

Кончается теперь второе завещание так:

«Чемодан с этими рецензиями и статьями (конечно собранными — да и то неполно — только за время эмиграции) (подчернуто красными чернилами Л. З.) находится в Париже на нашей квартире на 1 рю Жак Оффенбах. Сохранилось ли то, что осталось в Москве, я не знаю». (Последняя фраза приписана красными чернилами, а слова «то, что осталось в Москве» подчеркнуты черными чернилами Л. З.).

Теперь завещание на этом и кончается, но раньше рукой Ивана Алексеевича был написан на второй странице большого листа еще один абзац. Начинается он так:

«В маленьком предисловии к собранию моих сочинений, изданному «Петрополисом» в Берлине в 1934-35 гг...»

Этот абзац был зачеркнут Иваном Алексеевичем красным карандашом и перемещен в другое место, когда в 1951 году Вера Николаевна, по просьбе Ивана Алексеевича, перепечатала целиком второе литературное завещание на пишущей машинке.

Париж 12-го октября 1961 г. *Леонид Зуров*

К МОЕМУ ЗАВЕЩАНИЮ

Май 1942 года.

В России осталось много всяких писем ко мне. Если эти письма сохранились, то уничтожить их все, *не читая,* — кроме писем ко мне более или менее известных писателей, редакторов, общественных деятелей и т. д. (если эти письма более или менее интересны).

Все *мои* письма (ко всем, кому я писал во всю мою жизнь) не печатать, не издавать. С просьбой об этом обращаюсь и к моим адресатам, то есть, к владельцам этих писем. Я писал письма почти всегда дурно, небрежно, наспех и не всегда в соответствии с тем, что я чувствовал, — в силу разных обстоятельств. (Один из многих примеров письма к Горькому, которые он, не спросясь меня, отдал в печать).

Умоляю разных литературных гробокопателей не искать и не печатать моих стихов и рассказов, рассеянных по разным газетам и журналам и никогда мною не введенных в издания моих книг: я многое печатал только по той бедности, в которой часто бывал. Насчет же того, что введено в издания моих книг, я делаю указания.

Ив. Бунин

Самое ужасное: заваливают хорошее детским, плохим.

Ив. Бунин

К МОЕМУ ЛИТЕРАТУРНОМУ ЗАВЕЩАНИЮ

Париж, 1951 г.

Если будет после меня издание моих литературных работ, то вот мои указания, каково оно должно быть:

Это издание должно быть повторением берлинского изда-

ния «Петрополис» (Берлин, 1934 г.) с теми добавлениями к нему, кои я указываю здесь ниже.

В это новое будущее издание должен войти *отдельным томом мой перевод «Песни о Гайавате» Лонгфелло,* текст которого (с моими поправками) взять из парижского издания (К-во «Север», Париж 1921 г.).

Отдельным же томом должны быть изданы и три «Мистерии» Байрона, переведенные мною. Этот том должен быть повторением берлинского издания этих «Мистерий» (К-во «Слово», Берлин 1921 г.).

Из всех остальных моих переводов взять *только* следующее:

1. Крымские сонеты Мицкевича (три сонета: Аккерманские степи, Чатырдах и Алушта ночью).

2. «Годива» Теннисона (по тексту в «Нивском» издании Маркса моих сочинений, Петербург 1915 г.).

3. Из «Золотой легенды» Лонгфелло: 1) Рождественская ночь, 2) Очарованный инок, 3) Эльза. Все это, т. е. сонеты, Годива и из «Золотой легенды» разместить (следуя хронологии моих работ над этими переводами) среди моих оригинальных стихов. *Стихи и эти переводы — отдельный том.*

Какими по счету томами должны идти в будущем собрании моих сочинений «Песнь о Гайавате» и «Мистерии», сейчас, конечно, нельзя сказать. Во всяком случае они должны идти *после последнего тома моих оригинальных художественных писаний.* Но что будет в этом предполагаемом последнем томе и какой он будет по счету? Это зависит от того, напишу ли я еще что-нибудь после книги «Темные аллеи» и некоторого другого написанного мною за последние годы и еще не изданного отдельной книгой (смотри пакет, в котором «Зимний сон» и прочее).

Ввести в это будущее собрание моих сочинений тоже отдельным томом «Освобождение Толстого». Это — после двух выше указанных томов (т. е. двух томов переводов). Для перепечатки взять исправленный мною экземпляр «Освобождение», — он находится при этом завещании, как и все прочее.

И еще отдельный том — после «Освобождения» — под заглавием «Записи». Материал для этого тома тоже находится в пакетах, которые лежат вместе с этим завещанием.

В маленьком предисловии к собранию моих сочинений, изданному «Петрополисом», — смотри *первый* том этого изда-

ния, — я сказал об ужасном издании моих сочинений 1915 года (приложение к «Ниве») и выразил твердое желание, чтобы в будущее собрание моих сочинений не было взято ничего (кроме уже взятого мною для издания «Петрополиса») из этого приложения. Я указал, почему я был вынужден дать Марксу многие из очень слабых моих вещей, написанных мною в первые годы мой литературной деятельности со всей небрежностью, присущей мне в ту пору, и напечатанных большею частью из-за нужды или по слабости характера: «дайте что-нибудь нам!» — и давал; слава Богу, что еще далеко не все дал Марксу — и *горячо прошу все это не данное мною не разыскивать по разным газетам, иллюстрированным журнальчикам и книжкам, вроде изданий Д. И. Тихомирова.* Теперь думаю, что *все-таки кое-что* можно взять из «нивского» издания и ввести в будущее собрание моих сочинений — как добавление к этому будущему собранию.

Сперва скажу о прозе.

Из *второго* тома «нивского» издания можно взять в будущее собрание *только* следующие рассказы: На край света, На Донце, Антоновские яблоки, Эпитафия, Над городом, Новая дорога, Сосны, Мелитон, Костер, Новый год, Надежда. Все это печатать *по исправленным и сокращенным мною текстам.* (Смотри пакет с этими рассказами).

Из *четвертого* тома «нивского» издания можно взять следующие рассказы: Сны, Золотое дно, Заря всю ночь, Иля, Цифры, Зеркало, Белая лошадь (прежнее заглавие — «Астма»), Маленький роман, Птицы небесные. — Некоторые заглавия этих рассказов были прежде иные, я их изменил.

Исправленные и сокращенные тексты этих рассказов тоже находятся в вышеупомянутом пакете.

Все это (из II и IV т.) ввести в собрание, *следуя хронологии.*

Указания насчет стихов я делаю на книжках («Нивских») стихов.

Есть кроме того (приложенный здесь же) пакет стихов *писанных рукой* — эти стихи тоже можно ввести в будущее собрание.

Всё — и стихи и проза — что я не ввожу в *это* собрание моих сочинений, напечатать, *если это нужно, как приложение к нему.*

После меня явится, может быть, у кого-нибудь мысль печатать мои письма, дневники, записные книжки. О письмах я уже написал в другом месте («К моему завещанию»): я чрезвычайно прошу *не* печатать их, — я писал их всегда как попало, слишком небрежно и *порою* не совсем кое-где искренно (в силу тех или иных обстоятельств) да и просто неинтересно; из них можно взять только кое-какие отрывки, выдержки — чаще всего *как биографический материал.* (Если бы нашелся умный и тонкий человек, который мог бы выбрать эти отрывки!) Дневники мои тоже, по-моему, мало интересны (в общем). Их я тоже писал как попало и с большими промежутками. Да и уничтожил я очень большое количество этих записей. Против печатания их, впрочем, не имею такой решительности, как против писем. — Записные книжки *можно* печатать.

Издать отдельным томом русские и иностранные рецензии и статьи обо мне (начиная с самой первой — И. И. Иванова в «Артисте», не помню, какого года 1889? 1890?). Но, конечно, взять эти рецензии и статьи *в выдержках* — как русские, так и иностранные (последние должны быть *переведены* на русский язык).

Чемодан с этими рецензиями и статьями (конечно, собранными — да и то неполно — только *за время эмиграции*) находится в Париже, на нашей квартире — 1, рю Жак Оффенбах. Сохранилось ли то, *что осталось в Москве,* не знаю.

Ив. Бунин

Мы считаем особенно своевременным опубликование литературного завещания И. А. Бунина в связи с той варварской цензурой, которой подверглась «Жизнь Арсеньева» в журнале «Москва» в СССР. *РЕД.*

ДНЕВНИК П. Н. МИЛЮКОВА*

(ПЕРЕГОВОРЫ С НЕМЦАМИ В 1918 ГОДУ)

За любезное разрешение напечатать отрывки из «Дневника П. Н. Милюкова» редакция выражает свою благодарность профессору Ф. А. Мозли, председателю правления Архива Русской и Восточно-Европейской истории и культуры при Колумбийском Университете в Нью Иорке. За помощь при публикации мы приносим благодарность также куратору упомянутого Архива Л. Ф. Магеровскому. «Дневник П. Н. Милюкова». находящийся на хранении в Архиве, охватывает время с мая 1918 года по январь 1921 года. Публикуемая часть дневника П. Н. Милюкова относится к маю-июлю 1918 года. Этот дневник П. Н. вел в Киеве, начиная с 28-го мая, когда он приехал туда с Дона. Мы печатаем в этом номере четыре отрывка из дневника П. Н., — это всё, что непосредственно относится к его переговорам с немцами в Киеве. Один отрывок от другого мы отделяем строкой точек.

4–17 июня. Утром меня вызвал В. И. Вернадский для свидания с Н. Пр. Василенко, который рассказал про вчерашний обед у Эйхгорна. К столу не были приглашены гетман и другие министры, кроме министров к. д.: Василенко, Ржепецкого, Гутника, а также Дорошенко и Кистяковского. За столом велась общая беседа, Василенко (был предметом особого внимания) сидел по левую сторону Эйхгорна, военный министр — по правую. Потом, за круглым столом, началась более содержательная беседа. Грёнер спросил Василенко какие существуют партии в Москве. Когда в беседу вмешался Кистяковский, Грёнер оборвал беседу. Потом, когда очистилось место подле Василенко, Грёнер подозвал Гаазе[1] (псевдоним принца Гессенского). Гаазе сел и начал специальный разговор: «считаете ли вы, что пора восстановить единство России — конечно не такой, как прежде. Нужно исходить из Киева (т. е. Киев —

---

* Copyright, 1961, by Archive of Russian History and Culture.

[1] П. Н. пишет в дневнике эту фамилию и Гаазе и Haase. Мы везде даем эту фамилию в русской транскрипции. *Прим. ред.*

столица). Украина будет вроде Баварии, единство — вроде Германской империи. Но мы можем иметь дело только с монархическими партиями». Ответ Василенко: «сколько мне известно, и Милюков теперь стоит за монархию». Гаазе: «а где теперь Милюков?» Василенко — «не знаю». — Сообщив это, Василенко спросил моего мнения и посетовал, что не зная моего письма комитету, не мог говорить положительнее. Я сказал, что в этом есть преимущество: если *ко мне* обращаются, то тут более удобный базис для беседы. Я, конечно, пойду на сговор лишь на известных условиях: пересмотр Брестского договора с (крайним требованием) восстановлением старых границ. Условие единство: *всероссийское* гражданство, *суверенность центрального органа* (не связанного обязанностью по всякому случаю вновь договариваться) и бюджет не в виде матрикулярных взносов, (не Bundesrat), *единство территории* (словом не Staatenbund). Украину, в худшем случае я готов поставить в особое положение, но оно не может быть нормой для всей России и всех остальных соединяющихся единиц. Согласен, конечно, определить границы полномочий договором, который не подлежал бы одностороннему изменению (как одна из австрийских провинций). Не согласен на *союз* с Германией, а только на благожелательный нейтралитет и торговый договор: это уже неизбежно. Но нельзя Россию заставлять нести новые тяжести войны и нельзя круто поворачивать: надо менажировать общественное мнение и помнить, что мы — крайняя партия, с которой германцы *могут* разговаривать. Гаазе упомянул, что они дадут нам сильную армию и германских инструкторов («ваше высшее офицерство превосходно, но низшее никуда не годится»); это мне тоже не нравится: мы — не турки. Вообще надо указать, что мы не должны воспитывать Deutschenhass, которое похоронит их вместе с нами (1813!), и потому есть известный предел; нужно указать также, что иначе мы создадим внутренний фронт и опять разделим Россию на две половины: союзнический и германофильский. Москва — более удобное центральное место, около которого охотнее объединяются те, кто не захочет объединяться около Киева. Решено, что сегодня вечером Н. Пр.[2] скажет обо мне Гаазе.

[2] Николай Прокофьевич Василенко (1866-1935), историк, в 1918 г. при гетмане министр народного просвещения, академик Украинской Академии Наук в Киеве. *Прим. ред.*

Визит Каплина (члена Кубанской делегации, председатель ее Рябовол) в сопровождении Д. Н. Григоровича-Барского. Они здесь добиваются вооружения для казаков и он утверждает, что у них уже есть 20-тысячная армия (я разочаровываю: всего 5 тысяч). Сперва обещали всё дать, теперь ничего не дают. Говорили сперва с украинцами, потом с германцами. Украинцы заявляют: мы вам (Кубани) дадим *только* автономию; федерации не хотим. Если согласитесь быть украинской провинцией, тогда, быть может, получите впоследствии и оружие. Форгач говорит: это ваше дело с Украиной, нас не касается. Германцы вообще ничего не говорят. У них альтернатива: или подчиниться украинским требованиям или воссоздать юго-восточную республику. Я спрашиваю: а если придется объединиться *около России,* а не около Украины, вы удовлетворитесь автономией? Да, конечно, но не все: Рябовол упорный федералист. Но зачем спорить об именах: фактически это будет то же. *Я:* если нужно *вновь* созидать, то надо шить платье по ребенку. Мой совет: поддерживать юго-восточный союз, и не идти на положение украинской провинции.

5-18 июня. Вечером вторичное свидание с министрами к.д. Интересный разговор с Гутником. Он сблизился с германцами-финансистами, с Мельхиором, участником договоров в Бресте и Бухаресте, представителем гамбургского дома Варбурга. Между прочим он предложил Одесской думе германскую выгодную операцию: выпуск 100 миллионов городских кредиток под обеспечение по 75 к. в Reichsbank и с уплатой по 4 процента. Но дума заартачилась, потом германцы увидали, что покупки хлеба не так велики, что их марки очень хорошо идут — и операция не состоялась. Грёнер, по словам Гутника, человек бисмарковской складки, и у него ничего не узнаешь: большой политик и умница. Но из намеков и оговорок своих знакомых Гутник заключает, что главная цель германцев — изоляция Украины от Великороссии. Когда Гутник рассказал вести из Москвы, что положение советской власти слабо и ей грозит падение. Мельхиор сказал: das ist schlimm, Sie sind kriegerisch gesinnt — могут после усиления опять начать борьбу с германцами. Временами они настаивали на скорейшем заключении мира с Россией. По словам Ник. Прок. и других сегодня конференция близка к разрыву: большевики настаивают на своих границах (в Черниговской, Курской губерниях и Донской области). Германцы упорно молчат. Сегодня Грёнер и Мумм вызваны в Берлин. Там, очевидно, предстоят какие-то решения. Гутник дальше говорит, что смысл германского пла-

на разрешение аграрного вопроса (muss unbedingt gelöst werden) состоит в продаже земель крестьянам за наличные деньги по пониженной цене (например рублей 500 или 1.000 за десятину). Таким образом может быть из деревни выкачают деньги, снабдят ими правительство, а с помещиками расплатятся свидетельствами в *новой валюте*. Создание этой валюты должно тоже отделить Украину от Великороссии. В то же время, однако, Гутник отмечает, что германцы не стоят за расширение Украины. Его спрашивал (Эйхгорн?): как вы думаете о юго-восточном союзе? Он ответил: это фикция, силен только Дон. — А Кубань? Ну, Кубань ни то, ни сё. О Крыме Эйхгорн ему говорил: das ist nicht ernst.

6-19 июня. Написал статью о Дернбурге для «Русского Голоса»: статья Д. в Berliner Tageblatt дает удобный повод, чтобы цензурно ввести публику в мои мысли. Сегодня Василенко должен иметь разговор с Гаазе.

7-20 июня. Утром вызван к В. И. Вернадскому. Там Ник. Прок., который сообщает. Он просил Гаазе назначить свидание, но было отвечено, что Гаазе уехал (утром). Вечером Гаазе сам нашел Василенко, где было заседание, вызвал его в сад и там беседовал. Василенко сказал: наш разговор задел много интересных вопросов и вы между прочим спросили, где Милюков. На другой день Милюков приехал в Киев. *Гаазе:* он приехал из Ростова, он был там с Калединым и Алексеевым? — *Василенко:* Да. *Гаазе:* Как бы повидаться? *Где* можно бы устроить свидание? Василенко мнется; тогда Гаазе предлагает собственную квартиру (Екатерининская 11). Я предпочел бы нейтральное место, о чем раньше говорил Василенке. Но, раз так стал вопрос, соглашаюсь завтра на 11 часов. *Гаазе* предупреждает: это будет частная беседа (как и наша предыдущая), но о результате я доложу правительству. Будут две главные трудности: Курляндия и Украина (Василенко еще раньше сказал, что мои взгляды в некоторых пунктах соприкасаются: я склоняюсь к монархии и согласен на иное устройство частей России, чем раньше). *Гаазе* между прочим спросил: за кого Милюков: «согласие» стоит за Михаила Александровича, а другая сторона — за наследника. *Василенко:* но ведь наследник опасно болен? *Гаазе:* мало ли что говорят газеты.

Л. Н. Трескин привозит письмо М. В. Алексеева от 25 мая. Через час приводит капитана Парфенова, который повезет

сегодня мой ответ. Парфенов в курсе переговоров кн. Тундутова с Берлином. На мой вопрос, правда ли, что Тундутову сказали в Берлине, что там не хотят объединения России, он рассказал сцену: Добринский задал этот вопрос Тундутову в присутствии германского офицера, который сказал: вы, князь, не так поняли: вы должны сначала показать, что у вас есть силы и организация и что вы нам дружественны. Тогда пойдет речь и о походе на Москву. — Тундутов и Добринский едут сегодня же к Краснову с официальным предложением германского штаба: в течение двухнедельного срока выяснить отношение генерала Краснова к германцам и к юго-восточному союзу. Юго-восточному союзу обещается мир и нейтралитет, независимость и право сформировать армию; там может формироваться и «особая» добровольческая армия, если она ориентируется на германцев, для *похода* на Москву.

Утром Василенко рассказывал свой разговор с гетманом и его замечания о трех министрах. 1) Лизогуба оставить премьером и назначить особого министра внутренних дел; 2) сомнения относительно Гутника, на которого ему жалуются, что он проводит интересы банковских сфер и 3) «Панама» в продовольственном ведомстве Соколовского.

8-21 июня. 11 часов утра разговор с Гаазе. — После первых приветствий он говорит (разговор идет по-немецки, за исключением отдельных фраз): исключительное положение теперешнего момента может продолжиться: война может быть будет продолжаться еще год и больше; только при окончательном расчете мы можем определить окончательно свое отношение к России; до того времени мы должны иметь *гарантии.* В частности, относительно нашего положения на Украине и относительно положения Украины. — *Я:* если вы на такой долгий срок отодвините наше соглашение, то оно теряет для меня большую часть интереса.

Что касается гарантий, — ведь вы здесь сами. Вам нужна экономическая эксплуатация России: вы ее имеете. *Гаазе:* А вы думаете, что много от вас вывезли? Мы ввозим к вам больше чем вывозим. *Я:* Во всяком случае, это положение — временное, и не на него вы рассчитываете в будущем. Относительно положения Украины скажите, прежде всего, как вы представляете себе положение в будущей России других частей ее? Для меня первая и главнейшая цель теперь есть объединение России; у нас, слава Богу, нет еще «38 Monarchen» и я спрашиваю себя, что же, положение Украины должно быть исключительным, или по ее образцу должны быть наделены правами

и остальные части России. Я знаю, что вы представляете себе положение Украины вроде положения Баварии. Но ведь у нас не король, а гетман: или, быть может, вы хотите основать на Украине королевскую династию? *Гаазе* несколько смущенно допускает, что у высших властей может появиться такая цель, но тотчас поправляется и говорит: нет, Украина с теперешним гетманом... *Я:* с гетманом, узурпировавшим свою власть, с гетманом выборным или назначенным императором? Но все это — различные положения. Я не мог бы никоим образом примириться с созданием новой монархии в Украине и не хотел бы ничего подобного вашему Bundesrat'у с его характером международно-правового соединения. Я не хотел бы также давать Украине особого войска, тех остатков дипломатического представительства, которые имеет Бавария и, быть может, той широкой власти в податном и железнодорожном отношении. Но я не против того, чтобы считаясь с сложившимся положением, признать за Украиной особые Reservatrechte с тем только, чтобы они не служили образцом для других частей России. Так как для меня объединение есть главная цель, то я прежде всего считал бы нужным выяснить, как это Sonderstellung отразится на целом. Я не хотел бы, чтобы, если вся остальная Россия составит унитарное государство, Украина соединилась с ним в дуархии, вроде Австро-Венгрии или Венгро-Кроатии. Она не должна претендовать на особый характер представительства в империи. Для империи же вообще мои основные условия суть: единство гражданства, единство территории и суверенитет центральных органов. Все это, конечно, есть и в «союзном государстве», как Германская империя, но так как такое происхождение федерации — историческое, то естественно припришлось считаться с прежним положением независимых королевств. Совершенно иное — у нас, где только что созданы искусственные новообразования и живы традиции государственного единства. *Гаазе,* резюмируя: во всяком случае вы не против известных преимуществ для Украины, хотя не идущих так далеко, как особые права Баварии? *Я:* Да, но чтобы эти преимущества были бы исключительными. *Гаазе:* Словом — so wenig, als möglich? (улыбается). А как вы относитесь к союзникам? Правда-ли, что ваша партия отчасти еще стоит за союзническую ориентацию? И что могут сделать для России союзники?

Я: Партия колеблется и, конечно, не может сразу переменить свою прежнюю ориентацию. Однако, большая часть ее понимает уже, что надо считаться со совершившимися факта-

ми. Отчасти перелом в ней замедлился потому, что я лично протагонист союза с альянсом. Но теперь вы его видите. Что касается вопроса, что могут сделать союзники для нас, я скажу только: что бы они ни сделали, теперь уже поздно. Их помощь, во всяком случае, не могла бы поспеть, в лице Японии, раньше нескольких месяцев и тогда лишь повела бы к созданию внутреннего фронта. Вот тут, по-моему, откладывая объединение России, вы делаете очень большую ошибку (Гаазе берет бумагу и начинает записывать). Теперь, когда этой помощи еще нет, объединить Россию гораздо легче, чем будет потом, скажем осенью. Теперь, если Россия будет едина, она может сказать бывшим союзникам, ссылаясь на свой нейтралитет, что их помощь больше не нужна. Потом, когда они будут на Урале, это будет труднее: Россия разделится на две части, с двумя ориентациями, — и вам придется воевать с противниками на внутреннем фронте, среди России. Таким образом в ваших интересах ускорить осуществление той задачи, к которой сводится теперь задача объединения России: освобождение Москвы.

Гаазе. Как вы себе представляете осуществление этой задачи?

Я. У меня есть план. Хотя я ничего не понимаю в военной стороне дела, но я представляю себе, что нужно в политических видах. Нужно не оскорбить самолюбия нации. Для этого необходимо сделать хотя бы вид, что Москва освобождена усилиями самих русских. Способ для этого есть: участие добровольческой армии. Ваша помощь могла бы выразиться в том, что вы охраняли бы западный фронт Московской области и грозили бы вторжением оттуда: добровольческая армия, которой вы помогли бы оружием и снарядами, могла бы быть подвезена по кратчайшему расстоянию на Воронеж или Курск.

Гаазе. Но добровольческая армия недостаточно сильна для этого предприятия?

Я. Во-первых, в последние дни ее состав постоянно увеличивается. Я только что получил известие, что в один день прибыло 400 офицеров. Надо, конечно, притянуть к ней офицерство и из других мест.

Гаазе. Всё — офицеры; а солдат в ней нет? И казаки ненадежны?

Я. Да, это по существу современного положения есть

офицерская армия. Казаки есть, но, может быть, они не пойдут на Москву. Как бы то ни было, это только вопрос о *размерах* вашей помощи: если вы согласитесь, что надо спешить, то вы не будете ждать пока добровольческая армия достаточно вырастет и усилится: просто, вы только сами поможете в бо́льших размерах.

Гаазе. Но нам нужно быть уверенными в сочувствии добровольческой армии к германцам. Говорят, Алексеев против нас. Придется тогда его заменить, тем более, что он, говорят болен.

Я. Это правда, что ориентацию целой армии переменить нелегко. Но я имею основание думать, на основании своей переписки с Алексеевым, что он теперь уже не так чужд мысли о необходимости считаться с объективными фактами. Против перемены фирмы добровольческой армии я был бы очень решительно. Нам нужен Алексеев, и именно для того, чтобы придать всему походу такой характер, при котором он встретит наименьшее психологическое противодействие в партиях, которые иначе были бы настроены резко против.

Гаазе (записывает): так вы, значит, за то, чтобы сохранить, хотя бы номинально, имя Алексеева.

Я. Конечно, ему мог бы помогать Деникин, с которым они прекрасно ладят.

Гаазе. Теперь — другой вопрос. При восстановлении единства вы, конечно, имеете в виду пересмотр Брестского договора.

Я. Само собой разумеется: это — две стороны одного и того же вопроса, а не другой вопрос. Единство России предполагает восстановление ее старых границ — полностью.

Гаазе. Но вы, конечно, понимаете, что нам трудно было бы отказаться от того, что составляет цену принесенных нами жертв и усилий? В частности, Курляндия, например...

Я. Напротив, я уверен, что вам это будет очень легко. Некоторые из ваших партий вообще недовольны вашими «анексиями» на Востоке. Вы делаете огромную ошибку, создавая этот пояс Randstaaten. Они разделят участь древней «части Лотаря», которая привела вас к целым столетиям споров и осложнений... К тому же, вы здесь имеете дело с вновь возродившимися национальностями и я уверен, что если бы вы настояли на их независимости, мы всегда имели бы в них готовых союзников против вас же. Наконец, я не могу себе представить ваш договор с Лениным: для этого не нужно восстановлять монар-

хию. Но я не понимаю вот чего: раз вы уже идете на восстановление границ (например, не упоминаете о Лифляндии и Эстонии), то стоит ли говорить о такой мелочи, как Курляндия? Конечно, границу можно частично исправить, но ваша Liebesgabe новой династии должна быть полна: тогда она произведет впечатление и укрепит династию. Вам этих приобретений не надо, потому что раньше вы об этом и не думали.

Гаазе. Мы, конечно, могли бы претендовать и на весь Остзейский край.

Я. Нет, об этом уже безусловно не может быть разговора. Лифляндия и Эстляндия должны быть наши.

Гаазе (записывая): таким образом относительно Курляндии вы допускаете дальнейший разговор?

Я. Да, я допускаю исправление границ.

Гаазе. Ну, а относительно Польши? (смеется).

Я. Я понимаю, что вам было бы приятно — попросить нас взять нашу Польшу обратно, и что это — опасный для вас дар... Но для нас это дело чести (Ehrensache: Гаазе записывает), и я сам, в качестве министра иностранных дел подписывал акт о независимости Польши. Это, однако, не значит, что я распространяю это на Литву и Белоруссию: их я предполагаю вернуть в состав единой России.

Гаазе. Но вы не исключаете местных прав?

Я. Партия народной свободы всегда стояла за широкую автономию областей; — даже тогда, когда это дело было для нее вредно. Конечно, и теперь она допускает автономное устройство, но не далее: за исключением Украины, в России и нет данных для более широких требований.

Гаазе. Теперь, еще вопрос. Для похода на Москву надо идти объединенными. Можете ли вы, кадеты, идти вместе с монархистами?

Я. Смотря потому, с какими монархистами. Совершенно исключена возможность пойти со сторонниками абсолютной монархии.

Гаазе. Но ведь они все-таки есть и влиятельные. Быть может, они впоследствии пойдут без вас... Большинство офицеров на их стороне?

Я. Я не думаю, чтобы их было много. Во всяком случае мы можем идти только на восстановление народной (volkstümliche)

монархии, а не самодержавной. Если впоследствии ход событий нас ототрет от главного курса, это — дело истории. Но теперь без нас обойтись нельзя: куда бы вы не пошли: сюда, на Дон, в Крым, везде вы находите нас, потому что мы — staatsbildender Element и находимся теперь в самом фарватере истории.

Гаазе. Вы занимаете место национал-либералов в Германии?

Я. Нет, мы левее их; но до известной степени нас можно сравнить с национал-либералами до-бисмарковского времени (Гаазе записывает). Тогда они были левее, а поправели потом.

Гаазе. Но как же вы пойдете с добровольческой армией? Ведь там — монархисты-абсолютисты, например, Деникин, Марков...

Я. (улыбаясь). Вы ошибаетесь. Мне стоит немалого труда склонить их хотя бы к конституционной монархии. Они были республиканцами.

Гаазе (удивленно). Республиканцами? А ваша партия?

Я. Мы никогда не приписывали принципиального значения форме правления, если только она гарантировала парламентарное правительство, и при этом условии мы считали республику и конституционную монархию — формами безразличными. Мы, конечно, были за республику, когда она была — не то что провозглашена, но подготовлена революцией. Но я лично тогда же убеждал Михаила Александровича принять назначение и предуказывал ему, что Временное Правительство — утлый чёлн и что без монарха мы погрузимся в океан анархии. Монархисты это знают и, если они не абсолютисты, пойдут со мной. Я знаю и про монархическое движение среди офицеров, говорил с ними и всегда отговаривал от сепаратных выступлений, убеждая их подождать, пока монархический лозунг примет вся добровольческая армия. Я надеюсь, что имел некоторый успех и что так и будет. Но, повторяю, это будет союз с *конституционными* монархистами; абсолютисты должны остаться в стороне.

Гаазе. А кого вы имеете в виду? Одни говорят об Алексее, другие о Михаиле Александровиче. На чьей стороне стоят союзники? Хотят ли они тоже восстановить монархию?

Я. У меня мало сведений из Москвы: граф Мирбах должен это знать лучше. Но я думаю, что едва ли союзники вообще станут на сторону монархии. Монархия может, конечно, со-

здаться в Москве и внутренним процессом, в результате изживания большевизма.

Гаазе. Тогда мы уже потеряем случай участвовать в ее создании?

Я. Вот именно. Потому-то вы и должны спешить.

Гаазе. Будет ли монархия популярной? Удержится ли без нашей помощи?

Я. Я думаю, при известных условиях, да. Если монархия принесет с собой единство России и прежние границы, то, конечно, она будет популярна. К тому же народ устал и охотно ее примет. Но, повторяю, нужно, чтобы это была народная монархия, а не прежняя. Именно поэтому я лично склоняюсь к кандидатуре Михаила Александровича. Кандидатура Алексея приблизила бы к престолу некоторые личности, которые прежде вызывали Deutschenhass. Вы понимаете, что теперь с этим нужно быть особенно осторожным.

Гаазе. А если Михаил Александрович подпадет под влияние союзников?

Я. Михаил Александрович подпадет под влияние тех, кто будет около него; по моему личному впечатлению, это — человек слабый.

Гаазе. При Алексее может быть понадобилось бы назначить регента?

Я. Вот в этом и заключается одно из неудобств этой кандидатуры, так как назначение регента может быть раздуто в большой и спорный политический вопрос.

Гаазе. При том же оба кандидата — в руках большевиков и союзников, которые могут овладеть ими.

Я. Это уже вопрос техники. Нет, конечно, надобности разглашать о кандидатах в газетах. Если технические препятствия окажутся непреодолимыми, в конце концов, вопрос о лице — второстепенный. Возьмите Дмитрия Павловича и жените его на Ольге (Гаазе: дочери царя? — записывает).

Гаазе. Тут есть князь Тундутов. Что вы думаете о юго-восточном союзе? Есть ли такое правительство? Тундутов — атаман казаков?

Я. Тундутов — один из импровизированных дипломатов, каких теперь много. Правительство есть — Быч в Новочеркасске (я забыл про Харламова и Филимонова и смешал с

Кубанским). Это годится как vorläufige Stufe к единению, временное создание отдельных областей как Дон, Кавказ, Крым, «независимых» «впредь до объединения России», как об этом заявил Краснов. *Там* объединение легко, ибо там уже нет никаких элементов особой государственности — да и никакого желания фигурировать в роли отдельного государства.

Гаазе. Наша беседа — необязательный частный разговор — необязательный (unverbindlich) взаимно. Но я передам это в высшее место. Если условия ваши будут приняты, то вы согласитесь войти в непосредственный контакт (Fühlung)?

Я. Конечно соглашусь, ибо это мой долг перед Россией. Так, как я поставил вопрос, я не могу не считать важным участвовать в его решении. Если дело пойдет иначе, — я не скажу, чтобы вы не могли получить кадетов без меня, но я лично не ангажировал бы своей репутации и предпочел бы продолжать свою частную жизнь и писать второй том истории русской революции.

Гаазе. Это должно быть очень интересно. Хотите, мы издадим его вам — в Берлине. У нас есть для этого все средства. Конечно, ваш труд будет переведен по-немецки.

Я. Для заграницы я думал приготовить другое издание, с менее подробным фактическим изложением. Во всяком случае очень благодарен за предложение; я о нем подумаю.

В течение беседы Гаазе не раз обращался к нашей союзнической ориентации, к гарантиям, что мы не изменили и впредь будем друзьями Германии. Я отвечал на всё это: оставим в стороне музыку будущего. И я, и все мы, в конце концов прежде всего русские и работаем для России. Постарайтесь быть нам полезны, и наши отношения сами собой получат прочный характер. Вы понимаете, что чувства народа нельзя переменить сразу. Но они тоже не неизменны. Всё зависит от вашего отношения к нам. Никто не откажется от своей пользы и не будет искать своего вреда. Вы спрашиваете, пойдем ли мы с вами в будущем? Это — смотря по тому, как вы понимаете это будущее. Некоторые из ваших партий ставят себе такие дальнейшие цели, при которых наши пути неизбежно разойдутся. Если этого не будет, и у нас окажутся общие интересы, мы пойдем вместе. Вот всё, что я могу сказать в данный момент и уверить вас, что мы не доктринеры, мы не верим Wahlverwandschaften между какими-нибудь специальными народами: мы прежде всего русские и служим России.

Гаазе записал мой адрес.

В разговоре Гаазе хотел еще, чтобы я признал, что «мы сделали ошибку, начав эту войну». На это я ответил, что вопрос происхождения войны — исторический и очень сложный, но что я могу ему сказать, что я лично был решительно против войны и что мой орган «Речь» был закрыт правительством за кампанию против войны, когда она началась.

Приехал Винавер с поручением от Центрального Комитета выяснить поведение украинцев. Моя ориентация для него совершенно неожиданна и поразила его чрезвычайно. Он почувствовал сразу, что попал в трудное положение. Он пришел в 4 часа. Беседа была отрывочная и короткая, продолжалась на улице.

У Григоровича-Барского, после обеда, совещание с министрами по просьбе Василенко. В. сообщает: гетман решительно ставит вопрос об отделении министра внутренних дел от президентства, хочет писать Лизогубу, но тогда может грозить отставка последнего и полный министерский кризис. Он пока отговорил гетмана и отрицательно высказался о кандидатуре Игоря Кистяковского в министры внутренних дел. Но кого предложить вместо? И. П. Д.[3] предлагает Савицкого. Затем вопрос о необходимости разогнать земства, которые проводят агитацию «спілки» среди крестьян на украденные Н. Ковалевским пять миллионов. Связь земств и Петлюры с восстанием крестьян — несомненна. На съезде земств только что принята криминальная резолюция, которая делает разгон необходимым — по крайней мере того большинства (33 против 19), которое приняло эту резолюцию. Ч. приносит мне документы.

9-22 июня. Утром свидание с Бенони — посланцем Пасманника. Излагаю ему общие линии своей политики. Они совпадают с его собственной, но крымские к.д. (особенно Оболенский) против. Благодаря их несговорчивости, желанию устранить определенно-татарские кандидатуры, и Сейдамета, и т. д., провалилась комбинации с к.д. кабинетом, и в правительство попали правые, после того как германцы махнули рукой на переговоры с к.д. и поручили дело Сулькевичу. Слова Пасманника: «Милюков должен принять на себя проклятие истории и сговориться с германцами».

---

[3] Повидимому Игорь Платонович Демидов, член партии к.-д., близкий к Милюкову человек. *Прим. ред.*

Потом длинная, часа два с половиной, беседа с Винавером у него. Он подробно излагает всю историю в Центральном Комитете относительно ориентации, резюмируя в свою пользу. Телеграммы Маклакова, переговоры с иностранцами, *собственная* ориентация, ораторский успех Винавера на съезде, а в результате — правые элементы «правого центра» пошли своим путем (с Нольде), отдельно от к.д., и когда это открылось, по настоянию Вас. Ал.[4] с одобрения Пав. Ив.,[5] *к.д. вышли из правого центра.* Винавер озабочен, как избегнуть дальнейших разделяющих нас шагов; предлагает проект *минимальной* резолюции («Ц.К. не отвечает за действия киевлян; решит съезд»), которую я нахожу излишней и схоластичной. Переданную мне московскую резолюцию буду критиковать.

. . . . . .

Поздно вечером приходят Набоков и А. И. Каминка. Последний имел подробный разговор с неким Tremfels, который после того предложил ему и мне свидание с Муммом.[6] Назначено на завтра, 10 ч. утра Palast-Hotel. Главная мысль Каминки — добрые отношения с Германией *в будущем.* Я советую не соблазнять этим. В Москве он долго говорил с Кривошеиным и нашел его почти во всем приемлемым. Предлагал ему премьерство. Говорил о Коковцове.

14-27 июня. Утром свидание с Муммом, присутствевал еще Каминка и один (говорящий по-русски) немец, приглашенный Муммом в свидетели. Разговор плохо клеится и перерывается длинными паузами; Мумм ведет его крайне осторожно, избегая деликатных пунктов, только прислушиваясь и не подавая реплик. Авг. Ис.[7] раза два пытается вставить в интервалы свои мысли и поддержать разговор; я выдерживаю паузы. Мумм сперва расспрашивает меня, давно ли в Киеве, где провел время раньше и т. п. внешние детали. — «Вы приехали в Киев делать политику?» — Я: «у меня нет этой специальной цели;

---

[4] Повидимому Василий Алексеевич Маклаков. *Прим. ред.*

[5] Повидимому Павел Иванович Новгородцев. *Прим. ред.*

[6] Барон Альфонс Мумм, немецкий посол в Киеве, при гетмане. *Прим. ред.*

[7] Август Исаакович Каминка, профессор, член партии к.д.; с 1920-х гг. — один из редакторов газеты «Руль» в Берлине; погиб при Гитлере в Прибалтике. *Прим. ред.*

если это будет нужно, и если я смогу быть полезен России то да; в противном случае буду писать второй том истории революции». — «Вы виделись здесь с политическими друзьями?» «Знаете Василенко?» — несколько похвальных слов по его адресу. *Я:* да, многие приезжают сюда с разных сторон; я виделся и с здешними. Василенко я знаю давно, мы старые друзья. Расспрашивает и Каминку о цели его приезда. Ответ: Geschäftsreise. Еще раз возвращается в разговоре к моей цели. Я отвечаю: «чтобы выразиться кратко, это — объединение России в старых границах». Он переспрашивает; во *всех* старых границах? Я говорю: Да. Он вздыхает: «это трудно». Я соглашаюсь, что трудно. Попутно Каминка и я говорим о тяготении здешнего населения к России, об искусственности украинского движения. Каминка особенно подчеркивает экономическую необходимость владения балтийским берегом и свободного выхода из Балтийского моря, — пользуясь для этого вопросом о состоянии Петрограда. Он вставляет и свою мысль о том, что не надо ограничиваться расчетом на данный момент, а строить отношения, которые могли бы оказаться прочными для будущего. Мумм переходит к моей прежней союзнической ориентировке. Каминка напоминает, что положение не всегда было таково, что ориентация во внешней политике меняется, мы говорим попутно о влиянии немецкой литературы и науки на русскую интеллигенцию, о переводной германской литературе. Каминка говорит, что до войны в России не было особой вражды к немцам. Я оговариваю, что все-таки в низших классах она есть, но не в интеллигенции. Каминка подчеркивает, что я был против войны и «Речь» была закрыта из-за моей кампании. Мумм спрашивает, что же теперь делать. Прибавляет, что он знает в общих чертах разговор майора Гаазе со мной. Я говорю, что с тех пор положение несколько изменилось, следствие успехов чехо-словаков и высадки японцев, а если они еще провозгласят Михаила Александровича, то будет очень трудно, и это еще раз доказывает, что надо спешить с походом на Москву, который должен, с германской помощью, быть сделан добровольческой армией. Мумм высказывает предположение, что японцы, люди холодные и расчетливые, едва ли заинтересуются внутренностью России. Я отвечаю, что и у меня была эта надежда, но что последнее время уступки французов в Индо-Китае заставили их вмешаться. Указываю на опасность внутреннего фронта. Разговор переходит к слухам о царе: у них нет никаких сведений, и они не верят слухам. Я подтверждаю, что из двух кандидатур — Алексея и Михаила

— я лично предпочитаю последнюю, ибо боюсь приближения к трону личностей, могущих возбудить ненависть к германцам. Говорим о взрыве в Киеве, о пожаре на Подоле, о взрыве на Friedrichstrasse. Мумм говорит, что в последний день его пребывания в Берлине Кюльман произнес в рейхстаге речь, в которой возлагал на Россию ответственность за начало войны. Я говорю: пора предоставить истории решить этот старый спор: иначе можно только возбудить взаимное раздражение, ибо ни вы не можете стать на нашу точку зрения, ни мы на вашу. Лучше к этой теме не возвращаться. На вопрос о «дружбе» с германцами отвечаем, что дружба следует за интересом. «Кто мог бы ожидать, что России война принесет такие бедствия?» Я отвечаю коротко: да, к сожалению. Знаком ли я с гетманом? Нет. Знаю ли я Раковского?[8] Да, лет 10-15 назад знал как болгарина, и никак не ожидал, что наступит момент, когда он будет представлять интересы России. Я жил в Болгарии два года, был в Софийском университете; Шишманов мой старый приятель. Мумм в разговоре признает, что не знает России, что здесь трудно разобраться, что он служил лишь на Дальнем Востоке, в Китае и в Японии. Расспрашивал Каминку о положении банков, о возможности основать отдельный банк для Украины. К. отвечает, что это невозможно, хотя для здешних отделений они и устроили общую связь, и дела быстро развиваются. К. подчеркивает, что здешние клиенты предпочитают вверять сбережения и делать дела в *русских* банках. Мумм спрашивает, долго ли я здесь останусь, записывает адрес; это сигнал к окончанию беседы и мы встаем. Прощаясь, Мумм говорит: о Милюкове так много говорят и пишут, что очень приятно наконец лично с ним познакомиться. Надеюсь, что мы будем еще не раз видеться и сделаемся лучшими друзьями, чем вы были до сих пор. Я: «будем надеяться». Раскланиваемся. Выходя, я замечаю Каминке: «первая рекогносцировка».

. . . . . .

Приезд молодого Михайлова из Москвы с встревоженными письмами Щепкина о моем «странном», «апокрифическом» до-

---

[8] Хр. Раковский, известный большевик, предсовнаркома Украины в 1919 г.; опубликованные документы немецкого министерства иностранных дел в книге — Z. A. B. Zeman «Germany and the Revolution in Russia (1915-1918)». London. 1958 — устанавливают связь Раковского с немецким министерством иностранных дел во время войны. *Прим. ред.*

кументе (письмо в главный комитет), дошедшем «через врагов» (правый центр). Щ. предостерегает против Дм. Митроф. и Леонтьева, говорит о разрушении партии, если верна моя перемена, о неизбежности идти «без лидера», верит и не верит, грозит, проклинает и надеется. Предлагают приезд Н. И. Астрова: я отказываюсь: бесполезно. Мои объяснения приводят юношу в крайнее смущение: я, очевидно, упал с пьедестала, и он чуть не плачет о моем моральном падении. Новые объяснения заставляют его задуматься.

27-10 июля в 11 ч. приходит посланный от Гаазе. Просит назначить свидание. Я объясняю, что после разговора с Муммом, который злоупотребил разговором и разносит по городу, что я агитирую против гетмана, я не могу идти к Гаазе и прошу его или придти сюда или выбрать нейтральное место. Уславливаемся в 5-6 часов сегодня: он придет или пришлет сказать. Еще раз объясняю, что это не относится к Гаазе, что вероятно есть разница мнений, но что я, после поступков Мумма, должен быть настороже.

Плетнев приносит сообщение, что «Русские Ведомости» вовсе не стоят всецело за союзническую «ориентацию», что только Белоруссов стоит на ней вполне, Мануйлов близок ко мне и уже в марте написал передовицу в этом смысле, а молодежь, с пр. Савиным во главе, резко стоят за германскую «ориентацию». Просит статью.

Приходит Гаазе. Суть разговора на этот раз вращается около утверждения, что пересматривать Брестский договор они не хотят. Это говорится и в начале, и в середине, и в конце. Попутно затрагивается целый ряд вопросов.

Гаазе. С тех пор, как мы говорили, положение очень изменилось.

Я. Да, я тоже это нахожу: явилось много новых трудностей. Вы, кажется, решили идти вместе с большевиками; это, конечно, меняет все положение.

Гаазе. Нет, это совершенно невозможно, чтобы мы шли с большевиками. Но большевики не хотят изменять Брестского договора, и у нас нет причины разрывать с ними мирные отношения. Мы вообще не хотим идти дальше и вмешиваться во внутренние дела, если нас не приглашают. Странное положе-

ние России, что в ней пара тысяч чехословаков может оказаться господами положения.

Я. Не пара тысяч, а, кажется, больше.

Гаазе. Ну, сорок-шестьдесят тысяч: это пустяки, которые не делают разницы. Вы сами себе помочь не можете, вам нужна наша помощь, и не малая: и за эту помощь мы должны жертвовать тем, что приобрели? Что было бы здесь, если бы мы были принуждены отсюда уйти.

Я. Но ведь мой план и основывается на том, чтобы просить у вас как можно меньше помощи. Я хотел использовать содействие добровольческой армии, но теперь, очевидно, для этого момент неблагоприятен. Я, конечно, согласен, что помощь нужна — и не малая. Но ведь вы сами принуждены будете ее дать, если не захотите бороться с японцами здесь и сами будете выбирать место встречи.

Гаазе. Ну, пока еще это будет: японская опасность несерьезна.

Я. Я хотел бы не верить в серьезность японской опасности, но это трудно.

Гаазе. Японская опасность опасна для вас самих.

Я. Именно поэтому я хотел бы ее предупредить.

Гаазе. Вы не изменили вашей позиции со времени движения чехословаков?

Я. Нисколько. Но это не мешает мне видеть новые трудности.

Гаазе. Согласны ли с вами политические друзья?

Я. Нет, тут есть серьезные разногласия; в Москве они высказались в другом смысле, не зная моего взгляда.

Гаазе. В Петербурге они кажется с вами согласны?

Я. Да, в Петербурге они ближе ко мне, но и в Москве есть влиятельные члены партии, которые стоят на моей стороне. Здесь главный совет только что санкционировал мой взгляд. Вообще, об этом я не беспокоюсь; я знаю, что партия будет со мной, если я приобрету твердую опору в Германии.

Гаазе. Но вы слишком многого хотите. Может быть, можно было бы встретиться на полдороге?

Я. Если вы хотите серьезно говорить о сближении с Рос-

сией, то вы не должны торговаться. Россия не примирится со своими потерями.

Гаазе. Да, если бы у нас были другие дипломаты, в стиле Бисмарка...

Я. Я только и понимаю политику в большом стиле. Иначе, не стоит об этом говорить.

Гаазе. Мы говорили о Randstaaten. Может быть можно было бы ограничиться разговором о самостоятельности Украины?

Я. Я могу говорить только в целом, а не по частям. Со времени нашего разговора я убедился, что для того, чтобы поставить Россию на мою точку зрения, мне надо преодолеть немалые трудности. Я имею влияние и не отчаиваюсь это сделать, но только в том случае, если буду уверен, что у меня есть почва под ногами. А то ведь вы мне оказываете плохие услуги. Вы, например, останавливаете поездки офицеров на Дон, вы арестовали Рясняиского, в то время как надо переломить настроение добровольческой армии. Эти меры, конечно, действуют в обратном направлении. Офицеров не так легко переубедить, как партийных друзей.

Гаазе. Мы не пускаем только офицеров, которые прямо ангажируются для антанты, например, на Мурманск. Ряснянский здесь агитировал среди солдат, и у нас есть этому доказательства. Но мы пропускаем офицеров к Краснову. Москву освобождать пойдет добровольческая армия.

Я. Речь идет не об армии Краснова, а об армии Алексеева. Относительно нее ваше отношение изменилось. Ряснянского я видел несколько раз: это серьезный офицер, а не агитатор, и ко мне он приходил, чтобы выяснить мою точку зрения: я как раз видел в нем одно из орудий моего воздействия на Алексеева, а вы его арестуете. Конечно, теперь, может быть, уже поздно влиять на Алексеева. Но он может пригодиться впоследствии, как и вся армия. Я знаю, что уже теперь в ней идет процесс внутренней борьбы, и многие офицеры склоняются к моей точке зрения. Если бы было достаточно времени, то можно было бы быть уверенным в результате. К сожалению, надо спешить. И вы спешите, — и я понимаю это, — отыскивая силы против чехословаков, где можете.

Гаазе. Офицеры — против Алексеева.

Я. Только те кружки, которые стоят вне армии. Но нам надо иметь *всю* армию, и для этого нужно не раздражать ее:

в последний момент, может быть, она еще склонится к вам. Если нет, если она уйдет на Восток, то и на Востоке может пригодиться. Помните, что там Михаил Александрович.

Гаазе. Но *здесь* — Дмитрий Павлович. Вы, вообще, имеете контакт с монархами?

Я. Да, в известной степени имею: для монархистов двух кандидатов, во всяком случае, слишком много.

Гаазе (возвращается к мысли о трудностях положения России). Эти трудности и должны заставить вас сделать уступки. Или вы, может быть, ждете времени, когда вы нам понадобитесь и мы сделаем уступки?

Я. (смеясь): вы правы; я думаю, что ваши трудности увеличатся, и я вам понадоблюсь, и что вы ко мне обратитесь. Во всяком случае, я повторяю, что я не смогу произнести первого слова моей точки зрения, если не приобрету уверенности, что можно говорить серьезно. Я, по счастью, наблюдаю в германской печати, что и там моя точка зрения постепенно приобретает почву. Vossische Zeitung ее постоянно проповедует, но вы можете найти ее и в Kreuzzeitung.

Гаазе. Вы знаете, я руссофил, прежде жил в России и желаю России всякого блага. Но ведь там говорят вообще о сближении, а не о пересмотре Брестского мира.

Я. Вы ошибаетесь: я недавно читал в Vossische Zeitung статью Когена-Рейсса: Der Frieden, den wir haben müssen. Там открыто признается, что Брестский договор принес вред Германии и должен быть пересмотрен. Я вообще не понимаю, как может быть иначе, если вы хотите прочных отношений. Ни один человек в России не пойдет на них, если мы понесем потери.

Гаазе. Но должны же мы приобрести какие-нибудь выгоды. Я всегда думал, что ваш главный интерес в Сибири, на Востоке. А на западной границе вы могли бы быть уступчивей.

Я. Я знаю, что так думали в Германии с 90-х годов прошлого века. Но это была ошибка. Россия не азиатское государство. Россия принадлежит к Европе. Что касается выгод, — то вы их приобретете в экономическом отношении; откажитесь от них в смысле территориальном. Иначе нельзя укрепить монархии в России.

Гаазе. Думаете ли вы, что монархию примут массы? Например, рабочие?

Я. Нет, рабочие останутся социал-демократами. Но их у нас немного. А среди крестьян монархия будет встречена сочувственно.

Гаазе. Едва ли среди здешних крестьян.

Я. Вы правы, что здесь процесс изживания большевизма прерван вами и представляет maladie rentrée. Но даже и тут контрасты сходятся. Большевики, курьезным образом, часто обнаруживают монархические тенденции.

Гаазе. Может быть в красной гвардии?

Я. Да, пожалуй.

Гаазе. (встает и прощается). Вы здесь еще остаетесь?

Я. Я не знаю, г. Мумм каждый день настаивает на моей высылке. Он просил меня сам придти для разговора, а затем не только не сохранил тайну, но, напротив, ходит по городу и всем говорит, что я агитирую против гетмана и Украины. В первый раз в жизни встречаю такого странного дипломата. Я, конечно, говорил не de lege lata, a de lege ferenda, и делать из моих слов такое употребление дипломату не подобало бы.

Гаазе. Да, наши дипломаты... Но я ничего не слыхал о том, что вы говорите... Итак, теперь, не время, но, может быть, время придет?.. Если вам встретится во мне надобность, пожалуйста обращайтесь ко мне. (Прощается).

. . . . . .

3-16 июля. Приходил молодой Савицкий с которым я познакомился в Христиании у Гулькевича и рассказал между прочим «из вполне достоверных источников», что германцы довольны Лизогубом, но недовольны гетманом за его подчеркивание самостийности Украины. Они де теперь считают, что нужно поддерживать единую Россию, а ее отношения к Украине — вопрос второстепенный.

Вечером обычное заседание с министрами. Василенко сообщает мне приватно, что через Беркгейма получено требование из Берлина о моей высылке. Лизогуб просит выехать куда-нибудь поблизости, например, в Чернигов, на время. Григорович-Барский требует обсуждения вопроса. Я говорю, что надо подчиняться и не производить шума, который может только повредить делу, которое, видимо, начинает налаживаться.

Требование о высылке — остаток стареющей ориентации, которая скоро уступит место новой. Демидов не согласен и заявляет, что мой отъезд автоматически вызовет шум и создаст положение, при котором партия не сможет остаться безразличной. Главный Комитет может переменить точку зрения: дело может дойти до выхода министров. Зеньковский соглашается, что это может вызвать кабинетный вопрос и требует обсуждения. Гутник, поддерживая меня, рассказывает свой разговор с финансистом (очевидно Мельхиором), который три дня назад вернулся из Берлина. Теперь Мельхиор уже не повторяет старых своих опасений, что восстановление монархии пробудит воинственный дух в России. Он признает, что официальная точка зрения на Россию теперь сохраняется лишь формально и что рядом с ней поднимается очень сильное новое течение, которое стоит за *пересмотр* Брестского договора и за создание добрых отношений в будущем путем усиления России и ее объединения. Много содействовало этому разочарованию, испытанное германцами на Украине — разочарование, как они признают, *обоюдное*. Нельзя держаться среди 35 миллионов недовольных. Повторять эту авантюру с Москвой они не хотят, — и на этом держится их старое отношение к советскому правительству. Гутник замечает, что в данном случае германцам не понадобится применять новую военную силу, так как северная Россия изжила уже большевизм. Им нужно только перестать поддерживать власть, которая только и держится их признанием и поддержкой, которой «Россия никогда им не простит». На кого при этом опираться? Гутник определенно говорит: на деловых людей, то есть, на кадетскую партию. Мельхиор подтверждает: когда они приехали в Берлин, то в кругах рейхстага на них прежде всего напали за *кадетский* характер министерства. Они ответили: дайте нам других деловых людей, кроме к.д., и мы пойдем с ними. В неделовитости украинцев мы убедились. Гутник продолжает: в крестьянстве вы не встретите поддержки. Крестьянские волнения вызываются вовсе не национальным движением, которого в деревне вовсе нет, а идеями даровой раздачи земли и т. п. Можно опираться *только* на буржуазию и интеллигенцию, *то есть,* на кадетов.

Все это, по впечатлению Гутника, произвело значительное впечатление на Мельхиора.

Василенко вчера заговорил у гетмана с Гаазе, который, видимо, хотел начать серьезный разговор: он успел лишь сказать, что в политике события движутся очень медленно, как

подошел Шишманов и стал говорить о моем враждебном отношении к Украине.

4-17 июля. Утром посещение Гутника, Зеньковского и Д. Н. Григоровича-Барского. Вчера ночью мой инцидент принял характер министерского конфликта. Лизогуб во втором часу ночи поставил на обсуждение совета министров письмо к нему гетмана — следующего содержания. Гетман напоминает, что Милюков еще находится в Киеве и сообщает, что в Берлине удивлены, что человек, высказывающийся за объединение России, может оставаться в Киеве. Он настаивает на том, чтобы «завтра же» Милюков выехал в Крым или в место, какое выберет. Затем началось обсуждение. Два министра соглашались с гетманом: Дорошенко, все еще обиженный, что я у него не был, и Бутенко. Двое молчали: Василенко и Кистяковский. Остальные высказывались против — и некоторые очень резко: Гутник и Зеньковский. Говорил против и Чубинский, предупредив, что он не к.д., хотя и был таковым. Было сообщено в прениях, что Штейнгель[9] писал о своем разговоре с Бушем, который выразил ему недоумение, как можно терпеть в Киеве Милюкова, который высказывается против Брестского договора, хочет его *полного* пересмотра и стоит за объединение с Россией. Штейнгель прибавляет: вам понятно, с каким тяжелым чувством я выслушал это. Гутник дал понять, что отъезд Милюкова есть обида для всей партии, члены которой после этого должны поставить вопрос об уместности своего пребывания в кабинете (он сказал это не прямо, но прозрачно). Он прибавил, что, собственно, ведь германцы *сами* обратились к Милюкову; пусть они и высылают. Лизогуб считал, все-таки, необходимым добровольный отъезд Милюкова. Но Гутник заметил, что это не устраняет необходимости для других членов партии, министров, поднять вопрос об отъезде. В конце концов было решено (хотя не голосовано), что сегодня Лизогуб выскажет гетману, что совет министров был крайне удивлен его письмом и просит его пересмотреть свое решение, для которого не находит оснований. Гутник и Зеньковский оба полагают, что мне теперь не следует уезжать добровольно, а ждать действий; для них же, в случае моего вынужденного отъезда, становится неизбежным уход из правительства. К сожалению, прибавил Гутник, кажется, уйдут только они двое.

---

[9] Барон Федор Рудольфович Штейнгель (1870-1946), член 1-ой Госуд. Думы, посол гетмана в Берлине. *Прим. ред.*

Впрочем, решительно возражал против высылки также Ржепецкий. Молчал только Василенко, а Гутник рассказал, что он лично пробовал устроить свидание с Муммом. Я рассказал им мои разговоры с Hasse (не Haase), чтобы дать материал для утверждения, что не я искал германцев, а *меня* искали, что переговоры *не* кончились, поскольку речь идет о военном командовании.

4-17 получена бумага: Директор Департамента Державной Варты М. В. С. м. Киев « » июль 1918 р.: Директор Департамента Державной Варты Министерства Внутренних Дел Петр Александрович Аккерман просит Господина Павла Николаевича Милюкова пожаловать для переговоров завтра 18 сего июля, от 10 ч. утра до 2 ч. дня, в Департамент, Александровская ул. Мариинский дворец, правый флигель. Нет ни подписи, ни числа, ни печати.

Сообщаю об этой бумаге Григоровичу-Барскому, для передачи министрам.

Поздно ночью, от 12 до часу, телефонные звонки от Зеньковского из заседания совета министров и из министерства внутренних дел. Меня вызывают из совещания с группой Гуревича. Зеньковский просит разрешения рассказать то, что я им утром говорил про переговоры с германцами. Разрешаю. Директор департамента извиняется. «Бумага послана без моего ведома, это со мной случается в первый раз. Извините, что делать, порядки в министерстве не налажены». Потом, помолчав, продолжает: «дело в том, что от высшего начальства я получил сперва одно распоряжение, а потом другое, прямо противоположное... Приношу извинения, бумага послана не мной».

5-18 июля. Утром приходят Григорович-Барский и Вернадский и рассказывают. Вчера сообщили Лизогубу о посланной мне повестке. Он взволновался, пошел справляться, оказалось, что она послана без ведома Аккермана (как он утверждал) и что посылались противоречивые приказания относительно меня. Мысль о свидании с Лизогубом министрам понравилась. Ржепецкий выразился, что какой-то пакостник получил власть и упражняет ее на мне.

Разговор Лизогуба с гетманом был короткий. Скоропадский пожелал сам услышать мнение министров о моей высылке. По окончании других дел после полуночи в его присутствии состоялся обмен мнений, продолжавшийся два с половиной часа. Против меня высказался только Бутенко, но гораздо мягче,

чем прежде: он заявил, что собственно министры не настоящие кадеты (ибо кадеты должны стоять на точке зрения единства России). Возражал также Палтов, пришедший вместо Дорошенка, ушедшего от этой части заседания; но возражения Палтова имели характер перерывов и восклицаний с места. Очень хорошо и горячо говорили Зеньковский и Гутник, давшие картину положения и показавшие нелепость меры. Нарушил на этот раз молчание Василенко, признавший, что конечно, у присутствующих есть чувства по отношению к России и к русской культуре, но это не мешает работать на пользу Украины. Таким образом, разговор расширился с личного вопроса обо мне до принципиального. Лизогуб высказался с неожиданной твердостью, упомянул, что сам был кадетом (записался в один из районов и вышел после 3-го июня), высказал определенное отношение ко мне. Гетман, который все время молчал, поблагодарил за искренность высказанных мнений (оговорившись, что «недомыслия» — термин, употребленный Зеньковским, у него не было), раскланялся перед интеллигентностью партии и передо мной, но заявил, что мнения своего изменить не может. Выразил удивление, каким образом его письмо, посланное министру внутренних дел *для исполнения,* могло стать предметом обсуждения в совете министров. Лизогуб ответил, что кабинет солидарен и что он не счел возможным скрыть в таком вопросе от кабинета письмо, адресованное *лично* к нему. Гетман заявил, между прочим, что если министр внутренних дел затрудняется, то он может прибегнуть к услугам министра военного, начальника штаба, послав ко мне с предложением в мягкой форме. Прощание с гетманом было довольно сухое. Министры решили переговорить между собой о последствиях этого разговора в 8 час., а в 6 назначить совещание со мной у Барского. На них заседание произвело впечатление подготовленного конфликта, корни которого глубже, чем вопрос обо мне. Василенко в заседании заговорил о возможных последствиях конфликта, указав, что в результате его может на короткое время появиться у власти министерство щирых украинцев, но затем власть перейдет к правым. Гетман, по его словам, может опереться лишь на группы от к.д. и правее. Социалисты-федералисты — против власти гетмана, чему имеются фактические доказательства (в этом месте речи Вас-ко гетман встрепенулся). Повидимому, мнение министров (и Вернадского), что на этой почве конфликт нужно принять и готовиться к уходу из министерства, если гетман не уступит, — ибо это борьба вообще против к.д. По-моему также уход в такой момент и по принципиально-кадетскому поводу выгоднее, чем дальнейшее дискредитирование к.д. —

министрами не к.д. поставленными в трудное положение. Уход сохранит к.д. для близкого будущего, когда в них почувствуют действительную надобность. По некоторым слухам, у гетмана уже есть готовый список министров. Агитация, будто бы, направлена против Василенки, на которого украинцы негодуют за его последние меры в области высшей школы (спасение университета Св. Владимира от украинизации).

Вечером заседание у Григоровича-Барского с министрами Василенко, Зеньковским, Гутником и Ржепецким. Зеньковский находит, что теперь от кабинетного вопроса не уйдешь и что уход к.д. своевременен, ибо иначе все равно их удалят впоследствии при менее благоприятной обстановке. Василенко, напротив, полагает, что вопрос расширили сами к.д., подняв разговор о партии вообще, и что в сущности ничего особенного не случилось. В 4 часа утра, после второй бессонной ночи, все устали, а теперь отдохнули и подумали: начинать конфликт не следует, чтобы не сыграть в руку противников. В их среде речь идет о назначении Игоря Кистяковского министром внутренних дел, вместо Василенко — директор его департамента, вместо Колокольцова — Чикаленко (старик), вместо Соколовского — Никоцкий и т. д. Другие к.д. пока остаются: все расчитано на *постепенную* (?) замену. Ржепецкий, повторяя тезисы своей речи, говорит: суть дела в том, что гетман боится Милюкова по четырем причинам: 1) М. может сговориться с германцами против самостийности, 2) может настроить в том же смысле интеллигенцию, которая уже начала мириться с положением, 3) настроить так же кадетскую партию и 4) самих министров. Письмо гетман написал потому, что его неоднократные просьбы к Василенко об отъезде М. не оказали действия. Ржепецкий против министерского кризиса, ибо тогда господство перейдет к социалистам, и Украина погибнет. Инцидент со мной мог бы кончиться тем, что я заявил бы, что я живу в Киеве, как частный человек. Это была и его позиция, когда он утверждал, что я никакой агитации не веду. Я ответил, что такое объяснение во 1) ничего не изменит, во 2-х) было бы лицемерием, ибо нельзя отрицать, что во всех указанных четырех направлениях я могу иметь влияние, как общественный деятель и член партии. Ржепецкий, волнуясь, выводит: значит, гетман был прав, опасаясь вас. Я отвечаю: да, отчасти он был прав, но он должен опасаться не меня, а тех настроений, которые *помимо меня* действуют против укра-

инской самостийности и среди германцев, и среди интеллигенции, кадетов и министров. Я же, наоборот, смягчаю, и мое удаление усилит это настроение. Предлагаю Василенко, по окончании кризиса, разъезжать по разным городам, числясь *формально* в Киеве, что устранит и волнение среди партии, ибо «высылки» не будет.

Гутник, приехавший позже, рассказывает свой новый разговор с Мельхиором. В германских кругах ничего не знают о министерском кризисе и не хотят перемен, а относительно инцидента с Милюковым Мельхиор отрицает влияние Берлина и говорит, что за *форму,* принятую вопросом, они не ответственны. Гутник выводит, что все было подстроено заранее также и из того, что на докладе у гетмана, когда он попутно сказал, что не знает, будет ли министром, гетман сказал ему, что нет никаких поводов так говорить, и что милюковский вопрос с конфликтом не связан, а дело тут *совсем в другом.* Конфликта нельзя смягчить, потому что инцидент Милюкова перешел уже в инцидент Лизогуба, который, вероятно, вечером заявит о своем выходе. Это сделает неизбежным и выход к.д.

Василенко, который уезжал во время спора и вновь вернулся, подтверждает, что кампания направлена против него, и вовсе не изъявляет желания сдаваться, полагаясь, видимо, на личное доверие к нему гетмана. Инцидентом надо воспользоваться, чтобы удалить Дорошенко и Бутенко, убедить Лизогуба остаться только председателем совета министров и найти на м. внутренних дел и продовольствия своих людей. Мое предположение — уехать *после* кризиса, формально оставаясь в Киеве, видимо, его интересует.

Я особенно настаиваю, чтобы не уходили отдельно Зеньковский и Гутник, а «равнялись бы по Василенке». Иначе нам придется открыть пальбу по оставшимся. Нельзя удалять Лизогуба, принявшего нашу сторону.

Никаких решений после этого обмена мыслей не принимается, но общее настроение: *самим* кризиса не создавать и не ускорять.

7-20 июля. Утром пришел Григорович-Барский, которому Зеньковский рассказал о вчерашнем совещании с Лизогубом. Кадетов спросили, чем они решили на вчерашнем совещании со мной. Они отвечали, что не хотят раздувать вопроса. Зеньковский тоже, по моему совету, «равнялся по Василенке». Выяснено было, что гетман тоже не хочет конфликта и лишь обижен резкими выражениями Зеньковского и Гутника (которых,

однако Палтов не мог припомнить). Наши сказали, что я никоим образом не хочу вкладывать палки в колеса министерству, но хотел бы своему отъезду придать приличный вид — не «высылки», чтобы не раздражать партию. Лизогуб заявил после всех разговоров, что он все-таки уходит, потому что считает, что премьер *должен* быть председателем совета министров, и что они коренным образом расходятся с гетманом во всем: где один видит белое, другой видит черное. Инцидент Милюкова и некорректное к нему обращение гетмана есть лишь последняя капля. Он предлагает товарищам указать ему, кого ему назвать гетману в качестве своего заместителя. В ответ все уговорили Лизогуба остаться и не вызывать общего кризиса. Вопрос окончательно выяснится сегодня при докладах Лизогуба и Зеньковского у гетмана.

Приход Яснопольского от Ржепецкого — не то с намеком, что я должен помочь правительству отъездом, не то что он, Р., выйдет из партии.

Приехал Бурышкин из Москвы. Он — в совете прежнего правого центра. Сюда едет князь Григ. Ник. Трубецкой с официальными поручениями от центра ко мне, он же — случайный собеседник и информатор.

Спрашиваю о сношениях с германцами. У них впечатление более благоприятное. Неделю назад Рицлер[10] обращался с предложением завести формальные переговоры об освобождении Москвы *русскими* силами. Для этого, по мнению Р., достаточно очень небольшого отряда, какой мог бы быть набран из остатков военной группы правого центра. Подробные переговоры до отъезда Б. еще не начались. Кандидат правого центра — Мих. Ал., и они очень озабочены его отсутствием, причем место пребывания его (быть может, около Вологды) неизвестно. Освободили его французы и гарантировали ему пребывание во Франции. Если бы он не пошел на ориентацию правого

---

[10] Курт Рицлер, чиновник нем. мин. ин. дел. С сентября 1917 г. советник герм. посольства в Стокгольме. Был связан с Парвусом, Радеком, Ганецким и др. в деле финансирования большевистской партии германским правительством. В 1918 г. работал в нем. посольстве в Москве с графом Мирбахом. После убийства Мирбаха был отозван в Берлин. *Прим. ред.*

центра, который целиком разделяет его кандидатуру, то пришлось бы побудить его вовсе уйти из русских дел, прежде чем перестраиваться на другого кандидата. Пересмотр Брестского договора, повидимому, московская группа считает необходимым условием, но Бурышкин об этом ничего не знает. Против меня у Щепкина Н. Н. и у Астрова очень сильное настроение. Повидимому, Астров едет в Сибирь. Слабость воинских сил советской власти обнаружилась при восстании с.-ров, которое могло бы удаться, если бы было успешно в самом начале. *Против* были только китайцы, главная поддержка совета; часть эстонцев, латышей и солдаты в случае удачи примкнули бы или бы остались нейтральными. Левые окрылены успехами чехословаков и серьезной удачей с-ров в Ярославле, где происходил кровопролитный бой и большевики истреблялись беспощадно. Убийство Мирбаха вызвало в Москве общее приподнятое настроение. Несколько германских эшелонов (тысяч 5-6) в русских шинелях несомненно отправлены на Волгу. Как участник городского союза Б. знает документально, что выдавалось обмундирование. Перед отъездом он слышал, что на Новинском бульваре видели германскую часть. Отказ Ленина — отвод глаз.

Вечером, во время заседания с донскими делегатами, (Вилков и Зеленский), приехавшими для выяснения своих недоумений, вызванных «послом» от Москвы Асмоловым (утверждал, что правого центра вообще нет, а есть «союз национальной обороны», в котором очень выдвинулся Струве), появился германский начальник полевой полиции, опросил имена и намеревался произвести личный обыск. Объявил при этом, что я не подлежу личному обыску. Затем в особой комнате заставил Демидова прочесть и объяснить ему протокол совещания (прилагается), в котором обратил особое внимание на резюме моих двух речей и протелефонировал по телефону некоторые места, в том числе отмеченное им карандашом место о том, что «с японцами не получим единства, а получим нового эксплуататора». Затем вышел к собравшимся, объявил, что это частное собрание, которое не нуждается в разрешении, а Крушнову, хозяину квартиры, сказал, что был введен в заблуждение и что «набьет морду» напутавшему служащему. Состав присутствия, (в том числе «President des Obergerichts») произвел, видимо, должное впечатление.

9-22 июля. С 1 ч. до 5 ч. завтрак, данный мне министрами при участии Григоровича-Барского, Чолганского, Крупнова, Демидова, Набокова. Первая речь Гутника дает мне тему о «страннике, лишенном родины». Демидов говорит, что «здесь» приносится «жертва», Крупнов резковато обвиняет министров в безразличии к преследованиям меня и заявляет, что не знает, как защитить. Ржепецкий волнуется и уступает мне слово. Я прошу не смотреть трагически: дело идет не о жертвоприношении Авраама и о руке с небеси, которая его остановит, а о выполнении сообща принятого решения. Завтрак должен вынуть жало личной горечи. Я *странник* уже давно, и *жертва* недоразумения. Колесо истории скрипит и вертится медленно: понимание больших идей всегда дается задним числом. В 1905 г. Столыпин обвиняет парламентскую партию к.д. в терроризме; в 1917 г. монархисты обвиняют меня в низвержении монархии; из Болгарии меня изгнало русское правительство, — а я поддерживал русскую культуру; так и теперь меня обвиняют немцы — за «германскую ориентацию». Против этих траги-комических эпизодов одно оружие — терпение. Никто не ведет отряда прямо под пулеметы. Но мы идем к одной цели, и после конфликта из-за меня, я еще более убедился, что цель эта — объединение России — одна. Конечно, объединение придет не с громами и дрекольями, а путем сговора за таким же столом, только не как Шелухин[11] с Раковским, а как друзья и единомышленники. Ржепецкий говорит трогательную речь о мне лично и о значении моего приезда. Василенко признает, что, как историк, я умею отметать второстепенное от главного, признает огромное значение главной цели и то, что мы идем к ней вместе. Украина должна стать частью России. Главная заслуга двух месяцев управления министерства: 1) устранение австрийской точки зрения и 2) переход от национальной точки зрения к территориальной. Это — путь к моей цели. Гутник затем говорит, что на моем инциденте они впервые почувствовали себя кадетами, сплотились в группу, — и вместе с тем чрезвычайно выросло их влияние на ход дел. Таким образом — получился чистый плюс. Подчеркивает значение к.д., как первой европейской деловой партии. Я резюмирую: advocatus diaboli Крупнов должен теперь понять, что diabolus и здесь das Böse will und das Gute

---

11 Сергей Шелухин (1864-1938), член Украинской Центральной Рады, министр юстиции в кабинете В. Голубовича, глава делегации в русско-украинских переговорах. *Прим. ред.*

thut. *Мне* германцы устраивают рекламу, в *правительстве* сплачивают к.д. Опыт прошлого партии дал мне право и смелость на крутые повороты. Значение ЦК и партийной оппозиции. Инцидент с парадоксами на последнем заседании Гл. Комитета — и Дм. Николаевич из роли безответственной оппозиции переходящий на *мою* роль в Киеве. Ржепецкий поднимает затем вопрос о том, что я, значит, признаю автономию Украины (соглашение равных за «столом» — со мной, как министром), и о том, что надо создать автономную партию к.д. Григорович-Барский отвечает, что это само собой разумеется. Поднимая мысль Ржепецкого, что надо «взять в руки украинское движение», Василенко упрекает «Русский Голос», что он всегда защищает только русские интересы. Он подчеркивает, что между министрами три разных оттенка в национальном вопросе и упрекает Зеньковского, что тот идет слишком далеко в вопросе церковном. Зеньковский защищается, доказывая, что за ним стоит группа, и напоминая о своей прежней позиции — отделение церкви от государства. Я заявляю, что по вопросам национальным и церковным предпочитаю точку зрения Василенко, которую всегда защищал в великодержавной России: государство не должно быть конфессиональным и национальным, а должно стоять над религиозными и национальными различиями. Иначе получается австрийская — лучше сказать, мадьярская политика, школы Аппоньи и т. д. Партия искала исхода национальным стремлениям в персональной автономии, чтобы сохранить за государством *территориальный*, а не национальный принцип. Может быть эта идея — слишком преждевременна, при национальном безразличии масс. Но противоположная идея, мадьярская, ведет к излишнему сближению государственных и национальных элементов. Русское государство не должно было быть великорусским и православным. То же и относительно Украины.

П. Н. Милюков

МОЙ ОТЕЦ - ШОЛОМ АЛЕЙХЕМ

Древний русский город — Киев. Сердце Украины. Зеленые, кудрявые холмы, а на горе, над Днепром, отражается в темных водах громадный электрический крест Святого Владимира. С нашего балкона виден Крещатик, а за ним — Днепр. И летом, в зеленом, и зимой в белом, — одинаково красив Киев. Но прекраснее всего Киев весной. Где на свете есть еще такая весна?

Одно только плохо в Киеве — мостовые. Они такие ухабистые, с такими выбоинами, что когда едешь по ним на извозчике — всю душу вытряхивает! Вот на таком извозчике, по такой мостовой, весной — я еду с отцом. Я — девочка лет восьми. Мы едем на вечеринку к нашим родственникам — к присяжному поверенному М-ру. Все старшие уже там. Отец, видно, опоздал, и я, верно, плакала, чтоб меня взяли. И вот мы едем. Отец, сидя на дрожках, поет украинскую песенку:

«У су-сида ха-та би-ла,
У су-си-да жин-ка мыла»...

— Перестань петь! — говорю я. Мне стыдно, что папа, такой взрослый, громко поет.

— Почему? — спрашивает он и смеется. И он поет еще громче. Чем глубже ухабина, чем больше выбоина, чем выше мы подскакиваем, тем громче он поет.

«А у ме-не ни ха-тын-кы...»

— Перестань петь! — говорю я строго и тяну его за рукав. — Слышишь?

Он громко смеется, а мне стыдно. Мне стыдно, что у меня такой папа. Поет на извозчике...

У М-ра уже полон дом гостей. Сидят, стоят группами. Все взгляды обращены к входящему отцу. Его небольшая, подвижная, худощавая фигура появляется то тут, то там среди гостей. И где он ни появляется — смех. А мои детские глаза сле-

дят за ним, наблюдают его: — «Странный папа! Не такой, как у всех!»

Большая низкая комната. Это наша столовая. Большая люстра висит над столом. Она с длинными стеклянными висюльками. Эти висюльки звенят при каждом движении. Если топать ногами, они звенят еще больше. Мы, дети, ведем хоровод. Нас четыре дочки и один сын — Миша. Мальчик редкой красоты. Мы держимся за руки, кружимся вокруг стола и поем:

«Ах, попалась, птичка, стой!
Не уйдешь из сети,
Не расстанемся с тобой,
Ни за что на свете!»

Отец стоит в дверях столовой и серьезно смотрит на нас. Каждый из нас хочет показать ему, что поет лучше других. Мы избалованы. Нас никто никогда не наказывает. Мы шумим. Иногда ссоримся. Брат Миша, рассердившись, обычно хлопает дверями так, что стеклянные висюльки на люстре вот-вот упадут и разобьются. Впрочем, если мы уж чересчур капризничаем, отец наказывает нас. Он берет газету, складывает ее на подобие веера, и шлепает нас ею. Это называется «нафицкать». От этого наказания, повидимому, больше всех страдает сам. Он бледнеет и расстраивается. Руки его дрожат. Вот почему с раннего детства, мать приучила нас скрывать все неприятности от отца: — «Тише! Не говори этого папе!»

Длинный зимний вечер. За окном идет снег. Папа сидит на диване, а мы около него. Не обошлось без ссоры. — «Пусти меня!» — «Меня! Я раньше пришла!» — «А я раньше сказала, что хочу тут сидеть!» — Он обнимает обеими руками нас обеих. Его руки всегда теплые. Он рассказывает нам что-нибудь тихим голосом или напевает что-нибудь задушевное. Его голубые, добрые глаза так мечтательны. Мы, дочери, обожаем отца и ревнуем друг к другу. Но мы знаем, что больше всех он любит старшую Тисю. Он зовет ее — Тисюня. И точно также, он сидит на диване, обнимая мать. Точно также, он треплет ее по щеке и целует. При других он зовет ее — Ольга. Тут на диване, он зовет ее — Биби.

В зале — большой рояль. Отец часто присаживается к нему и играет по слуху. Его мотивы всегда грустные, все те же, еврейские, мы знаем их и он всегда играет или одним пальцем или аккордами. Он любит так сидеть у рояля.

Мы шумим, а он пишет. Мы барабаним на рояле, а он пишет. Мы никогда ему не мешаем. Он входит к нам в детскую с пером в руках. — «Чему это вы так смеялись?» — И он начинает смеяться и веселиться с нами. Когда он хохочет, он хватается за живот обеими руками, крутится так по комнате и громко стонет: — «Ой! Я не выдержу!»

При нем мы стараемся быть лучше. Есть что-то в его добрых голубых глазах, что останавливает нас, детей, от драк и грубых слов в его присутствии. Это — немой укор через очки, который мы, дети, так хорошо знаем. Он не сердится, он только говорит: — «Но-но! Дети!» — И при этом укор в глазах... Этого достаточно, чтобы устыдить нас.

Нельзя в его присутствии сказать дерзость бабушке. Боже сохрани — не так ответить матери. Он — сама вежливость. Он не скажет прислуге: «Дайте мне стакан воды». А только: «Я хотел бы стакан воды...»

Как бы рано ни встать, — отец вставал еще раньше и сейчас же к столу, писать. Писал он, стоя у маленького высокого столика. Писал — и сам с собой смеялся. В мягком купальном халате, вместо шлафрока, в ночных туфлях на босу ногу, стоит с раннего утра и пишет, грызет ногти и пишет.

Я вхожу к нему перед уходом в гимназию, чтобы поцеловаться. Он смотрит на меня, но не видит меня. Его глаза далеко, далеко, где то в «Кастриловке»... Мы, дети, спрашиваем его: «Где ты, папа, теперь? в каком мире?»

Унылый день. С утра заладил нудный дождь. Отец опоздал к обеду. Теперь он обедает один. Мать сидит возле него. Он рассказывает ей, что напрасно пробегал весь день на бирже. Ничего...

— Ничего?

— Ничего!..

На его тарелке запоздалый обед: кусок перестоявшегося жаркого, кислый огурец. Он тяжело вздыхает, так страшно тяжело вздыхает. Его глаза полны уныния. В них тоска и грусть, такая же, как на тарелке...

Веселый, радостный день! Праздник в доме! Эй, дети! Папа будет сегодня читать свой новый рассказ!

— Папа будет читать! Папа будет читать! — прыгаем мы. И он, собрав вокруг себя свою «республику» («холястру»),

как он называет нас — читает перед нами, своими первыми слушателями и первыми ценителями. Его лицо светится каким то внутренним светом. Чем больше он доволен рассказом, тем больше светится лицо. Будто Дух Святой — над ним. Мы смеемся, слушая рассказ. Мы довольны и радуемся, будто писали мы вместе с ним.

Так же радостны бывали музыкальные вечера М. М. Варшавского, автора знаменитых народных песен, автора «Ой-фн припичек». Он приходит к нам, как только сочинит новую песню. У нас, у большого рояля он поет своим приятным баритоном и сам аккомпанирует себе.

«На предпечнике горит огонек
И в избе жарко,
И рэбэ учит маленьких детей
Азбуке...
Твердите деточки, твердите, милые,
Повторите еще раз
И еще разок
А... Б... В...
Когда вы, детки, вырастите
Вы сами поймете,
Сколько горя, плача и слез
Скрыто в этих буквах»...

...Поет он в нашей большой, низкой зале. А мы стоим около рояля и смотрим Варшавскому прямо в рот. Потом эта песня разойдется повсюду, где есть евреи, — теперь же мы — первые слушатели.

Мы с ним самые лучшие друзья. Варшавский умеет тоже петь петухом, блеять овцой и мяукать кошкой. Не раз мы искали кошку под диваном, когда он приходил к нам. Маленького роста, толстенький, веселый, добрейший человек. Он умер в сумасшедшем доме. Кажется, отец корректировал его песни.

У отца в кабинете, на письменном столе, разные штучки. Коробка для сигар (он курил сигары) какая-то удивительная, как ящик с фокусным замком. Только отец может ее открыть. Больше никто не умеет. Секрет. А вот маленький знаменитый велосипедик. Он знаменит тем, что каждый еврей, который приходит к отцу, разговаривая, обязательно должен взять в руки этот маленький велосипедик. И отец, смеясь глазами, молчаливо отбирает его и ставит на свое место.

Евреи приходят. Разные типы являются. Отец разговаривает серьезно, но глаза его смеются. Мы уже знаем: это он дурачит кого-то. Он представляется. Ах, как хорошо он умеет представляться! Он замечательный актер! Если бы он не был писателем, он наверное был бы актером. Потом, когда гость уйдет, папа будет его представлять и мы будем хохотать.

Вот так, у этой коробки с сигарами, крутя секретный замок, папа, не заметив, что я тоже в комнате, однажды сказал, обращаясь к гостю:

— А нельзя ли будет у вас одолжить двадцать пять рублей?

У отца в ящиках стола тоже удивительные вещи! Какие-то бутылочки с клеем, гвоздики, щипчики, книжечки — всё для писания. Штемпель, изображающий две руки в рукопожатии — «ШОЛОМ АЛЕЙХЕМ», значит — мир вам. Он ставит это в начале письма.

Иногда он приводит всё на столе в порядок. И когда всё стоит в чинном порядке и акуратно, он... не пишет в этот день... Так только сидит и смотрит на порядок...

Он любит меняться вещами. За удивительный брелок — удивительные часы. За эти поразительные часы — вот эта штучка на столе. Антик.

Но больше всего он любит делать подарки. Он обижается, если мы не надеваем сейчас же то, что он нам купил. Так же как и мы, дети, он радуется киевским контрактам (ярмарка). Это наше время. Мы бегаем с ним по ярмарке, покупаем разные ненужные вещи: зеленое мыло, от которого чихаем, умирающих «чертиков», медовые пряники, которых раскусить нельзя никакими, даже самыми здоровыми зубами.

Мы катаемся на карусели. Домой приходим поздно, когда уже совсем стемнело. Может быть мама не заметит так скоро, что у меня на лбу громадная шишка, — от падения с карусели, что наши новые платья разорваны, что мы выпачканы в песке и грязи... Но мы еще по дороге уславливаемся с ним, что если мама спросит, мы скажем, что ничего, что ровно ничего не случилось...

Если нам нужны были деньги, мы шли к отцу. Тогда, дети, мы еще не понимали какое это трудное искусство давать, как он владеет этим искусством! Таким он остался на всю жизнь. Когда-то, как мы часто слышали в детстве, папа был богат. Он сорил деньгами направо и налево, давал широкой рукой.

Он платил баснословные гонорары еврейским писателям, издавая в то время журнал. Его дом был открыт для всех. Этого времени мы уже не знали. Для нас это была легенда.

Отец одет всегда тщательно, красиво и оригинально. Оригинальнее других. Какие-то удивительные запонки. Галстук завязан не как у всех. Бархатный жилет с удивительными пуговицами. Он не позволяет нам надеть что-нибудь, что ему кажется некрасивым. Однажды он не взлюбил мамину шляпу. Он ее втихомолку разрезал пополам и повесил на стене. Он ни за что не станет носить костюм или шляпу, если ему скажут, что они не идут к нему. Когда он надевал новый костюм, у него на лице появлялось какое-то особенное, торжественное, праздничное выражение.

— Ах, у дяди уже новый костюм! Я узнала по его лицу! — смеется племянница Наташа М-р.

Весь день отец ходит расстроенный. Ему снились бабы-женщины. Плохой сон и он ждет неприятностей. И они приходят — эти неприятности. В его книжечке, в которой он пишет, никогда нет страницы 13. Вместо 13 он пишет: 12. У отца выигрышный билет. Каждый год он ждет выигрыша и каждый год разочаровывается.

У отца есть переписчик, молодой человек по фамилии Б-лин. У него была привычка приписывать к манускрипту свое мнение: «Чудно! Великолепно!»

Б-лин опять приписал, — говорит отец как-то смущенно.

Отец рассказывает матери что-то с большим жаром, с увлечением. Мать смеется: — «Ты опять фантазируешь, Менахем Мендель!» (Имя его героя — большого фантазера, из книги того же названия).

Отец быстро увлекается людьми и также быстро разочаровывается.

— Детки! Если тот-то придет, скажите меня дома нет.

Чудный семьянин и домосед, он не любит уходить из дому, но оба, и отец и мать, очень гостеприимны и у нас часто собираются гости. Иногда у нас в доме происходят сионистские вечера (хотя отец не считал себя сионистом), с горячими речами студентов.

Он не набожен. Но он вносит удивительную поэзию во

все религиозные праздники. Больше всего он любит Пасху. Пасха, это — **его** праздник. Наши сейдеры запомнились навсегда как симфония мелодичных мотивов. Сейдер. С лампы над столом свисают стеклянные висюльки. Свисает сама Пасха. Мы все вокруг стола: папа, мама, бабушка, наши родственники и всегда какой-нибудь бездомный гость (обычно солдат).

На Пасху, в высоком цилиндре, с необычайно торжественным выражением лица, отец ходит в синагогу. Мы — тоже. А накануне он ходил по комнатам с большим куриным пером и как-то очень элегантно сметал с подоконника «хумец». (Мы, конечно, ходили за ним).

А вкус всех этих пасхальных кушаний! Как он любит все эти «кнейдах», «кейзлах», картофельные бабки, «латкес», сладкое пасхальное вино... Пасха — это его праздник! Он любит и молочные блюда «мылхекс». У нас (может быть из-за бабушки) — кошерная кухня.

Каждое лето мы выезжаем на дачу в Боярку («Бойбрек» в его сочинениях). Это дачный поселок, в двадцати минутах езды поездом от Киева. Прекрасный сосновый лес. Там мы качаемся в гамаках, пьем кефир, ходим с отцом в «Надсонову Долину» — зеленая долина, где когда-то любил сидеть чахоточный поэт Надсон. Отец любит природу до страсти. Каждое лето он с одинаковым жаром восхищается запахом сосны, лесом, пением птиц, шишками, падающими с сосен... Каждое лето восхищается небом, солнцем, восходом солнца, заходом солнца, какой-то травкой, которая пахнет, если ее растереть в руке... Обожает цветы. Не позволяет нам их топтать. Поднимет с земли смятый цветок и с укором скажет: «Смотри, что ты сделала!»

Раннее утро в Боярке. Воздух чист. Птицы щебечут. Отец стоит в саду. Ветер развевает его длинные каштановые волосы. Голубые мечтательные глаза устремлены вдаль. Он держит в руках кусочек хлеба и бросает птицам крошки. Птицы слетаются со всех сторон. Эта картина запечатлевается в моей памяти навсегда. Таким я вижу его потом всю жизнь.

В саду... длинные каштановые волосы развеваются от легкого ветра... голубые мечтательные глаза устремлены вдаль...

Каждое лето к нам на дачу приезжает на своей бричке, на старой лошади — еврей, который продает и другим дачникам молоко, сыр, масло. Его зовут — Тевье. («Тевье-Молочник», описанный потом отцом в книге под этим названием). Это краси-

вый еврей, еще не очень старый, с бледным лицом и черной бородой. Когда он приезжает к нам (несколько раз в неделю) — у него с отцом начинаются бесконечные разговоры. Они говорят и говорят... «Папа! — тянем мы отца, — папа! довольно говорить! идем в лес!» А они все стоят и говорят. О чем они говорят?..

Каждое лето отец читает свои произведения в Боярской бесплатной санатории для туберкулезных больных. Санатория — в лесу. На его чтения стекается много дачников. Он — бесподобный чтец! Так просто и так замечательно никто больше не умел читать его рассказы. В этой санатории, на таком чтении я, шестнадцатилетняя гимназистка, знакомлюсь с Михаилом Кауфманом — удивительно красивым студентом и поэтом — моим будущим мужем.

Мы растем. Как «Дочери Тевьи» мы растем во сне. Нас давно уже не «фицкают» газетой, сложенной веером. Но повидимому живется все хуже и хуже. Потому что нашу большую залу разделяют на две части: в одной устраивается приемная, в другой — мать открывает зубо-врачебный кабинет и у парадной двери появляется новая вывеска, черная с золотыми буквами: — «ЗУБО-ВРАЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ О. М. РАБИНОВИЧ».

Авось, эта вывеска поможет.

«Как это вы, Ольга Михайловна, имея пятеро человек детей, успели посещать еще зубоврачебные курсы? Это прямо удивительно!»

Так говорят матери ее знакомые толстые дамы. Они, эти дамы, целые дни ничего не делают. Зимой устраивают вечера с картами, летом носят на дачах легкие пенюары, отчего кажутся еще толще. Отец замечательно подражает этому обществу. Он не любит ни толстых дам с их вечеринками, ни всего богатого буржуазного Киева со всей его плутократией... Ах, как он их терпеть не может!

Грустных, унылых дней стало больше. Отец стал разъезжать на вечера, в разные города, где он читает свои произведения.

«Знаете что я узнал?» — раз сказал он нам радостно, вернувшись откуда-то. — «Я узнал, что Диккенс тоже разъезжал и читал свои произведения»...

Вернувшись однажды из Петербурга, отец рассказывал нам, какое впечатление произвели на него русские писатели,

с которыми он там познакомился: — «Куприн — очень милый человек. Леонид Андреев — не понравился. Холодное лицо. Максим Горький — огромный мужчина с громадными руками и ногами. Чудесный гой! Замечательный гой!»

Ему всегда страшно хотелось, чтобы кто-нибудь из его детей писал. Он говорил мне: — «Я читал твое письмо, гуляя по Невскому Проспекту и так хохотал, что городовой чуть не арестовал меня! (Мое первое «сочинение», комедия, под заглавием «Дочери Шолом Алейхема»).

И позднее он писал мне:

Нью-Иорк. 25 апр. 1907 г.

Ляля!

Твое письмо получил. Ты большая умница. Я тебе это уже давно сказал, и стою на своем. Что касается переводов, то это просто грех, ты до сих пор еще не научилась по-еврейски сама. Я уверен, что никто меня так не переведет, как ты. В чем же остановка? Начни с азбуки. Древне-еврейские слова подчеркни и обратись к Берковичу. Я уверен в твоем быстром успехе. Мой «Потоп» необходимо перевести на русский. Конечно, там многое против цензуры. Можно выпустить опасные места. Ну, идет?

На всякий случай я должен тебе сказать раньше, что переводить не надо дословно. Надо иметь в виду аудиторию, то-есть, русскую публику. Ну, целую тебя.

Твой папа, который любит тебя».

Да, я перевела его две книги, но он уже этого не увидел.

1905-ый год. Толпы народа на улицах Киева. Царь даровал конституцию. Отец в необыкновенном волнении. Он волнуется больше всех. С раннего утра он бегает по знакомым и будит их: — «Поздравляю! Конституция!..»

Мы, заплетши красные ленты в косы, бегаем всюду за ним. А вечером — еврейский погром. Мы в знаменитой гостинице «Империаль», куда бежали спасаться евреи со всех концов города. Отец, бледный, как полотно, не отходит от окна. Он стоит и смотрит, как громят и убивают...

Этот вечер решает нашу судьбу. Мы покидаем Киев и Россию. Мы эмигрируем. С этих пор мы будем эмигранты. Без

денег, без определенных планов, большой семьей, — мы едем, мы едем. Куда? Куда-нибудь. Куда-нибудь подальше из страны, где отец, стоя у окна, видел то, что он видел...

День отъезда из Киева — день свадьбы старшей сестры Тиси. В нашей семье появляется новое лицо, молодой писатель — Беркович. Встретив его в первый раз, мы не подозреваем, какую роль этот человек будет играть потом в нашей семье, как близко сойдется он с отцом, — и что мы, дети, должны будем уступить ему самое почетное место около отца — и сделаем мы это без ропота и ревности, потому что поймем, что все права на это дает ему — его большая любовь к отцу.

Первый этап нашей эмиграции — Броды (Галиция).

«Слава Богу! мы переехали границу!» — нервно говорит отец. Мы ошеломлены: шум, гам, извозчики тянут нас каждый в свою сторону. Мы спасаемся в Лемберг. Там мы остаемся долгие месяцы. Там же первый большой вечер папиного чтения, и мы в первый раз видим отца на таком вечере при большой публике. Слышим бурные аплодисменты. Его качают, его несут на руках и маленький Нума пугается и плачет: куда они уносят его папу?

Скоро к нам приезжает Михаил Кауфман — навестить нас. Папа берет его, Берковича, Тисю и меня, и мы все вместе выезжаем на два его вечера, в Злочев и в Тарнополь. После каждого такого вечера — провинциальный банкет — неисчерпаемый источник смеха и острот для нас.

Какой папа замечательный чтец! Он читает неподражаемо!

Но нам не сидится — мы едем дальше. Вот уже мы в Швейцарии, в Женеве, где я поступаю в университет. Мы заезжаем в «Рут-Каролин» — дом, где перебывали многие русские революционеры. Они и сейчас тут живут и, встречаясь с ними, нам и не снится какую роль эти люди будут играть через несколько лет в русской революции...

Мы бегаем на митинги, где большевики перебрасываются пивными бутылками с меньшевиками. Мы слушаем с одинаковым интересом Луначарского и Плеханова. Вера Фигнер нам дарит свои фотографии с надписью. Мы толкаемся, чтобы получить место на доклады Ленина. Папа с нами.

«Вот вы увидите, говорит он, в России будет революция и они там будут драться, также как тут...»

Но ни отец ни мать не могут долго оставаться в прекрас-

ной Швейцарии. Отец не может позволить себе гулять по берегу очаровательного Женевского озера. Нужны деньги. Надо ехать в Америку. Маме не хочется, очень не хочется, мы видим, как она втихомолку плачет. Но надо! И они уезжают втроем: мама, папа и маленький Нума.

Папа пишет из Нью Иорка всем вместе и каждому отдельно. Он пишет много, бодро, интересно, с юмором. Мама, как всегда приписывает грустно.

Они возвращаются через год. Вот папа опять в Женеве гуляет по зеленой площади — с «дедушкой еврейской литературы» — Менделе-Мойхер Сфорим. И дедушка и внук погружены в беседу. Но, кажется, тут нет уже у папы того оживления, что раньше. Может быть он жалеет, что покинул Россию? Может быть, он тоскует по ней?

О, радость! К нам приезжает в гости поэт Хаим Нахман Бялик. И оба они, он и папа, ведут себя, как два резвых мальчика. Громкие разговоры и смех стоят в доме. И тут случилась история с ночными туфлями, которые Бялик, уезжая, забыл у нас. Папа их сфотографировал и послал ему вместе с письмом:

«Бялик! Бялик!

У меня к вам поклон — угадайте от кого? От ваших туфель! От ваших ночных туфель! На утро после вашего отъезда из Швейцарии, я встал как всегда очень рано и как всегда нагнулся под кровать за своими туфлями. Смотрю — пара туфель. Совершенно незнакомые туфли. Клетчатые туфли с кожаной отделкой. Я осматриваю туфли — довольно хорошие туфли, новые туфли! Чьи это туфли? Лишь тогда выясняется, что это Бялика туфли! Каким образом попали сюда туфли Бялика? Вероятно, он забыл тут свои туфли! Или может-быть он оставил мне в подарок свои туфли? Словом, поднялась в доме кутерьма: туфли, туфли, туфли, туфли... Вдруг появляется Тися с претензией: туфли эти должны быть ее туфли! Ее Беркович так дружен с Бяликом, что и туфли должны быть ее! Тогда появляется вторая моя, Ляля, та, что учится на доктора медицины. Туфли, говорит она, по справедливости должны отдать ей, почему? Так. У нее нет туфель. Ей давно хочется, говорит она, купить себе туфли. Но Эма, третья, говорит, что туфли могут быть и ее, потому что, у нея и подавно нет туфель. — Пристает младшая, Маруся, и уверяет, что и она не лыком шита, что туфли хороши и на ее ноги. — Услышал Нумчик, что тут что-то говорят о туфлях,

и ни с того ни с сего разревелся: мама, дай мне туфель! — От крика проснулся Миша и учинил форменный погром! Туфли, говорит он, его туфли, потому что Бялик ни с кем не спал, только с ним... Где же совесть?..»

Я первая уезжаю из Швейцарии и папа говорит, что мы увидимся в России. Мы увиделись... увы! В Барановичах.

Его триумфальные поездки по русским городам, где он читал свои произведения, и где его всюду встречали с любовью и восторгом, как своего **народного писателя,** окончились трагически. Когда он читал на одном вечере, в небольшом городке — в Барановичах — вдруг у него началось кровохарканье. У него открылся туберкулез и он в первый раз встретился, по его выражению, «с глазу на глаз с **его величеством,** с **Ангелом Смерти...»**

Невозможно описать эту самоотверженную любовь, этот идеальный уход всей барановической молодежи за больным писателем. Может быть это спасло ему жизнь.

Меня вызвали и я едва узнала его исхудалое, обросшее лицо. С ним мама и Нума.

«Нумчик!» — обращается он слабым голосом к сыну, тогда еще маленькому мальчику — «Нумчик! спой... спой ей.. «Смейся Паяц»... Вот ты что-то услышишь!..»

Нумчик становится в позу и орет благим матом:

—Смей-ся па-яц! Над раз-би-той лю-бовью тво-ею!»...

«Ой, я не выдержу!» — слабым голосом не то смеется, не то плачет папа и хватается за грудь.

В это же время во всех еврейских центрах готовятся праздновать 25-летний юбилей его писательской деятельности. А юбиляр лежит больной и харкает в бутылочку. Катастрофа, потрясшая всю семью, перевернувшая все планы и совершенно изменившая все течение жизни...

Я прощаюсь с ним, когда он уезжает с матерью в Италию — к солнцу. Целуясь со мной, он избегает моих губ. Мое сердце обливается кровью.

Варшава. Мать приехала сюда из Италии **выкупать** произведения отца к его 25-летнему юбилею. Необыкновенно доверчивый, не практичный в денежных делах, он продал их когда-то за безценок. Теперь она должна выкупить их из «издательских рук». Издатели всегда эксплоатировали его безжало-

стно. «Эта задача, — сказал мне раз писатель Перец, — не под силу и трем мужчинам, но ваша мать замечательная женщина — она ее выполнит».

Она бегает целыми днями, видится с разными людьми, хлопочет, волнуется... но она справляется! В воздухе летают слова: книги... издания... матрицы... матрицы... матрицы... У нее нет ни одной свободной минуты. И тогда получается от папы письмо к ней, как всегда, по-русски:

«Дорогая моя! Я ужасно хотел бы иметь такой халат, как у А. П-го. Синий на красной подкладке, с красными кисточками... Прошу тебя, привези мне такой». И подписано: «Твой шалун». Мать вкладывает это письмо в свой огромный ридикюль, где у нее хранятся письма, квитанции, рецепты. Ну, пропал халат! Но я чувствую, как ему хочется иметь этот халат! Точно так же как мне хочется купить все эти платья, которые я вижу в витринах! Два дня я летаю по Варшаве. Нашла! Синий, на красной подкладке, только, жаль, без красных кисточек. Нет красных кисточек во всей Варшаве...

Когда я увидела отца в Нерви (Итальянская Ривьера), куда я приехала уже после своей свадьбы, он был опять тот же папа: веселый, бодрый, жизнерадостный. Он загорел от солнца, его кашель совершенно прошел, он полон надежд и сил...

«Солнце! Всё это чудное солнце!» — говорит он мне. Он ведет меня показать мне красоты Италии.

«Ты видишь это море? Эти горы? Это все **мое** — и я подарил это все Тамаре!»

Тися, Беркович и Тамара — тоже с ним. Вся семья с ним, как он любит. Он представляет мне моих двух младших сестер:

«Это Эмочка, моя секретарша! Я не знаю, что я бы делал без нее! Она собирает мои письма, записи, рукописи... она всё приводит в порядок... А это Маруська! Она следит за моим здоровьем, она предписывает мне что есть, сколько времени гулять... Я во всем ее слушаюсь...»

Он обнимает их обеих. И, хотя мы все добродушно смеемся, мое сердце точит ревность: они все-таки с ним. А я живу в Берлине (там мой муж учится на медицинском факультете в Берлинском Университете).

Весь в белом гуляет папа по «Марине» — по берегу моря, в Нерви. В его руках знаменитая маленькая книжечка с

тоненькими, тоненькими листочками. Он пишет в ней находу, быстро, быстро.

«Писатель из России!» — шепчутся прохожие. Все знают его тут, в Нерви, под этим именем. «Писатель из России». Здесь много русских, много эмигрантов, много больных.

Однажды папа приходит с «Марины» и мама спрашивает его:

«А где же твое пальто?»

«Какое пальто?»

«Твое пальто, с которым ты вышел?..»

«А... пальто... Я отдал его одному больному... у него не было пальто...»

Папа рассказывает мне, какой подарок польский народ преподнес Генриху Сенкевичу к его юбилею: виллу. Мы смотрим друг на друга и понимаем друг друга...

Я вижу: перед моими глазами проносятся воспоминания детства: тарелка с запоздалым обедом, кусок перестоявшегося жаркого, половинка кислого огурца... «А не могли бы вы мне одолжить 25 рублей?»

Тут, в Италии началась его дружба с Максимом Горьким и Александром Амфитеатровым, которые впервые знакомятся с его произведениями (в переводе на русский). Оба пишут ему восторженные письма. Но Горький вне себя от плохого перевода. «Переводчику надо руки вырвать!» — пишет он папе. Эта фраза страшно папу смешит. «Вырвать руки! Вырвать руки!», повторяет он. «Только Горький может сказать такое! Еврей такого сказать не может!» Он посылает им подарки: агатовые перья, которые пишут без чернил.

Папа пишет удивительно легко, как бы играючи. Он может писать всюду, при всяких условиях: ходя, стоя, лежа. А между тем он страшно строг к своим писаниям: зачеркивает, снова пишет, снова черкает. И даже тогда, когда манускрипт уже отправлен, не раз случалось, что вдогонку он посылал телеграмму в редакцию изменить что-нибудь, иногда даже одно слово.

Так однажды обратился он к Михаилу Кауфману, в Бессарабию, чтобы тот телеграфно назвал имя собаки по-молдавски. Он писал тогда свой роман «Блуждающие Звезды», где действие происходит в Бессарабии (откуда Кауфман родом). Кауфман телеграфировал: «Теркуш».

Тут, в Италии, много старых русских революционеров,

среди них, знаменитые шлиссельбуржцы: Николай Морозов и Герман Лопатин. Последнего мы прозвали «мамин поклонник», потому что он лечит зубы у мамы в ее зубоврачебном кабинете и, так как она отказывается брать с него деньги, он целует у нее руку.

Легкий ветерок дует с моря. Горячее солнце. Папа обожает солнце. Но повидимому, он слишком долго лежал на солнце. Вот лежит он уже с холодным компрессом на голове и, нагнувшись над ним, с бесконечной нежностью мать спрашивает:

«Как тебе, мой ангел? Немного лучше?»

Та же атмосфера нежности и любви, что всегда царила в нашем доме.

На веранде у нас стоят большие кадки с апельсинными и миндальными деревьями. Когда миндаль цветет — нежно-розовый цвет — такое благоухание!

Вот папа у нас в Берлине. Я гуляю с ним по торговой Фридрихштрассе. Он останавливается около каждого писчебумажного магазина, где выставлены в окнах разные письменные принадлежности. К ним у него слабость. Как он любит смотреть на них! Если не покупать, то хоть посмотреть! Любоваться всеми этими перьями, карандашами, чернильницами, книжечками. Он восхищается ими вслух, как женщина драгоценностями.

Мы гуляем по богатому Курфюрстендам. Впереди идет какая-то толстая дама в роскошном, очень дорогом манто.

«Смотри, — говорит отец, — какая гадость!»

«Что? — спрашиваю я — что она такая толстая?»

«Нет! Посмотри на ее манто!»

На его лице такое выражение, будто он раздавил ногой мышь. Отвращение и брезгливость.

«Сколько может стоить такое манто? Целое состояние! На эти деньги семья бедняка могла бы прожить весь год... а она надела его на себя! Фу! Идем скорей...»

И он, схватив меня за руку, тащит опередить толстую даму, скорей, скорей, подальше от нее...

Баденвейлер. Шварцвальдский курорт с изумительным воздухом и с вечными дождями. Лето. Мы все собираемся у отца. Он ужасно любит чтобы «все были вместе». Тися уже

давно там. Он бомбардировал ее письмами. И, как всегда, около него Беркович.

Теперь отцу живется гораздо легче. В России расходятся в тысячах экземпляров русские переводы его книг. Его переводят на все языки. В Баденвейлер к нему приезжают разные люди, пишущие и читающие, знаменитые и незнаменитые.

Так появился у нас один еврей по фамилии Сарнэ, мы его так и звали еврей из Сарны. Он умел хорошо рассказывать разные истории из еврейского быта. Папа просто не дает ему уехать. Он тоскует по еврейской атмосфере. Он тоскует по евреям. Люди! Как можно больше людей! Евреи! Как можно больше евреев! Он вообще больше любит расспрашивать других, чем говорить самому. Он умеет и любит слушать. — «Ну, ну! Так? И что же?»

Мы гуляем с ним под зонтиками. Идет дождь.

«Ах, какой замечательный воздух!.. Но с Бояркой его все-таки сравнить нельзя!» — говорит папа.

Мы часто проходим мимо памятника А. П. Чехову, который умер тут в Баденвейлере.

Где только папа ни видит барометр, он останавливается и смотрит: какая погода на завтра? На завтра — опять дождь.

Папа в радостном возбуждении: он ждет в гости своего «друга детства» — Б-ша, с которым он вместе учился в русском училище в Переяславе. Папа как-то отыскал его. Он рассказывает нам с увлечением, как они вместе шалили, как проказничали, как крали вишни с деревьев... Он воодушевляет и нас, и мы все с нетерпением ждем «друга нашего детства», как мы его прозвали. Ему отводят лучшую комнату в доме. Папа сам устраивает ее. Он ставит на столик у кровати стеклянную вазочку с цветами и кладет книжку — том своих произведений.

Наконец приезжает «друг детства». Это плотный мужчина с громким голосом и громким смехом: «хо-хо-хо!» Папа не сводит с него глаз, ухаживает за ним, и всё наводит его на воспоминания детства. Но тот только отмахивается. Между ними происходит такой разговор:

«А ты помнишь, Эля, те вишни, что мы крали с деревьев с тобой? Ах! вкус этих вишень!»

«Да что ты, Шолом, всё вишни да вишни! Ну, как можно

помнить такие глупости! Ты мне скажи лучше, брат: где у вас тут прачешная? У меня видишь ли, в дороге много грязного белья накопилось... хо-хо-хо!»

Столкнулись два мира и папа первый опускает глаза. Цветы в стеклянной вазочке стоят как-то смущенно и у книжки его сочинений сконфуженный вид.

Через неделю, мне кажется, что вот-вот сейчас папа просунет голову в дверь и таинственно скажет: «Дети! Если Б-ш придет, скажите, что меня нет дома».

Второе лето — Баденвейлер. Мама уехала в Варшаву решать в какой газете писать папе. Мы едем в Баденвейлер к папе: я, моя старшая сестра Тися и наши две дочки: Тамара и новорожденная Белла. Папа страшно радуется ее рождению. «Лялька, ты молодец, совсем не размазня, в моем духе...»,пишет он мне. Он посылает нам юмористическое стихотворение в ответ на стихи моего мужа:

«Дос, вос унзер Микаэла*
Зингт эр хот а тохтер Белла...»

(то что наш Микаэла поет, что у него есть дочка Белла — я прощаю ему, но то что вы меня сделали во второй раз дедушкой — этого я никогда не прощу»).

Папа ужасно хочет видеть внучку, он уже бомбардирует нас письмами. Для нее готова уже колясочка. Он ездил в соседний городок выбирать. Синяя, как я хотела... Он хватает ее на руки. — «Красавица! Но она ведь красавица! Вот увидишь какая она будет красавица!»

Я провожу с ней у него все лето. Он возится с ней целые дни. Он поет ей еврейскую песенку о «Рэб Дувидле из Василькова», который переехал в Тальну. Если он поет это грустно, на манер васильковских евреев, которые печалятся, что Рэб Дувидл оставил их, она кривит губки и собирается заплакать.

«Рэб Дувидл, Рэб Дувидл, фун Васильков,
Ицт из эр ин Талнэ...»

(Рэб Дувидл, рэб Дувидл из Василькова, теперь он в Тальне...).

---

* Литературный псевдоним Михаила Кауфмана.

Если же он поет быстро и весело, как тальнские евреи, которые радуются, что Рэб Дувидл теперь у них — ее личико проясняется, она улыбается, глядя на него. Это доставляет повидимому ему большое удовольствие, он сам радуется как ребенок и готов возиться с ней целые дни... Какой он дедушка? Он не хочет чтобы его звали дедушкой. Только — **папа**. В письмах к Тамаре он так и подписывается: «Папа Шолом Алейхем». И, правда, какой он дедушка? Разве он похож на дедушку? У него и седых волос — ни одного нет. Только в усах появляется иногда седой волос. Тогда он моментально вырывает его и — готово.

Моей сестре Тисе, приходит в голову счастливая мысль — устроить родителям сюрприз, и мы неожиданно приезжаем из Берлина, на **Бар-Мыцво** младшего брата — Нумы. Мы приезжаем с нашими маленькими дочками с Тамарой и с Беллой-Беллочкой, как мы ее звали.

Папа вне себя от восторга.

«Вот это я люблю! вот это в моем духе!» — хвалит он нас.

Он показывает нам: — «Видите эти рисунки! Это рисует Нумчик! Он замечательно рисует человечков. Он будет художником, вот увидите! у него талант!» (Нумчик — впоследствии известный художник Норман Рэбэн).

Куда бы мы, дети, не приезжали к отцу, раньше всего он водил нас показывать чудеса природы, которые он открыл. Тут — замечательная панорама, там — маленький водопад, а вот удивительное дерево, вот речка... Он искренне восхищается.

«Посмотрите-ка! Вот если тут нажать — там зажигается! А что вы скажете на этот шкаф? Это же антик!»

И он очень огорчается, если мы не выражаем такого же восторга.

Он входит к нам в комнаты и спрашивает: — «Не надо ли вам чего-нибудь?» — в одной руке у него молоток, в другой — гвозди. Он любит вбивать гвозди и приделывать крючки к дверям. — «Не надо ли вам прибить гвоздь?» — «Да, папа, вот тут нужен гвоздь, и тут... Еще один гвоздь... и еще один гвоздь...»

И еще одно лето. **Последнее лето.**

Альбэк — немецкий курорт на берегу Балтийского моря.

Мы все вместе, **вместе,** как любит папа. Мы идем фотографироваться потому что, как говорит он, неизвестно, когда мы будем опять вместе и **будем ли?** Он сказал это: и будем ли?

Нет, мы больше никогда не будем. Но пока мы еще этого не знаем. Мы беспечно валяемся на белом песке у соленых вод моря. Мы снимаем на весь летний сезон целый дом-виллу. Папа в особенно хорошем настроении. Он постоянно с двумя внучками с двух сторон — они обожают его. Он обожает их. Кухарка-чешка готовит нам великолепные обеды. Всё так хорошо. Все веселы. Все в сборе. Погода чудная. Море дивное...

Но однажды, когда мы все так сидели у большого круглого стола и обедали, кто-то первый услышал: **«война!»**

Все вскочили с мест.

Война! Война! Объявлена война между Россией и Германией!

Как будто бомба разорвалась. Все побежали за газетами, за новостями. За столом остались только Тамара с Нумой — они спокойно доканчивали свой компот. Мы бежим с папой. Мы не хотим верить. Мы хотим, чтобы это оказалось злой шуткой.

Первый человек, подтвердивший нам, что катастрофа произошла — был поэт Шнеур. На белом песке морского берега, в белом костюме, с черной, развевающейся от ветра бородой, он еще издали кричал нам: «Война! Русские вошли в Кёнигсберг!»

Итак, в пять минут рухнуло все. Русских денег больше никто не принимает. Немец-хозяин не желает нас больше держать на своей вилле ни одной минуты. Он требует в залог папины часы, те самые, которые каждые четверть часа играют нежную мелодию. На вокзале — столпотворение. Горы багажа, которого мы больше никогда не увидим. Мы бежим в Берлин. Белый песок Альбэка превращается в кровавый кошмар. На берлинском вокзале нам пересекают дорогу первые немецкие солдаты, отправляющиеся на фронт. Высокие, молодые, здоровые гренадеры, в голубых шинелях, с ранцами на плечах и в медных касках — они проходят мимо нас, как длинная голубая лента. Они поют что-то очень залихватское, веселое — так весело им идти на смерть! Самые высокие из них несут знамена.

Мы стоим и смотрим на них. Папа, бледный, с непередаваемым выражением лица, говорит — «Да, война началась!» **Теперь** он поверил.

Копенгаген. Случайно собранные, растерянные люди. Папа подавлен. Опять без денег, с большой семьей и опять вопрос: куда бежать? В Америку!

Наша семья разделяется. Я с мужем и маленькой дочкой уезжаем в Россию. И я прощаюсь с отцом. Прощаясь с ним, я не предчувствую даже, что прощаюсь с ним **навсегда.** Что я вижу его **в последний раз,** вот так, как он стоит грустный, задумчивый, в дорожном кэпи, низко надвинутом на глаза.

Он плохо выглядит. Его всё время мучит какая-то жажда. Он беспрерывно пьет воду. Пьет, пьет и не может утолить жажду. Где только он ни увидит кран — он открывает его, делает из бумаги чашечку и пьет.

Все уезжают в Америку, за исключением Эмы и Миши, которые временно остаются еще в Копенгагене. Но скоро и они должны уехать.

Страшное, дикое известие! Смерть брата Миши в Копенгагене! Я узнаю об этом в Одессе, где мы живем с мужем. Это известие ошеломляет меня. Мои родители! Как они это переживут? И тут же мысль — папа не выдержит... И он не выдержал! В одном из своих писем он пишет:

«Дорогая Ляличка!

Получили сразу два твоих больших письма. Полагаю, что ты мое заказное получила и там нашла ответ на твой вопрос: как чувствует себя Миша за океаном? Увы! Он уже не только за океаном, но и за «всем миром». Произошло недоразумение. Вместо того, что бы сын читал «кадыш» по отце, отец это делает по сыне. И, хотя прошло уже довольно значительное время слезы не высохли. Ждали мы на Рош-Ашано двоих — приехала одна Эмма. Она напишет тебе сама. От мамы не жди ничего — она едва ли в состоянии писать... Ее душевный покой нарушен и душевно она обижена, очень обижена. Не ждали мы такой катастрофы. Если бы ты видела его последние снимки и последние письма, ты бы не поверила, чтобы такой мог умереть... и я унесу его гроб с собой в могилу...»

13-го мая, 1916-го года.

Одесса. Весна. Цветет акация. Воздух полон благоухания. Я стою у нас на балконе. Цветы акации свисают так низко, что можно до них дотронуться. Вдруг телеграмма из Нью-Иорка. Вероятно поздравление к моим именинам: завтра мои именины. Я вскрываю и... три слова на чужом языке: — «Папа очень болен».

И одновременно телеграмма в издательство «Мория» — Бялику: — «Умер Шолом Алейхем».

Восьмой день после смерти отца.

Есть отдаленная дача на одном из «Фонтанов», у моря, в Одессе. Дача художника Бадаревского. Поэтический уголок. Маленькие домики, как украинские хатки, покрыты соломой. Вишневый сад. Когда всходит луна и освещает всё, — настоящая картина: «Ночь в Малороссии».

В одном таком домике живут Бялики, в другом — мы.

Я одна. Мой муж еще не вернулся из города. Маленькая Беллочка играет у моих ног. Я сижу на веранде и плачу.

«Умер папа Шолом Алейхем, — говорю я ей, — ты будешь помнить его?»

Она поднимает на меня свои прелестные голубые глаза.

Издали вижу — идет Бялик. Он только что вернулся из города. Он держит в руках газету и трясет ею:

«Ляля! Ляля! Завещание! Завещание Шолом Алейхема!»

И тут же, на веранде, мы, склонившись над газетой, читаем в первый раз его завещание:

«Где бы я не умер, пусть меня похоронят не среди знатных и богатых, а среди рабочих, среди простого народа, и, пусть моя могила украшает их могилы, как при жизни они украшали...»

И я опять одна. Я смотрю на газету и плачу. Одна... Вдруг вижу — нет, не одна. На веранде рыдает Бялик, склонив на деревянные перила свою большую, голую голову...

Солнце заходит. Наш сад темнеет. Вот-вот сейчас взойдет луна. Тихо.

Я сижу, плачу и все думаю о нем. И что у нас теперь дома в Нью-Иорке? Как перенесет это мать, прошедшая с ним долгую, любовную жизнь. Мать, которая оберегала его от малейших тревог, берегла, как зеницу ока, только от смерти не могла уберечь... И как приняла это Тися, «любимая дочь», обожающая отца? Сестры? И все еще маленький Нумчик? А я? Неужели это конец и я больше никогда не увижу его? И вдруг я увидела его.

Он стоял тут же, в саду. Его длинные каштановые волосы развевает легкий ветер. Голубые мечтательные глаза устремлены в даль. Он держит в руках кусочек хлеба и бросает крошки птицам... «Папуля!» — закричала я и бросилась к нему.

Л. Кауфман

СУДЬБЫ РОССИИ

Что такое историческая Россия? И откуда появилась современная Россия, перелицованная коммунистической властью? И каково ее будущее? Эти вопросы, всегда стоявшие перед умственным взором мыслящих русских эмигрантов, еще недавно мало интересовали иностранцев, за исключением немногочисленных специалистов. Рядовой обыватель от них просто отмахивался, говоря, что об этом и рассуждать не стоит, так как всякому «известно», что Россия, в облике СССР, все еще полуварварская страна, управляемая привычными для русских способами, казнями и кнутом, и потому в сущности ни для кого опасности не представляет. Всего 40 лет назад Р. Пуанкаре, один из крупнейших политических деятелей Франции, выражал свое удовольствие по поводу того, что Россия не была представлена на парижской мирной конференции, т. к. в противном случае пришлось бы во многом ей уступить, в результате чего произошла бы вторая великая война — просвещенных держав Запада против России. Лет тридцать назад, незадолго до своей смерти, польский диктатор Пилсудский говаривал, что пока Россией правят большевики Польше беспокоиться не о чем: Россия так и погрязнет в варварском хаосе большевизма и останется столь слабой, что в случае чего Польша справится с ней своими силами. Когда, 20 лет назад, Хитлер напал на Россию, западные военные эксперты почти единогласно предсказывали, что немцы победят, и при том быстро и решительно.

Но вышло иначе. За войну Россия-СССР проявила изумительную стойкость, несмотря на жестокие пораженья в первые месяцы войны. И сейчас еще в эмигрантских кругах многие полагают, что за эти месяцы советские армии просто бежали или охотно сдавались в плен. Но это неверно. Достаточно привести следующую справку: в 1941 г. Хитлер перешел границу России там же и всего на один день раньше, чем Наполеон в 1812 г. Но в самом начале сентября французы вступили в Москву; а на то же число немцы еще были далеко; и Москвы так никогда и не взяли, несмотря на то, что у них было много моторизованных дивизий, тогда как войска Напо-

леона передвигались пешком и на лошадях. Дело в том, что немцам, как и французам в 1812 г., было оказано жестокое сопротивленье, которое, по официальным германским данным, стоило им за эти месяцы 700 тысяч человек. Конечно потери их противника были много выше. Но как теперь признано военными историками, многочисленные советские части сдавались только после того, как они были окружены, без надежды на скорую помощь. Это было следствием и нелепой стратегии Сталина, расставившего войска кордоном вдоль всей границы, и пресловутого немецкого «блицкрига», которым за короткий срок немцы разбили Францию и заставили англичан уйти на свой «маленький остров» (выражение Черчиля).

Военную мощь СССР пришлось признать всем. Но на Западе еще долго думали, что эта мощь покоится на очень слабом основании. Еще покойный Д. Ф. Доллас строил свою политику на предположении, что советская агрессивность исходит из позиции слабости, а не силы.

Но вот пришел день запуска первого «спутника». Это был потрясающий удар. Эксперты принялись за усиленную работу, и неопровержимо показали, что Россия ныне обладает сильной индустриальной базой и из полуграмотной страны превратилась в страну высокой грамотности, с очень сильным распространеньем физико-математических знаний. За короткое время число монографий по разным отраслям советоведенья безмерно возросло; сейчас их так много, что никто больше не может уследить за всем. Появляются, конечно, и обобщающие труды. К их числу принадлежит недавно вышедшая книга Д. Кларксона, профессора Бруклинского колледжа, «Русская история».* О ней мне и хочется поговорить.

Из 857 страниц этой книги почти треть отведена советскому периоду; но в более ранних частях книги автор не просто пересказывает события, а старается их осмыслить и обобщить. При этом он естественно отвечает на вопрос — что такое историческая Россия — Европа или Азия? Его категорический ответ — это Европа. Это тот самый ответ, который, в противовес евразийцам и их многочисленным иностранным единомышленникам, давался проф. М. М. Карповичем, и которого придерживается и пишущий эти строки. Проф. Кларксон дает своему ответу солидное обоснованье. По его словам, основы русской культуры — те же самые, как и культур западно-европейских наций. Те же корни религиоз-

* Jesse D. Clarkson, N. Y., Random House, 1961.

ных верований, те же исходные точки в их раннем экономическом быте и политическом строе, общие принципы их языков. Конечно, в дальнейшем проявились крупные различия, под влияньем различий в географической среде и в исторических конъюнктурах, в частности, «встречах» с другими народами. В согласии со многими русскими историками — хотя и не с большинством их — он полагает, что татарское иго не внесло каких-либо существенных изменений в русский быт, нравы и идеологию. По этому вопросу в предыдущей книге «Нового Журнала» была помещена обстоятельная статья проф. Б. С. Ижболдина. Крупных изменений не произошло потому, что татары, в противоположность германским племенам, завоевавшие в IV и V веках Западно-римскую империю, не колонизовали Россию, т. е. не расселились среди русских, что является необходимой предпосылкой глубокого влиянья одной культуры на другую. Главная роль татарского нашествия в русской истории выразилась в длительном разобщении Руси с Западом. Повторяя обычные сужденья не-русских историков, проф. Кларксон говорит, что в силу этого Россия осталась вне сферы влиянья римского права и римской церкви, освободительных течений эпохи Возрождения и Реформации, подъема частной инициативы в хозяйстве, постепенного ограниченья самовластья монархов. В этом списке далеко не все бесспорно. Римское право оказало сильное влиянье на русское право через рецепцию некоторых частей кодекса Юстиниана, в особенности семейного и наследственного права. Великая церковная схизма произошла почти за 200 лет до татарского нашествия, и разобщенье наступило уже тогда. Из западных стран многие, в частности Франция, Италия, и Испания, не поддались влиянию реформации. А ограниченье самодержавия на Западе произошло в большинстве стран лишь в самом конце 18-го и в первой половине 19-го века, т. е. всего на сто или даже на 50 лет раньше нашей конституционной реформы 1905-6 гг. Все это скорее подтверждает нежели опровергает правильный тезис проф. Кларксона, что Россию нельзя понять просто, как какую-то отсталую часть Европы.

На второй вопрос — откуда появилась современная Россия — можно дать два крайних ответа: 1) нынешняя Россия сама собой вытекла из ее исторического прошлого, или 2) за последние 40 лет Россия сильно отклонилась от своего исторического пути, так что уподоблять настоящее ее прошлому нельзя. Первый ответ дается Н. А. Бердяевым (хотя и со зна-

чительными отклоненьями в некоторых из его трудов), Г. П. Федотовым, а также многими иностранными авторами, из коих, кажется, никто не оказался столь приверженным ему, как ген. Беделл Смит, бывший в течение трех лет американским посланником в Москве, где он вдохновился трудом маркиза де Кюстина, вышедшим во времена Николая I.

Осмысливанье истории народа, как органически неизбежного развертыванья некоторых потенциальностей, заложенных в нем со времени его возникновенья, многих подкупает своей кажущейся научностью. На самом деле, это совсем не так. Так думали в начале 19-го века, когда каждому народу приписывали свой особый и неизменный национальный дух. Поучительно, что когда катастрофа, подобная русской, приключилась с Германией — я имею в виду покоренье высоко культурной страны псевдо-философией параноика Хитлера — появился целый ряд трудов, доказывавших, что хитлеровщина как бы вылупилась из исторической культуры Германии. На что при этом только не указывали! И национализм, и милитаризм, и любовь к деспотизму, и даже гегельянство и лютеранство.

Стоит на несколько минут задержаться на этих искусственных объяснениях, искусственных потому, что они сравнительно легко поддаются опровержению фактами.

Начнем с пресловутого германского национализма, будто бы испокон веков присущего Германии в отличие от других наций. Но вот факт: в эпоху наполеоновских войн, когда русские войска много раз вступали в немецкие земли, на помощь союзникам или в порядке преследования отступающего врага, русские офицеры писали домой, что их удивляло почти полное отсутствие именно национального чувства у немцев; вместо него, они одержимы преданностью местным династиям, которых в те времена было еще много — к началу наполеоновских войн их было около трехсот. И еще в 30-х годах 19-го века британский посланник в Баварии, в третьем по размерам государстве Германии, выражал такое же изумленье. Позже возникшее, в значительной мере под влиянием Франции, немецкое национальное чувство устремилось к объединению Германии; но ему так и не удалось преодолеть противостоянье Пруссии и Австрии. Династическое чувство, т. е. в некоторой мере местный патриотизм, оказалось сильнее. И в настоящее время еще сомнительно — захотели-ли бы австрийцы, чистокровные немцы, соединиться с Германией, даже если бы внешне-политические условия позволили им

это сделать. Во всяком случае, даже в неполной форме, германское национальное чувство проступило только после успеха так называемых войн за объединенье Германии (1864-1871). Итак, считать, что хитлеровщина — это прорыв наружу той глубинной силы, которой почитается германский национализм, не приходится.

Но возьмем другие истолкованья генезиса хитлеровщины, и прежде всего — милитаризм. В сущности, он был силен только в Пруссии, в так называемой «старой Пруссии», лежащей к востоку от Эльбы. И там он появляется в сущности лишь в 17-м веке. В других частях Германии ему не было места, отчасти из-за множествённости государств, а отчасти из-за практики многих германских монархов — отдавать свои военные силы внаймы желающим. Так напр., англичане воевали против восставших американских колоний в значительной части при помощи наемных войск, предоставленных им за плату курфюрстом гессен-кассельским.

Лютеранство и гегельянство, из коих иногда выводят покорность немцев Хитлеру, также не могли сыграть приписываемой им роли. Лютеранство является господствующей религией в Дании, Швеции и Норвегии; но эти страны явили миру великолепные образцы демократии не только политической, но и социальной. А завершенье гегельянской схемы развития Абсолютного Духа воплощеньем его в прусском государстве не вошло в ту гегельянскую веру, которая была сильна в первую половину 19-го века не только в Германии, но и в России, где гегельянцами были и ранние борцы за свободу, в частности, временно, Белинский.

Все только упомянутые теченья, конечно, в какой-то мере существовали в германском прошлом. Но если бы германская история не привела к Хитлеру, то другие ее завершенья, в частности то, которое мы сейчас усматриваем в Западной Германии, так же хорошо были бы объяснимы «историческими основами». Ведь в германской истории можно найти много демократических элементов, например, непосредственную демократию среди ранних германских племен, многочисленные городские революции позднего средневековья, приведшие к образованию столь же многочисленных городских республик, приверженность немцев к своим ландтагам, т. е. собраньям сословных представителей, во владеньях отдельных династий, бурный успех французских либеральных идей в начале 19-го века, позже — решительный успех среди германских социалистов именно демократического теченья.

Я остановился довольно подробно на германской метаморфозе 30-ых годов, потому что именно она оказалась для Запада особенно загадочной, в виду высокого уровня германской культуры, и потому, что в отношении Германии я могу почитать себя беспристрастным наблюдателем, чего я не имел бы права утверждать относительно русской метаморфозы 1917 и последующих годов. Перейдем однако к «русскому случаю», который нас в действительности интересует и применим к нему тот же подход, как к германскому.

Авторы, которые, подобно проф. Кларксону, видят в коммунизме проявленье черт, исконно присущих русскому народу, должны указать на те черты, которые, по их мнению, сближают «новизну» коммунизма со «стариной» исторической Руси. Таких черт они обыкновенно находят две: — исконный и беспрерывный деспотизм и милитаризм — экспансионизм.

Первое сближенье может быть опровергнуто двумя путями: показом в русской истории элементов, которые представляли объективную возможность превращенья России в демократию, и указаньем на то, что деспотизм существовал, и при том очень долго, и у народов Западной Европы.

Элементов, подготовлявших для России иное будущее, нежели коммунистическое, было очень много. Вот их краткий перечень — на 1914 г.: 1) постепенное внедренье конституционализма, которое, если бы не война 1914 г., все труднее и труднее прерывалось бы вспышками самовластья, 2) постепенное развитие местного самоуправления, в частности, введенье волостного земства и распространенье земских и городских учреждений на всю Россию, 3) постепенное расширенье избирательного права, 4) постепенная перестройка аграрного строя, энергично двинутая вперед столыпинской реформой, 5) стихийный рост кооперации, дававший дополнительный импульс к такой перестройке, 6) бурный рост промышленности, начавшийся еще в 1890-ых годах и за 30 лет сделавший огромные шаги вперед; подсчет сделанный мной в книге — «The Great Retreat», 1946, показал, что проекция вперед темпов промышленного роста дает для 1940 г. приблизительно те же цифры, которые были тогда достигнуты путем пятилетних планов, 7) дальнейшее развитие социального страхованья, начатого в 1912 г. с прямыми указаньями на его дальнейшее развитие по германскому образцу, 8) перестройка, на прогрессивных началах, среднего образованья, намеченная планом последнего дореволюционного министра

народного просвещенья, гр. П. Н. Игнатьева, по американско-скандинавским образцам, 9) внедренье всеобщей грамотности на основании вполне реалистических планов, которые должны были обеспечить доступ в начальную школу всем детям школьного возраста к 1921 г., т. е. на 10 лет раньше, нежели это случилось при коммунизме.

Всё это вместе взятое создавало почву, необходимую для демократии, которой еще не было ни в начале века, ни в роковой 1917 г., и разрушило бы веру в неизбежность и единоспасительность революции. Крайние революционеры, в особенности Ленин, к началу войны были настроены пессимистически — почва явно уходила у них из-под ног.

Я отнюдь не утверждаю, что все выше сказанное непременно осуществилось бы, а просто проектирую в будущее тенденции развития начала 20-го века. И если бы все это произошло, то мыслители, склонные понимать настоящее как неизбежное последствие действия каких-то сил, заложенных в прошлом, могли бы привести вполне веские соображения в пользу своего тезиса. Они могли бы сослаться на вечевой строй киевской Руси, на северно-русские народоправства, на казачью вольницу, на конституционные планы времен Александра I, на 90 лет освободительного движенья (1825—1917), на непосредственную демократию, господствовавшую среди крестьян — только в 1932 г. большевики смогли прибрать ее к рукам, на успех земских и городских учреждений, и на многое другое. Все это было бы истолковано, как совокупность предвестников той «возможной России», облик которой был очерчен выше, с лучшими основаньями, нежели объясненье современного коммунистического деспотизма привычкой народа к деспотизму, чуть ли не народной любовью к нему.

Высказывающие оспариваемое мной мненье упускают из виду, что к 1917 г., русский государственный строй давно уже не был деспотическим, хотя до 1905-6 гг. оставался самодержавным. Достаточно указать на судебную реформу Александра II, столетие которой мы скоро будем отмечать. Деспотизм, сравнимый с коммунистическим, закончился с царствованием Павла I. Итак, никакой привычки к деспотизму у русского народа сохраниться не могло. Нет оснований предполагать чтобы русский народ тосковал по самодержавию. Прежняя безграничная преданность народа престолу выветрилась за конец 19-го и начало 20-го века. В наши дни повторенье деяний Минина и Пожарского было бы просто невозможно. Если в половине 20-го века русский народ терпит де-

спотизм, то отнюдь не потому, чтобы он к нему привык или тосковал по нему.

Здесь не место разбирать вопрос, почему сверженье этого деспотизма по настоящее время оказалось невозможным. Что русский народ вовсе не хочет деспотизма, видно из того, что ни разу после выборов в Учредительное Собранье, которые можно считать как бы плебисцитом, обернувшимся против большевиков, эти последние не допустили свободных выборов. Этот факт прямо доказывает, что большевики предвидят отрицательный для них исход всякого голосованья; а хотят они совсем не коммунизма, а власти, любой ценой.

Перейдем теперь к пресловутому русскому милитаризму — экспансионизму, который будто бы лежит в основе советского империализма. Но ведь завоевательными войнами полна история западных народов до самого последнего времени. А громадные колониальные империи были созданы далеко не только Россией. Испания, Португалия, Голландия, Франция и Англия, одни раньше, другие несколько позже, владели колоссальными пространствами с иноплеменным населеньем; Германия и Италия последовали их примеру, как только объединились, но не смогли создать подобных империй, в значительной мере потому, что мир был уже почти поделен. Впрочем, в самом начале 20-го века о Китае поговаривали, как о «больном человеке», и строили планы его раздела на «сферы влияния», в которых львиная доля отводилась Англии, а следующая России.

На «русский колониализм» обратили вниманье, когда колониализм западных держав начал отходить в прошлое. Идею, будто бы Россия страдала необузданным колониализмом, развил б. государственный секретарь США Бэрнс, который обратил вниманье своих соотечественников на то, что между окончаньем крымской войны и началом первой мировой войны Россия приобрела громадные пространства в Средней Азии, на Дальнем Востоке и отчасти на Кавказе. Позволю себе привести фактическую справку: за те же годы, маленькая Бельгия приобрела в Африке территорию, равную русским завоеваньям (Конго), а Франция территорию, в четыре раза бо́льшую.

В агрессивности и экспансионизме можно упрекнуть и Соединенные Штаты, которые, в два приема, завоевали всю северную часть Мексики, просто потому, что это было необходимо для округленья их территории и широкого выхода

на Тихий океан. Долгое время, американские историки ссылались, для оправданья этих аннексий, на Manifest Destiny, т. е. самоочевидную судьбу. На переломе 19-го и 20-го веков Соединенные Штаты проявили самый настоящий экспансионизм, присоединив Кубу, Филиппины и Порторико; от первых двух они потом отказались; но и Россия продала за грош Аляску, убедившись в том, что ей невозможно было удержать свои американские владения. А в 1904 г. Соединенные Штаты спровоцировали революцию в Панаме против Колумбии, дабы получить в свое распоряженье полосу земли, необходимую для сооруженья панамского канала. Еще после первой мировой войны Англия и Франция воспользовались случаем распространить свою власть на довольно обширные территории на Ближнем Востоке, в результате пораженья Турции. Все это я говорю не в упрек кому-либо. Моя задача была только в том, чтобы показать, что Россия действовала по правилам, общепринятым в концерте просвещенных государств конца 19-го и начала 20-го веков.

С другой стороны, через период абсолютной монархии и бесправия граждан, прошли все великие державы, и для многих из них этот период кончился не так давно. Возьмем для примера Францию накануне великой революции 1789 г. Мы видим в ней абсолютную монархию; государство — это я, сказал Людовик XIV и был прав. Беззащитность граждан от произвола властей была полная; такого предельного произвола, как знаменитые «летр де каше», т. е. бланковые приказы об аресте любого лица по прихоти получившего бланк придворного, в России не было. Карательная система была безгранично жестока; в ней преобладала смертная казнь, тогда как в России она была отменена в 1753 г., за исключением политических преступлений. Значительная часть крестьян была еще в крепостном состоянии. При этом крестьянин, даже не крепостной, отдавал государству и феодальному сеньеру данной местности в среднем 53 процента своего валового дохода. Четверть государственных доходов тратилась на постройку великолепных дворцов и на субсидии придворным. Приблизительно в таком же положении были Германия и Италия. Для Германии характерно завещанье одного почтенного судьи, написанное в 17-ом веке; оно начинается с заявления, что завещатель умирает спокойно, т. к. он исполнил свой долг: за свою жизнь он подписал 20.000 смертных приговоров. Но этим странам удалось вырваться из тисков деспотизма и связанного с ним варварства. Значит, мрачное

прошлое не предвещает однозначно варварского настоящего и будущего.

Осмысливанье исторических фактов почти неизбежно вытекает из определенных историко-философских предпосылок, принятых сознательно или подсознательно. Из труда проф. Кларксона явствует, что он считает научным только объясненье исторического развития абстрактными социальными силами (экономическими, культурными и другими). Тем самым он возвращается к строго детерминистическому пониманью истории, которое так ярко выразилось в трудах двух главных властителей дум второй половины 20-го века, Карла Маркса и Герберта Спенсера. В знаменитом введении в Критику Политической Экономии Маркс утверждает, что, независимо от своей воли, люди вступают в производственные отношения, на почве которых с железной необходимостью возникает вся общественная надстройка — политический строй, право, мораль, религия, литература, искусство. По Спенсеру, общественное развитие движется непостижимой силой эволюции, непостижимой в том смысле, что глубже ее никакой научный анализ проникнуть не может.

Но старомодный детерминизм в настоящее время выветривается даже в физико-математических науках, еще больше в социальных науках и в истории. В этих сферах знанья все больше укрепляется сознанье, что в каждом состоянии действительности заложены разные возможности, которые, поскольку им может быть придано количественное выраженье, становятся вероятностями. Такие возможности лежат в основании более или менее прочных тенденций развития. Какие из этих тенденций осуществятся, а какие нет — зависит от того, как сложится в дальнейшем «конъюнктура», т. е. «встречи» данных тенденций развития с иными. При современном состоянии знанья, нельзя точно предвидеть, какие «встречи» предстоят в данном обществе для отдельных тенденций развития, хотя от сложения их, аналогичного сложенью механических сил, зависит то, что действительно произойдет. Можно сказать, что в так обрисованной теории сочетается детерминизм и индетерминизм, объединенные в понятии вероятности.

На почве такого пониманья исторического процесса я вкратце рассмотрел германский и русский случаи. Полный анализ потребовал бы исследованья тех неблагоприятных для демократии встреч тенденций развития, которые повернули в неожиданную сторону развитие обеих стран, Германии на

12 лет, России вот уже на 44 года, к которым может прибавиться еще немало лет. Я надеюсь предложить такой анализ в другой статье. Но я думаю, что сказанного достаточно для того, чтобы признать вовсе неприемлемым пониманье русской истории, как процесса, по необходимости приведшего к современному коммунистическому Левиафану. Если же принять тезис, развитый, но далеко не рожденный и доказанный проф. Кларксоном, то русским эмигрантам остается покориться неумолимой судьбе: значит, в самой природе России есть что-то порочное; исчезнет коммунистический Левиафан, но глубинные силы опять направят Россию на пути деспотизма и империализма. И опять-таки, если принять этот тезис, то для руководителей внешней политики демократических государств Запада напрашиваются такие выводы: дело не в коммунизме, который, конечно, великое зло, а в первородном грехе России, которую следует по возможности ослабить. И тогда план разделенья России на множество второстепенных государств может быть принят к руководству.

При принятии более современной позиции по вопросу о природе исторического процесса, ответ на вопрос о будущем России должен быть более сложным. Мы не можем поручиться за то, что 40 с лишним лет пройдут бесследно; и тогда не какие-то следы московского периода, но коммунистические следы, много худшие, проявятся в после-коммунистической России, пусть в комбинации со следами, скажем, последнего полустолетия перед революцией. Но мы знаем, что это вовсе не неизбежно. В русской истории с древнейших времен проступали и другие тенденции развития, ведшие к политической и социальной демократии. Русские эмигранты должны способствовать укрепленью таких идей в недрах России. Мало бранить и обличать коммунизм; нужно усиленно выдвигать и заслуживающие подражанья и развития страницы русской политической и культурной истории. В частности желательно, в порядке общественного презренья, остановить поток хулы, извергаемой в речах и писаньях лиц, заслуживающих названья непомнящих родства. Из этого отнюдь не вытекает, будто нужно замалчивать темные стороны прошлого и писать приукрашенные портреты.

А иностранцам мы должны внушать мысли того рода, которые были развиты при рассмотрении второго из поставленных в начале этой статьи вопросов. Какие именно из противостоящих друг другу тенденций развития прошлого проступят в будущем, зависит от будущей исторической

конъюнктуры, т. е. встреч их с другими. В этих встречах немалую роль может сыграть поддержка тех или иных тенденций Западом. С освобождающейся или уже освободившейся от коммунизма Россией Запад должен поступить так, как он поступил с Западной, ныне свободной Германией. Это сильно увеличит шансы возникновенья на востоке Европы и на севере Азии не какого-либо чудовища, подобного коммунистическому, а нового оплота свободы и справедливости, который, в единении с однородными западными силами, сделает эти идеалы непобедимыми.

Н. С. Тимашев

МИФОЛОГИЯ В НАУКЕ

(ПО ПОВОДУ ТРУДОВ THEILHARD DE CHARDIN)

Тейар де Шардэн имеет сейчас мировую славу, и он заслужил ее, не только как первоклассный ученый, но и как замечательный, едва ли не единственный в наше время представитель натурфилософии. Его сочинения — говорю не о специальных его работах, а о книгах общего содержания — пользуются огромным успехом не в одной только Франции. Книги его переводятся на иностранные языки, о системе Тейара де Шардэна существует уже большая литература. Особый интерес он вызывает в католических кругах (Тейар де Шардэн принадлежал к ордену иезуитов), но мнения католических ученых и богословов очень расходятся о нем. Не исключена даже возможность и того, что его книги попадут в index librorum prohibitorum (к чему склоняются некоторые его критики), но пока руководящие круги в католичестве еще не высказались о нем окончательно. Слава Тейара де Шардэна особенно велика в полурелигиозных или внерелигиозных кругах, но и религиозная интеллигенция Запада с чрезвычайной любовью относится к нему.

На чем же основана слава Тейара де Шардена, в чем его сила? Конечно, прежде всего в том, что он первоклассный ученый, сделавший в своей специальности (палеонтология) много ценнейших открытий; в вопросах, касающихся его специальности, он был исключительно авторитетен. Но он и философ, стремящийся дать цельную и законченную картину мира, хотя один из его критиков, проф. Католического Института в Париже, Грене не без остроумия дал такой подзаголовок своей книге о Тейаре: "Philosophe malgré lui". Действительно, Тейар часто говорит в своих книгах, что он не хочет касаться философских тем, связанных с его идеями, но на самом деле он, конечно, философ. Он строит интересную «философию природы», точнее говоря, он «натурфилософ» (в том смысле натурфилософии, какой со времени Шеллинга утвердился в немецкой философии). Система Тейара есть действительно система натурфилософии — общего учения о природе и ее силах внеш-

них и внутренних, о ее эволюции, — хотя сам Тейар (дальше мы увидим почему) боится выходить за пределы «феноменов», т. е. того, что как «явление» предстоит нашему непосредственному взору.

Но Тейар не только ученый и натурфилософ, он и поэт; его книги, насыщенные научными фактами, являются своеобразной *поэмой,* — поэмой о земле, о материи. Он не просто любит землю, любит материю, — но постоянно погружается с глубоким чувством в «океан материи», как он писал*. Тейар глубоко чувствует *единство* мира — и для него это не просто интуиция, а непосредственный и основной факт, которым он, можно сказать, зачарован. Единство мира раскрывается для него в своеобразной «лестнице» бытия; от низших форм до самых высших природа все так же богата силой движения, развития. В одном месте (Le phenomène humain, p. 39) он так и говорит: «план, порядок в мире выступает, *лишь беря его как целое*». Мир, как целое, как живое единство — таково основное «видение» Тейара, определившее его и научную и натурфилософскую работу. «Материя только кажется мертвой», писал он; материя «полна духовной мощи». Материя для него юна, молода, полна сил (одна из глав в самой значительной его книге "Le phenomène humain" так и называется "La terre juvenile").

Что мир есть живое целое, — он этого не доказывает, — просто потому, что это есть его основное видение; жизнь материи, в частности, жизнь земли есть для него незатихающее развитие, и в этом понятии «развития» он и хочет дать целостную картину мира. Уже в этом исходном пункте Тейар строит свою мифологию о материи, приписывая материи «усилие организоваться». В другой книге ("Le groupe zoologique humain") Тейар вводит другой мифологический момент, говоря о том, что в природе есть «космическое *скольжение* простого к сложному». Но мифологичность этих вводных идей не смущает Тейара, он думает только о том, чтобы раскрыть сущность того единства природы, которое он так глубоко чувствует. Ему однако совершенно чужда мысль об *иерархическом* строе бытия (что глубже других раскрывал в своих трудах французский философ Бутру) — единство природы, непрерывность в ней и сплошность Тейар пытается раскрыть, применяя понятие эволюции; тут-то ему и понадобилась идея «космического скольжения простого к сложному».

*** Je ne me senti jamais à l'aise que baigné dans un océan de Matière ("Le coeur de la Matière", p. 5).**

Как осторожный ученый, он все же не берется сразу охватить бытие в его *«целом»*, в его полноте, тем более, что для применения здесь принципа эволюции нет достаточных данных. Именно потому Тейар избрал иной путь — он имеет в виду лишь внешний лик природы — «феномены», «явления». Он не забывает о всей полноте бытия, но сознает, что тут с идеей эволюции далеко не уедешь. Он настаивает на том, что он изучает лишь «феномены», даже говорит о «феноменологии или обобщенной физике» (беря слово «физика» в греческом смысле physis — природа, а понятие «феноменология», конечно, взято вне всякого отношения к «феноменологии» Гуссерля). Один из горячих поклонников Тейара — *Др. П. Шошар* в книге "Etre Humain" выдвигает даже общую идею о «научной феноменологии», т. е. о сосредоточении научного внимания только на «феноменах». Правда, еще в середине XIX в. Кирххоф определял задачу науки только как описание фактов, но у него ведь дело шло о физике в обычном смысле слова, а в отношении биологии его формула недостаточна, поскольку само понятие «жизни» не улавливается никаким описанием (нельзя ведь считать достаточным «описание» жизни ни в формуле Штерна об «автотелии» жизни, ни в формуле Спенсера о «динамическом» моменте в явлениях жизни, ни даже в построениях Дриша (Driesch, Philosophie des organisches).* Насколько однако Тейару удается при изучении явлений жизни («биосферы») ограничиться одними феноменами, мы сейчас увидим.

Общим понятием, которым пользуется Тейар при характеристике мира, взятого как система феноменов, является понятие эволюции. С чрезвычайной настойчивостью он использует всюду это понятие — даже там, где и по его научному сознанию вовсе нет эволюции, а есть «скачек», — и тут грань между гипотезой (допустимой всегда в науке) и чистой мифологией совершенно у него стирается. Но прежде всего — исчерпывается ли жизнь природы одними «феноменами»? Конечно, нет — скажет и Тейар, но тогда можно ли строить картину мира посредством эволюции одних феноменов? Сам Тейар вводит дополнительное учение о том, что находится «позади» явлений (их «внутренняя сфера» — "dedans"), — и это понятие, как увидим, абсолютно ему необходимо, когда приходится объяснять

---

* Наш русский философ, знаменитый Пирогов, когда порвал с материализмом, пришел к мысли, что *жизнь* есть основа и исходный факт бытия. Такое *биоцентрическое* понимание бытия все более завоевывает признание мыслителей и ученых.

«скачки» в жизни природы. Но если так, если есть в феноменах их «внутренняя сфера», без признания которой нельзя признать развитие форм жизни, нельзя понять «космического скольжения от низших форм к высшим», то ограничиваться изучением одних феноменов, строить целую гамму в развитии именно феноменов — невозможно. Или феномены действительно слагаются в *замкнутую* сферу (чего и требует научный замысел Тейара), или же, если не удается ограничиться одними феноменами и время от времени приходится опираться на «внутреннюю сферу» вещей, то тогда замысел Тейара, его остановка на феноменах является мнимой. Если приходится, для установления феноменов, обращаться к их «внутренней сфере», то к чему все эти декларации Тейара, что он изучает одни феномены? Антиметафизическая позиция Тейара им же самим отвергается, когда он выходит за пределы феноменов или даже говорит (напр., в наиболее поэтической и глубокой его книге "Milieu divin"), что «божественная сфера» есть «глубокая сущность вещей».

Дело не в простой непоследовательности у Тейара. Он слишком тщателен и осторожен в своих высказываниях, чтобы не заметить этой непоследовательности. Дело здесь, думаю, в другом; если остановка на феноменах, на внешнем лике мира определила основную научную позицию Тейара, — то потому, что он не только ученый, но и верующий христианин; ему было нужно как-то связать и в *то же время отделить* две эти сферы — науки и религии. О Тейаре нельзя сказать, что в его лице мы имеем перед собой христианского ученого, — нет, он одновременно и ученый, он и христианин, но не христианский ученый; разделение двух типов мысли лишает возможности считать его христианским ученым. Две установки его духа так и остались различными в нем самом, и чтобы оправдать для себя самого эту двойственность, Тейар и отделяет изучение феноменов от их сущности. Когда-то Э. Гартман выдвигал идею «индуктивной метафизики», т. е. метафизики, *договаривающей* то, что дают нам явления: для Гартмана метафизика природы есть лишь до конца понятая внешняя жизнь ее, ему незачем было бы ограничиваться одними феноменами, но изучая феномены он стремился сквозь них увидеть подлинную полноту бытия. В этом плане Гартмана феномены вовсе не являются замкнутым целым, они суть лишь внешние, частичные «явления» бытия в его целом. Но Тейар, конечно, не случайно хочет *изучать* одни лишь феномены; если ему это все же не удается, если он постоянно выходит за пределы феноменов (то в учении о «внут-

ренней сфере» в вещах, то в обращении к «глубокой сущности», стоящей уже совсем позади), то он все же упорно и настойчиво утверждает, что дело науки касается изучения лишь одних «феноменов», одного внешнего лика бытия. Но это предполагает, повторяем, то, что цепь феноменов есть *замкнутое целое* — только при этом условии можно говорить об эволюции феноменов, как таковых, — но сам же Тейар на каждом шагу вводит дополнительные моменты, т. е. феномены у него не являются замкнутым целым. Это значит, что изучая природу мы не можем брать одни только «феномены», а должны идти в их глубь. Все декларации о сосредоточении внимания на одних феноменах вовсе *не вытекают из природы науки,* — причина этих деклараций в чем-то другом. Отсюда неустанная двойственность во всех построениях Тейара. Если, как верующий христианин, он ищет внутренней связи между тем что ему говорит научный анализ, и тем, к чему направляет внимание его христианское сознание, то все же двойственность остается. Если, как говорит Тейар в одной из книг, «Божественная сфера и есть истинная сущность вещей», то, чтобы охранить в себе научную мысль, ему оставался один лишь выход — *отделить* в себе научное созерцание от того, что открывалось ему, как верующему человеку. Такова, думаю, внутренняя логика творчества Тейара, — но это и есть коренная двойственность в нем — стихия науки у него никак внутренно не связана с религиозными идеями.

Но перейдем к изложению самой системы нашего автора.

Хотя в центре научного внимания Тейара, как палеонтолога, был человек, но как философ (malgré lui!) он связывает тему о человеке с общим пониманием природы. Эти части работ Тейара написаны с истинным вдохновением, но и с постоянным внесением мифологии в его построения. Правда, и Платон с некоторой самоиронией говорил о своих построениях, что они суть «правдоподобные мифы», но для греческого сознания категория мифов была почтенной и глубокой. В греческих мифах еще бился пульс религиозной мысли, придававший мифам особую глубину. Правда, только в греческой мифологии затронуты были все глубокие темы о мире, человеке, жизни — в мифологиях других народов мы видим скудное воображение и скудость мысли. Но для современного европейского сознания понятие мифа стало равнозначным пустой фантазии, может быть поэтической и интересной, но для критической мысли, для научного сознания не приемлемой. Наука, занятая изучением фактов, не может ограничиться одними фактами («феноменами»), она

стремится с помощью *гипотез* связать факты в одно целое. Но гипотезы все строятся ведь *в том же плане,* что и факты, — и потому гипотезы нередко оказываются позже оправданными во вновь открытых фактах. Но гипотезы одно, а мифология другое; на построениях Тейара это видно во всей силе.

Тейар начинает (что и верно) с первоосновы видимого бытия — с материи, чтобы через «эволюцию» материи дойти до человека. Это несомненно как-то перекликается с тем «самодвижением» материи, на которое опирается и диалектический материализм, но, конечно, идея эволюции материи у Тейара бесконечно далека от бесталанной философии диалектического материализма. Но как же эволюция материи может привести к появлению биосферы? Тут начинается у Тейара мифология; он неожиданно устанавливает (без всякого доказательства, конечно,) «великий биологический закон образования комплексов» — loi de la complexification). Можно, конечно, в порядке гипотезы устанавливать любые законы, но напрасно будем мы искать у Тейара обоснования этого «великого» закона. Еще неожиданнее то, что по Тейару материя «по своему» (??) подчинена этому закону.

Для дальнейших построений нашего автора этот неведомый ни биологии, ни физике закон очень важен; пожалуй, можно тут припомнить и «космическое скольжение от низших форм к высшим». Но все же, как же в итоге эволюции материи возникает жизнь? Оказывается, по Тейару, что собственно в материи уже была с самого «начала» своя жизнь («Previe» называет ее он), — и тут-то и понадобилась нашему автору «внутренняя сфера» в материи, чтобы истолковать жизнь в материи. Не проще ли было опереться на монадологию Лейбница? Но у Лейбница основа бытия не материальна — материальная сфера является лишь «обнаружением» внутреннего мира, — у Тейара же внутренняя сфера стоит наоборот «позади материи». Его система есть, конечно, панпсихизм, но внутренняя сфера у него следует за материей: «атомизм, пишет он, присущ и внутренней и внешней стороне». Психическая сторона не имеет в себе закономерности — она у Тейара именно «позади» материи, и только в одном он прав: без «внутренней сферы» в материи никакой эволюции вообще и не было бы — ведь та «Previe», которую он приписывает материи (с ее уже внутренней сферой) есть, по существу, просто жизнь: говорит же в одном месте Тейар: «тенденция к синтезу была *включена в материю*». Один миф порождает другой.

Но вот эволюция материи привела, по Тейару, к образованию первой клетки (с чего уже начинается «новый этаж в бы-

тии»); рядом и внутренняя сфера доразвивается до сознания или чего-то ему подобного. Это уже настоящая «революция», говорит наш ученый поэт, — настоящий «скачек» в бытии, о котором сам автор говорит, что «в этом пункте, я сознаюсь, трудно быть ясным». Еще бы! Труднейший вопрос о «возникновении» сознания вообще *неразрешим* — поскольку дело идет именно о «возникновении» сознания. Автор настолько все же правдив, что сам называет «загадочным» превращение Previe («чистая материя») в Vie — жизнь. А в одном месте наш смелый, но неосторожный автор с завидной легкостью говорит: «в мире ведь часто бывает, что действует *счастливая случайность*». Слово найдено: жизнь в своем возникновении сводится к «счастливой случайности». Очевидно, «счастливой случайностью» надо считать и все свойства клетки (питание, размножение, приспособление). Мы уже слышали об «усилии материи организоваться», — и тут мифология завладевает автором уж безконтрольно, раз он опирается на «счастливую случайность». Правда, позже он скажет нам об «направляемой случайности»; позже открывается и то, что владеет случайностями и направляет их, но ведь это уже за пределами феноменов!

В главах, посвященных эволюции жизни, и в «скольжении» к высшим формам, Тейар дает живую картину эволюции жизни. Он признает, что «таинственное превращение мегамолекул в *клетки* продолжается и ныне», — и эти «скачки» помогают ему возводить стройное здание природы. Там, где нужны эти «скачки», — там мифология врывается в научные построения, которые молчаливо дают место мифологии, — в частности — появление первых клеток, микроскопических, но многочисленных соответствует «биологическому напряжению земли»! Установка такой мифической фазы в жизни земли не смущает Тейара своей полной фантастичностью. «Опыты Пастера, замечает тут же автор, не могли и не могут быть приводимы против «самозарождения жизни» Впрочем, Тейар готов допустить, что зарождение жизни на земле относится к числу событий, только раз случившихся («счастливая случайность»!) и неповторимых. А что касается способности размножения, то это только «форма самозащиты возникших клеток». Тут же находим мы и новое мифологическое сообщение, что «жизнь открыла удивительное свойство сочетания *разных* клеток, чем закрепляется ‘даулизм пола’». Постепенно древо жизни разветвляется, разростается — и тут нашему автору очень помогают палеонтологические данные, касающиеся различных периодов в жизни земли — так, через различные формы жизни, мы подымаемся наконец до млекопитающих, пройдя «лабиринт» различ-

ных форм жизни. Существенно на вершине этого процесса возникновение мозговой ткани (cérébralisation). Тут Тейар должен сознаться, что снова приходится иметь в виду «внутреннюю сферу» — по его уверению еще в конце третичного периода «психическая температура в клеточном бытии поднялась». Эта новая гипотеза, точнее говоря, — этот новый мифологический термин нужен ему, чтобы подойти к тому, что в человеке вспыхивает огонь мысли. Рождается опять новый этаж в бытии... Правда, «человек вошел в мир без шума», незаметно, человек является, «как одна из бесчисленных модификаций сознания, испробованных жизнью», но сейчас же Тейар оговаривается, что «всю игру (!) ведут более глубокие причины». Беря, однако, факты лишь как феномены, должно сказать, думает Тейар, что мы имеем перед собой настоящий «скачек» — в том, что в лоне инстинктов рождается мысль. Этот скачек он называет «ноогенезис» (рождение духовной сферы), — и уже в этот период возникает «личность» — клетка становится «существом» (la cellule est devenue "quelqu'un").

Но с человеком открывается наконец и тайна всего движения жизни; человек по мысли Тейара, не центр, а «руководящая сила всего биологического синтеза». Но что это значит? Ведь, по гипотезе Тейара «силы синтеза с самого начала были включены в материю» — ведь в материи была изначала «Previe», «Prebiosphère». Какие же новые силы синтеза нашел Тейар в человеке?

Тейар считает человека «самым загадочным» из всех явлений и думает даже, что наука еще не нашла ему надлежащего места во вселенной. «Человек, каким видит его наука — пишет он — есть такое же животное, как и другие», — но в человеке вспыхнул огонь мысли, в человеке начался новый период в бытии — в нем «родился новый мир» — возникает «личность». По его общей концепции, человек вошел в мир «без шума», незаметно, — но появился на земле человек «в итоге общего усилия жизни», в итоге общего процесса «космогенеза». Так почему же человек оказывается «руководящей силой всего биологического синтеза»?

Тейар говорит, что это есть его основная интуиция, в которой его укрепляет то, что эволюция не может кончиться на человеке, что те «эволюционные силы», которые действовали до человека, не могут в нем умолкнуть. Но, очевидно, эволюция идет уже *не по внешней линии;* для изучения феноменов, чем занят Тейар, после появления человека *уже нет места.* Значит, заключает он, эволюция уже идет *во внутреннем мире.* На этом, собственно, должна бы кончиться научная работа, но для Тейара не труден переход в другой план — в план мифологии в учении о

высшей жизни. «Врата будущего открываются в том, что над человеком есть сверхчеловеческое», «сверхличное начало», — в которое «вливается» все то, что открылось в феноменах. Эту гипотетическую высшую точку бытия Тейар называет «Омега». В Омега вливается все то, что накопилось на земле, или, по выражению Тейара, то, что освобождается от земли благодаря работе мысли. Такова последняя точка в эволюции бытия — «высшая точка эволюции».

И тут же идет не наука, даже не мифология, а чистая поэзия. «В нас есть непреодолимый инстинкт, который движет наш дух к единству — природа, красота, музыка, все это тоска по «родине» — ожидание и чувство Великого Бытия (le sentiment d'une grande Presence).

Эта (предполагаемая!) высшая точка, вбирающая все, что создала эволюция, есть как бы «Душа душ», и теперь понятна мысль Тейара, что человек есть «руководящая сила эволюции». Но это уже не наука, это глубже; мифологические открытия Тейара — это натурфилософия, переходящая в религию. В «Омега» завершается «искупительное Воплощение». И тут, уже совершенно в порядке религиозного сознания, открывается, что Омега *существовала в мире изначала.* Биологический процесс (эволюция материи и жизни) только *прикрывал* (!) действия «Омега», о которой дальше говорится уже совершенно в терминах религиозных. Омега, как «Личный Центр бытия», должна быть понята как вечное и трансцендентальное Бытие. Последняя прибавка нужна Тейару, чтобы устранить подозрение в пантеизме. В замечательной, поистине вдохновенной книге «Le milieu divin» уже прямо говорится об Omnipresence Divine, а Божественная сфера в бытии, открывается как глубокая основа всего, что существует. Как подлинная сущность вещей. Мир, открывающийся научному сознанию (мир феноменов) оказывается в то же время сферой действия Бога; наука и религия оказываются, таким образом, «двумя сторонами одного и того же познания».

* * *

Я не буду здесь входить в обсуждение богословских взглядов Тейара, укажу лишь, что у него действие Бога в мире оказывается, по существу, *единственным двигателем* в мире. Это ведет к акосмизму, т. е. к поглощению мира в Боге, — а феномены являются призрачным бытием; они лишь внешне знаменуют то, что совершается в глубине их. Такая богословская позиция во всяком случае не отвечает христианству, которое признает, что в акте

творения земля, как и все видимое бытие, получает известную самостоятельность и активность. У Тейара ключ к эволюции лежит вообще *не в самих феноменах,* а в тех «глубоких силах», божественная природа которых утверждается нашим автором. Но именно в силу этого феномены у Тейара *не обладают собственным бытием,* их активность определяется лишь «внутренней сферой» в вещах. Все ступени в эволюции бытия с внешней точки зрения являются «скачками», для объяснения которых приходится прибегать к «счастливым случайностям». Сосредоточение внимания на одних феноменах, без связывания их (в научном исследовании) с тем, что движет их, обрекает науку на изучение не подлинного бытия (каким являются «глубокие силы»), а на изучение бездейственных, в сущности призрачных проявлений того, что совершается «внутри». Научный замысел Тейара поэтому неверен, — вместо науки получается мифология (как, напр., миф о «космическом скольжении низших форм бытия в высшие»). Все это ослабляет научную ценность построений Тейара, ослабляя в то же время и богословскую позицию автора. Его научный замысел в том именно и не верен, что «феномены», его интересующие, не могут быть в самом научном замысле отделены от действующих в них сил. У Тейара получается односторонняя научная позиция, подлинное бытие в полноте его «глубоких сил» ускользает от изучения. Та реальность (материальная), в которую с энтузиазмом уходил Тейар, есть, по его же признанию, лишь ее внешний лик (феномен), — оттого и приходится опираться на «счастливые случайности», чтобы объяснить появление биосферы, а в человеке — неосферы.

Как натурфилософ Тейар интересен не в своем сосредоточении на призрачных по существу феноменах, а как раз в своем учении о «глубоких силах», определяющих «игру» феноменов. Именно это и сообщает поэтическую прелесть его писаниям, — но ни наука ничего не выигрывает при этом, ни богословие. Огромный поэтический дар Тейара не может быть оспариваем, но его научное творчество ослабляется внесением туда мифологических идей, а его богословские взгляды, искажая доктрину христианства, страдают акосмизмом, нечувствием того, что феномены реальны не в своей внешней картине, а именно в своей *неотрываемой* связи с их глубиной.

В. Зеньковский

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЦИАЛИЗМ И СОВЕТСКИЙ КОММУНИЗМ

Три года тому назад видный английский историк социализма профессор Коол закончил свою пятитомную «Историю социалистической мысли», которая вышла одновременно в Лондоне и в Нью-Йорке. Вскоре после этого издательство Калифорнийского университета выпустило двухтомную «Историю европейского социализма»,* содержащую около двух тысяч страниц. Автор ее Карл Ландауэр — бывший немецкий социал-демократ с 1933 года живет в Америке и в настоящее время профессор Калифорнийского университета. В отличие от «Истории социалистической мысли» проф. Коола, книга проф. Ландауэра — история только **европейского** социалистического движения, охватывающая период от начала промышленной революции в конце 18-го столетия и до прихода Гитлера к власти в Германии в 1933 г.

В предисловии автор оговаривается, что в его книге нет ничего о социалистических партиях Болгарии, Сербии и Венгрии. Между тем, и в Болгарии, и в Сербии до второй мировой войны было по несколько социалистических партий, а в Венгрии до первой мировой войны было довольно значительное социалистическое рабочее движение. По окончании первой мировой войны, Венгрия сыграла заметную роль в истории коммунизма и Коммунистического Интернационала. В главе о скандинавском социализме говорится лишь о Швеции. Норвегию и Данию автор почему-то совершенно опустил, несмотря на то, что в Дании, а в особенности в Норвегии, и до прихода Гитлера к власти существовали влиятельные социалистические партии и в течение ряда лет социалисты там стояли у власти. Еще более непонятно, почему автор из своей

---

* European Socialism. A History of ideas and movements. From the Industrial Revolulion to Hitler's Seizure of Power. Vol. 1-2 by Carl Landauer. Published by University of California Press.

«Истории европейского социализма» исключил Англию. Об английском социалистическом движении, говорит он, существует на английском языке достаточное количество авторитетных трудов, которые доступны и американскому читателю, как, например, книги Сиднея и Беатрисы Вебб, Макса Беера и Г. Д. Коола. Но история европейского социализма без Англии это то же самое, что история европейского фашизма без Германии или история капитализма без Соединенных Штатов. И уж совсем необъяснимо, что Ландауэр в своей «Истории европейского социализма» уделил так много места России. Россия, правда, играла значительную роль в истории европейского социализма, но только до 1918 г., может быть, до 1921 г. Но гражданская война в России и Россия сталинской эпохи не имеет ровно никакого отношения к истории европейского социализма. Тем более, что о гражданской войне в России и о Советской России при Ленине, а потом при Сталине на английском языке существует богатейшая литература. Проф. Ландауэр ничего нового о России нам не рассказал. Главы о гражданской войне и об эпохе сталинизма, между прочим, самые слабые в книге. В них много ошибок, неточностей, кроме того автор не дает правильной картины того, что действительно в те годы происходило в России. Проф. Ландауэр демократический социалист. Он убежден, что в Советской России никогда не было никакого социализма и что советский коммунизм является прямой притовоположностью социализму. Он убежден и в том, что Советский Союз при коммунистической диктатуре не может эволюционировать в сторону демократического социализма. Но почему же именно он нашел нужным в своей «Истории европейского социализма» уделить столько места внутреннему развитию Советской России, остается непонятным.

В первых главах книги автор описывает развитие социалистических идей во Франции, Германии и России. Английских гуманитарных социалистов, кроме Роберта Оуэна, он почему-то почти не упоминает. Гораздо больше внимания он уделяет Карлу Марксу, Лассалю и другим немецким социалистическим мыслителям. Почти две трети «Истории» Ландауэра занимает описание событий в европейском социализме, начиная с 1890 г., то-есть, с периода расцвета социалистических партий в Европе и создания Второго Интернационала. До 1890 г. большинство социалистических партий в Европе были либо в подполье, либо играли незначительную роль в европейской политике. Лишь после 1890 г. социалистические

партии в большинстве европейских стран стали быстро расти и приобретать все большее влияние в социально-политической и культурной жизни своих стран. Центральное место в книге проф. Ландауэра занимают события в Германии, Франции, России и Италии. Хотя о социалистическом движении в этих странах написано много книг на разных языках, в книге Ландауэра приводится много новых фактов и важных подробностей, особенно касающихся Германии. Ландауэр, как историк, беспристрастен и объективен. Он правильно и точно излагает взгляды не только представителей социалистических течений, но и их противников. Даже в главах о Веймарской республике в Германии и о возникновении и развитии фашизма в Италии и нацизма в Германии он проявляет чрезвычайную объективность. России он посвящает почти триста страниц.

Главы о социализме в России до 1914 г. написаны не самим Ландауэром, а его помощницей Элизабет Кредл Волкенир. Не знаю, владеет ли она русским языком, но она несомненно недостаточно знакома с историей русского революционного и социалистического движения и революции 1905 г. Это видно хотя бы из того, что в главе о революции 1905 г. даже не упоминается «Союз Освобождения», насчитывавший в своих рядах многих социалистов-реформистов всех направлений и сыгравший большую роль в подготовке революции 1905 г. Даже о партии социалистов-революционеров, сыгравшей еще бо́льшую роль в революционных событиях 1904, 1905, 1906 и 1907 гг., очень мало сказано. Главы о революции 1917 г. написаны, повидимому, самим Ландауэром. Но он свой материал черпал часто и из таких ненадежных источников, как книги английского большевизана проф. Эдуарда Кара или бывшего троцкиста-ленинца Айзика Дейчера и им подобных историков. Несмотря на то, что книга Ландауэра вышла в конце 1959 г., в главе о революции 1917 г. нет ни слова о том, как правительство Вильгельма II и германский генеральный штаб помогли большевикам в октябре 1917 г. захватить власть и потом удержать ее в своих руках. Более того, в одном из примечаний в конце первого тома проф. Ландауэр пишет, что он сильно сомневается, согласился бы Ленин принять помощь от кайзеровской Германии. В последнюю минуту, когда книга его уже была в печати, говорит он, были опубликованы новые документы об этом, но он не имел еще возможности внимательно их проштудировать. Пока же он остается при своем мнении, что «Ленин, по всей вероятно-

сти, не принял бы денежной помощи от германского правительства», и он не верит тому, что Ленин когда-либо получал такие деньги. Почтенному профессору еще можно простить, что он не потрудился прочесть документы из архива германского министерства иностранных дел за 1915-1918 гг., опубликованные в 1958 г. в Лондоне издательством Оксфордского университета под ред. З. А. Земана, или статьи об этом же в немецкой социал-демократической газете «Форвертс» и других германских газетах и журналах (см. об этом мою статью «Ленин и Вильгельм II» в 57-ом номере «Нового Журнала»). Но уже совсем непростительно, что он даже не упоминает статей известного германского социал-демократа Эдуарда Бернштейна, которые были напечатаны в берлинском «Форвертс», центральном органе германской социал-демократической партии, 14-го и 18-го января 1921 г., т. е. 41 год тому назад. Бернштейн еще тогда утверждал, что у него есть неопровержимые доказательства, что большевистская партия в 1917-1918 гг. получила от германского правительства сумму, равную не менее 50 миллионам золотых марок для разложения русской армии и свержения Временного Правительства, которое упорно отказывалось заключить сепаратный мир с Германией. Бернштейн в своих статьях тогда подчеркивал, что Ленин прекрасно знал, откуда шли эти деньги.

Ни один серьезный историк большевистской революции в России не может после 1958 г. пройти мимо того факта, что без громадной помощи, которую Ленин в 1917-1918 гг. получал от правительства Вильгельма II, большевики были бы не в состоянии захватить власть и уж несомненно не могли бы долго оставаться у власти, если бы Германия в 1918 г. не поддерживала их. Однако, несмотря на все указанные нами недостатки работы проф. Ландауэра, это все же ценный вклад в историю европейского социализма и политической и социальной истории Европы в первой половине 20-го столетия. Это отчасти и краткая история Европы, с 1890 г. до 1932 г.

Очень интересны главы о первой мировой войне и о позиции, которую заняли разные социалистические партии по отношению к войне, и о борьбе социалистических партий нейтральных стран за скорейшее окончание войны и за «мир без победителей и побежденных».

Есть в книге подробное описание конференций левых социалистов в Циммервальде и Кинтале и описание движения вокруг так наз. «Стокгольмской мирной конференции» в 1917 г., которую социалисты нейтральных стран вместе с

русскими меньшевиками и социалистами-революционерами готовились созвать осенью 1917 г. и в которой должны были участвовать также и социалистические партии всех воюющих стран. Проф. Ландауэр подробно объясняет, почему именно Стокгольмская конференция не состоялась и очень убедительно доказывает, почему в 1917 г. никак нельзя было закончить мировую войну посредством международной социалистической конференции, как об этом мечтали многие социалисты-пасифисты и «интернационалисты», особенно российские.

Чрезвычайно интересна глава о германской революции 1919 г. Многие из приведенных автором фактов мало известны даже большинству иностранных историков, писавших о Германии. Особенно интересны подробности о событиях в Баварии после окончания первой мировой войны и о том, как в Баварии сначала была установлена коммунистическая диктатура и как в результате шестинедельного господства там коммунистов Бавария стала гнездом ультра-консервативной реакции в Германии и колыбелью гитлеризма.

Сам проф. Ландауэр, после раскола в германской социал-демократической партии, остался в старой партии, лидерами которой были Филипп Шейдеман и Фридрих Эберт. Ландауэр и в настоящее время считает, что тактика германской социал-демократической партии в годы первой мировой войны и во время германской революции была правильная. Он доказывает, что Шейдеман, Эберт и их товарищи, при тогдашних условиях, не могли поступать иначе. Он разрушает целый ряд фальшивых легенд, которые до сих пор распространены среди европейских и американских либералов и радикалов о германской социал-демократии и ее лидерах. Некоторые из его утверждений многим покажутся не совсем убедительными. В тактике германской социал-демократии, как и в тактике и политике социалистических партий других стран, было много того, что заслуживало критики. Русских меньшевиков и с-ров, как и итальянских социалистов, проф. Ландауэр критикует, можно сказать, направо и налево, но для каждого действия или бездействия немецких социал-демократов он находит соответствующее оправдание. Это может быть, объясняется тем, что с германскими условиями он больше знаком, чем с условиями в других странах.

В главе о Марксе проф. Ландауэр указывает, что хотя Маркс и Энгельс говорили о «революционной диктатуре пролетариата», но они никогда не представляли себе эту диктатуру идеей лишения миллионов людей не только права голоса

и свободы пропаганды своих взглядов, но даже элементарных гарантий личной свободы, как равенство перед законом и независимость суда. Ландауэр пишет: — «Нельзя себе представить, что Маркс и Энгельс одобрили бы то, что сделано было в России при Ленине и в особенности при Сталине. Никто не может сказать точно, как далеко отличается термин 'диктатура пролетариата' на языке Маркса и Энгельса от того значения, которое он получил на языке современных коммунистов, но нет никакого сомнения, что значение его не то же самое». Ландауэр указывает, что Энгельс в предисловии к брошюре Маркса «Гражданская война во Франции» писал: — «Хотите знать, что такое диктатура пролетариата? Посмотрите на Парижскую Коммуну. Это была диктатура пролетариата». Ландауэр по этому поводу говорит: — «Парижская Коммуна была основана на всеобщем избирательном праве, из которого ни один класс не был исключен. Более того, Коммуна уважала свободу личности не меньше, чем это делало любое правительство во время войны. Лица, которые Коммуной были взяты заложниками, были заподозрены в измене в пользу правительства Версаля, которое воевало против Коммуны. Они не были выдающимися представителями 'враждебного класса'. Коротко говоря, Парижская Коммуна не обнаружила почти ни одной из тех характерных черт 'пролетарской диктатуры', которая была введена в России. Это была по существу радикальная демократия».

Ландауэр также приводит следующую выдержку из статьи Энгельса, написанной им в 1891 г. и напечатанной в немецком журнале «Нейе Цайт» в 1902 г.: «Одно ясно, — писал Энгельс, — что наша партия и рабочий класс могут придти к власти только в демократической республике, которая является специфической формой диктатуры пролетариата, как это показала Великая французская революция». Проф. Ландауэр по этому поводу замечает, что теперь ясно, что демократия и диктатура пролетариата еще более несовместимые понятия, чем социальная революция и демократия. Ландауэр пишет: — «В истории были демократические революции, но демократическая диктатура невозможна. С демократической точки зрения, революция оправдана лишь там, где нет демократии, где народ поэтому не имеет легальной возможности создавать законы и общественные учреждения, соответствующие его чаяниям и желаниям. Так как демократия никогда не совершенна, то не всегда ясно, достаточно ли демократии в данный момент в данной стране, чтобы, с демо-

кратической точки зрения, объявить революцию, так сказать, 'вне закона'. Но если революционеры претендуют быть сторонниками демократии, они должны, по крайней мере, после своей победы восстановить демократические учреждения. Если же они отказываются подчиниться решениям большинства народа после свободного обсуждения им всех вопросов, то они не могут дольше претендовать на демократические учреждения».

Говоря о тоталитарном характере советского режима, проф. Ландауэр высказывает ту мысль, что тоталитарная форма правления в СССР окончательно была установлена только при Сталине, но автором ее был Ленин. Он пишет: — «Тоталитарный характер советского режима не есть результат замены парламентарного строя системой Советов. Даже лишение 'буржуазии' и аристократии избирательных прав, которое является явным нарушением принципов демократии, не было решающим моментом. Что определило характер режима — это подавление свободы слова, свободы печати, свободы совести и свободы союзов. При отсутствии этих свобод даже парламент, избранный на основе всеобщего избирательного права, был бы только ширмой для диктатуры».

Профессор Ландауэр далее показывает, какую роковую роль в истории европейского социализма и мировой демократии сыграл разгон большевиками Всероссийского Учредительного Собрания в январе 1918 г. «Ни одно отдельное событие в истории мирового социализма, пишет он, не имело более глубоких последствий, чем роспуск Всероссийского Учредительного Собрания 18-го января 1918 года и установление в России диктаториального режима, вместо парламентской демократии, которую хотело установить Учредительное Собрание». «Этим актом, то есть разгоном Всероссийского Учредительного Собрания, говорит он, большевики оторвали свой своеобразный социализм от движения за политическую свободу, которое постепенно приобретало все более широкую почву в человеческом обществе, начиная с двух английских революций. Для рабочего класса его связь с традициями либерализма была большой проблемой, начиная с июня 1848 г., когда республиканцы из средних классов вместе с рабочими-социалистами дрались на баррикадах в Париже и даже еще раньше в Англии в эпоху чартизма. За очень малыми исключениями, социалистические лидеры 19-го и 20-го столетий, как бы резко они порой ни критиковали либеральные партии, они все-таки признавали близкое родство между социализмом

и либерально-демократическим движением. Это верно и в отношении Маркса. Теперь же то крыло рабочего движения, которое находится под контролем большевиков, перестало быть частью великого левого демократического фронта, хотя некоторые либералы в Западной Европе и в Америке до сих пор этого не видят. Вера некоторых лассальянцев позднейшего периода в то, что все политические силы, вне рабочего движения, представляют собой одну сплошную «реакционную массу», стала руководящим принципом большевистской политики, не взирая на пренебрежение большевиков к Лассалю».

Проф. Ландауэр далее говорит, что дело не меняется от того, что большевики в принципе не отвергли политическую свободу как идеал и даже сохранили свою веру в окончательное исчезновение не только всякого деспотизма, но даже и самого государства. Важно то, что они своей властью уничтожили все свободно-избраннные демократические учреждения и гарантии личных прав, которые только и могут защищать жизнь и свободу человека от произвола власть имущих. Хотя большевики в принципе все еще признают, что конечной целью всех политических и экономических усилий должно быть «счастье индивидуумов», они свое так наз. «пролетарское государство» вооружили такой неограниченной властью, которая сама по себе становится целью, вместо средства.

Большевики, как известно, разгон Всероссийского Учредительного Собрания мотивировали тем, что эсэровское большинство в нем якобы было фиктивное. Во время выборов в Учредительное Собрание, говорили они, народ не был в состоянии различить «между правыми социалистами-революционерами — защитниками буржуазии — и левыми эсэрами — сторонниками социализма», так как избирательные списки с именами кандидатов были составлены до Октябрьского переворота и до раскола в партии социалистов-революционеров. Проф. Ландауэр замечает, что **теоретически** можно себе представить (хотя для этого нет никаких оснований), что при других условиях избиратели могли дать левым эс-эрам достаточно голосов, чтобы они вместе с большевиками имели бы большинство в Учредительном Собрании. Но при более близком рассмотрении отношений между большевиками и левыми эс-эрами, большевистский аргумент не выдерживает никакой критики. Тесное сотрудничество между большевиками и левыми эсэрами продолжалось только очень короткое время. Уже через два месяца после разгона Учредительного Собрания левые эсэры вышли из советского правительства, а через

несколько месяцев они были объявлены «вне закона». Если бы левые эсэры были в Учредительном Собрании в большинстве, конфликт между большевиками и Учредительным Собранием был бы только отсрочен на очень короткое время. Дело в том, что левые эсэры, как и правые, были избраны крестьянами. И Учредительное Собрание должно было быть ликвидировано большевиками не только потому, что парламентская традиция свободы слова сделала невозможным приспособление Учредительного Собрания к диктатуре, но также и потому, что в нем неминуемо доминировали бы крестьяне, а большевики даже до сих пор не в состоянии наладить более или менее прочные отношения с крестьянством».

Проф. Ландауэр отрицает за большевиками право оправдывать свои действия ссылкой на авторитет Карла Маркса. Он говорит: — «Маркс, правда, классовую борьбу сделал краеугольным камнем своей философии и руководства в политической деятельности. Он всегда был сторонником принятия энергичных мер против контр-революционеров. Допустимо, что он одобрил бы на весьма короткий переходный период монополию политической власти для рабочих и их лидеров, возможно даже для членов наиболее передовой революционной партии. Но Маркс верил в человеческую свободу и он кое-что понимал в ее необходимых предпосылках. Он поэтому, по всей вероятности, предвидел бы, что сами рабочие и даже члены их революционного авангарда не могли бы остаться свободными, если в течение десятилетий революционные лидеры держали бы всех остальных граждан в состоянии несвободы... Что бы Маркс ни подразумевал под своим термином 'революционная диктатура пролетариата', это не могло быть режимом, установленным в советской России».

Говоря о социализме вообще Ландауэр указывает, что социализм всегда был больше, чем экономическая программа. Социализм в Европе не создал пролетарской культуры, но он сделал современный рабочий класс живой частью культуры века и большой силой для осуществления гуманитарных целей. «Социализм, — пишет Ландауэр, — цивилизовал движение рабочих масс. Он научил их, вместо того, чтобы ломать машины и тратить свою энергию и свои усилия в стихийных бунтах, лучше организоваться политически и экономически и вести борьбу за улучшение своего положения разумными, цивилизованными средствами. Благодаря долголетней социалистической школе, через которую прошли европейские рабочие, они не только улучшили свое экономическое и соци-

альное положение, но они стали самыми сильными и энергичными защитниками человеческой свободы. Хотя коммунизм и фашизм могут в известном смысле быть рассматриваемы как ответвления социализма, но все же демократический социализм оказался самой мощной преградой для распространения в Европе как фашизма, так и коммунизма... Можно быть противником экономических теорий социализма и все же признать тот факт, что наша цивилизация не только была бы гораздо беднее, но была бы может быть даже совсем разрушена в результате стихийных восстаний недовольных масс или под диктатурами, которые были бы установлены после подавления этих бунтов, если бы социализм в Европе в прошлом не играл бы той роли, которую он играл».

Но что это означает для будущего? Суждено ли социализму в Европе играть ту роль, которую он играл в девятнадцатом и в первой половине двадцатого столетия? Некоторые из условий, способствовавших росту и развитию социализма, теперь больше не существуют. Рабочие в свободных странах больше не пролетарии, которым «нечего терять, кроме своих цепей», как сказано в «Коммунистическом Манифесте» Маркса и Энгельса. Современный рабочий свободных стран — равноправный гражданин общества, пользующийся всеми свободами и правами наравне со всеми остальными гражданами.

За последние 25-30 лет во всем западном мире произошли колоссальные изменения. Современный капитализм, как в Европе, так и в особенности в Соединенных Штатах Америки, уже не тот, какой существовал до первой мировой войны. Большую часть прибылей капиталистов теперь отбирает государство в виде подоходного налога. Во всех передовых капиталистических странах рабочие зарабатывают гораздо больше и живут гораздо лучше, чем жили до первой мировой войны. Во всех развитых свободных странах введены социальные законы, обеспечивающие рабочих на случай безработицы, болезни и — государственной пенсией на старости. Правительства этих стран помогают рабочим и другим малоимущим слоям населения обзавестись хорошими дешевыми квартирами со всякими удобствами. Дети рабочих имеют возможность получить хорошее образование. Той пропасти, которая когда-то отделяла рабочих от людей средних классов, теперь больше нет в передовых капиталистических странах. «Но мир теперь еще больше, чем когда-либо, нуждается в новом гуманитарном слове, с которым социализм пришел к

трудящимся массам», — пишет Ландауэр. Кто, если не демократические социалисты, будут вести идеологическую борьбу против тоталитаризма и диктатуры среди европейских рабочих? Тут вопрос не только о политических избирательных кампаниях. В результате тех или иных внешних условий, в тех или других политических выборах коммунисты могут быть побеждены и не социалистическими и даже антисоциалистическими партиями. Но кто в Европе с успехом может бороться против коммунизма и фашизма? Успешную борьбу против тоталитаризма во всех его формах, во имя равенства и свободы человека в Европе может вести только такое движение, которое в глазах трудящихся стоит вне всякого подозрения в том, что оно когда-либо эксплоатировало народ. Другого такого движения, как организованный демократический социализм, в Европе нет.

Проф. Ландауэр показывает, что европейский социализм чем дальше, тем яснее принимает иной характер. Из движения исключительно рабочего класса он в большинстве стран Европы постепенно превращается в общенародное движение. «Социализм 60-ых годов 20-го столетия так же глубоко отличается от социализма 90-ых годов 19-го столетия, как капитализм 60-ых годов 20-го столетия разнится от капитализма 90-ых годов 19-го столетия», говорит он. Большинство социалистических партий Европы — указывает Ландауэр — больше не являются приверженцами национализации во имя национализации. Они за национализацию или социализацию только тех отраслей промышленности, которые могут с бо́льшим успехом и с большей пользой для всего народа быть управляемы ответственными представителями демократического государства, чем частно-капиталистическими предпринимателями. Почти все социалистические партии Европы теперь за смешанное хозяйство, не исключающее и частной собственности на средства производства.

И дальше, говоря о коммунизме Ландауэр пишет: — «Из двух тоталитарных движений, некоторые корни которых выросли на социалистической почве, фашизм уже сошел с горизонта. Но коммунизм теперь, в известном смысле, сильнее, чем он когда-нибудь был. Его мощь в большей степени является результатом исторических случайностей. Результатом того что к концу второй мировой войны коммунистические армии первыми проникли в некоторые территории, которые раньше, в течение многих лет, были под контролем японских милитаристов. Коммунистические партии ввели там свою дик-

татуру и одновременно парадировали перед народами колониальных стран, как вожди движения против бывших колониальных государств. Советским армиям по окончании второй мировой войны, удалось занять восточно-европейские страны и навязать народам этих стран диктатуру коммунистических агентов Москвы».

Но в состоянии ли будет коммунизм долго удержать свою огромную власть? И если да, то сможет ли он когда-нибудь угрожать западным странам ультиматумом: «или подчинитесь или мы вас уничтожим»? На первый вопрос, — говорит проф. Ландауэр, — никто не может дать определенный ответ. Советской России и коммунистическому Китаю теперь приходится сталкиваться на своем пути со всякими внутренними трудностями, и некоторые из них чем дальше, тем больше осложняются. То, что смерть Сталина не вызвала новой гражданской войны в Советском Союзе, как этого многие ждали, никоим образом не значит, что после смерти Хрущева не может произойти борьбы за власть между различными кликами, и эта борьба может привести к перевороту в советской империи. Даже до движений в Польше и Венгрии в 1956 году было ясно, что национальные стремления народов советской империи не могут быть сдержаны коммунистической верой. Коммунистам, по всей вероятности, еще долго придется бороться против неудовольствия крестьян, если система коллективизации в деревне останется такой, как она есть. Разрешить же вновь существование индивидуальных крестьянских хозяйств, наравне с колхозами и совхозами, коммунистические вожди не могут, так как это неминуемо повело бы к необходимости изменения всей коммунистической системы. Для себя коммунистические вожди считают демократический социализм более опасным врагом, чем капиталистическую реакцию.

«Теперешние советские вожди, — пишет профессор Ландауэр, — хотят во что бы то ни стало удержать в своих руках всю полноту власти. Вожди господствующей группы Советского Союза являются пленниками своего прошлого. Даже если бы они хотели провести более глубокие перемены, они могут позволить себе расширить сферы свободы для народа только в маленьких дозах. Если бы в Советском Союзе внезапно открылись ворота для сил свободы, люди, стоящие там теперь у кормила правления, сразу были бы устранены, потому что все они несут часть ответственности за преступления сталинского режима».

В заключительной главе своей книги профессор Ландауэр

пишет: — «Вера в вероятность, если не в неминуемость, окончательного столкновения между коммунистическими и капиталистическими государствами играла очень значительную роль в коммунистической пропаганде. Это был главный аргумент Сталина, которым он пытался оправдать свою жестокую тоталитарную диктатуру. И при Хрущеве, так же, как и при Сталине, правительство пугает советские массы капиталистическим дьяволом, который якобы готовится грубой силой уничтожить советскую власть. Но это не значит, что в Советском Союзе со временем не может произойти радикальное изменение режима. Один или несколько из сегодняшних или завтрашних лидеров советского коммунизма могут проявить волю, мужество, политическое сознание и устранить все препятствия к возрождению сил свободы в стране и вывести Россию на путь мирного развития без новой революции».

Д. Шуб

О ГОГОЛЕ

По поводу книги прот. В. Зеньковского о Н. В. Гоголе*

Книга о. В. Зеньковского дополняет богатую литературу о Гоголе, как попытка истолкования личности и творчества великого писателя с христианской точки зрения. В этом ее интерес, и с этой же точки зрения мы постараемся оценить мысли автора.

Книга разделена на три части: первая говорит о Гоголе, как художнике; вторая — о Гоголе, как мыслителе, и третья — о Гоголе, как человеке.

Главная идея книги о. В. Зеньковского заключается в том, что у Гоголя «мы находим попытку постановки вопроса о реальном и всеобщем осуществлении правды Христовой. Вся духовная гениальность Гоголя, все неоценимое значение его в истории русской духовной культуры именно в этой задаче практического христианства, в разработке вопросов богословия культуры... Гоголь является по-истине апостолом идеи преображения жизни на началах православия, он пророк православной культуры... Гоголь занят 'общим делом', проблемой оздоровления самых основ исторической жизни, проблемой праведного хозяйства... Он касается здесь самой основной и глубокой темы христианства»... Гоголь «смело и не боясь осуждения, поднял вопрос о путях культурного и идейного творчества в духе Церкви». Он является «зачинателем» всей русской религиозной мысли и литературы. Гоголь хотел восстановить центральное положение Церкви в мире и культуре. Если он «не сумел развить этих идей (о торжестве Православия) во всей соответственной глубине и полноте, то все же он открыл для них путь». Служение Гоголя имело «теургический смысл». Гоголь был гениальным мыслителем. Он был «богаче Пушкина в смысле восприятия бытия», духовно глубже и прозорливее «чем Пушкин»... В последние 15 лет жизни Гоголь хотел стать великим реформатором России. Его реформаторские планы были тем более реалистичны, что они были основаны на его личном опыте. Гоголь бывал «близок

---

* Проф. прот. В. Зеньковский. «Н. В. Гоголь». Париж. 1961.

к экстазу» и «горел духом». В нем было такое стремление наставлять ближних ради их спасения, что, может быть, Гоголю «следовало бы стать священником».

И вместе с тем о. В. Зеньковский признает, что Гоголь «всегда оставался во власти своих переживаний... у него не хватало той духовной трезвости, которую он сам же воспевал». Он «оставался во власти своих страстных увлечений». У него не было ни «внутренней простоты, ни внутренней свободы». Из школы Гоголь вынес только «верхоглядство». Он никогда не мог справиться с «критикой секулярного мировоззрения». Он даже «вовсе не тяготел к богословскому содержанию христианства», ни к богослужению,[1] ни к храмовому искусству. По религиозному типу он был близок протестантизму.

Гоголь умер, сжегши свои рукописи. Последнее событие о. В. Зеньковский объясняет «нервно-психической депрессией», «упадком сил»; «путь искусства» оказался мало подходящим для реформаторства, будучи «религиозно расплывчатым, если угодно, даже двусмысленным». Гоголь встал перед «искушением отойти от искусства и прямым для этого путем было уничтожение рукописи», которое, впрочем, уже давно сделалось навязчивой идеей писателя.

Сопоставляя эти мысли о. В. Зеньковского о Гоголе я прихожу к некоторому недоумению. Гоголь был «гениальным христианским мыслителем», разрабатывал «богословие культуры» и вместе с тем совершенно не интересовался богословием. Гоголь «апостол и пророк Православия», но вся деятельность его кончается бессилием, катастрофой, уничтожением своих творений и смертью, к которой Гоголь в последние дни сознательно стремился. Гоголь проявляет по мнению о. В. Зеньковского «гениальную чуткость, ставя в центре всех своих идейных исканий проблему праведного хозяйства», но приходит только к «надуманной утопии».[2]

Внутренняя жизнь Гоголя была сплошной напряженной, «надрывной» драмой. Сам о. В. Зеньковский признает, что

---

[1] Мне кажется, у Гоголя был интерес к богослужению: иначе, почему бы он написал книгу о литургии (которую, кстати, тоже почему-то сжег) и постоянно посещал богослужения?

[2] Хозяйственная проблема вряд ли была для Гоголя центральной (хотя и очень важной): такой проблемой скорее было для него служение всех Богу, Церкви и государству в христианском духе.

Гоголь не обладал ни самообладанием, ни духовной трезвостью, ни душевным миром, ни внутренней простотой или свободой, был подвержен меланхолии, нервным кризисам, упадку сил. Каким же образом из такого «опыта самоустроения» мог родиться «трезвый реализм» в реформаторских идеях Гоголя? Можно ли быть уверенным, что самые высшие религиозные переживания Гоголя были вполне трезвыми? Трудно сказать, мог ли бы Гоголь стать хорошим священником, но проповедническая его деятельность в письмах — по меньшей мере в половине их содержания — не только не «назидает», но воспринимается с мучительным недоумением, если не с возмущением.

Влияние Гоголя-мыслителя на русскую религиозную мысль XIX-го века мне представляется в высшей степени сомнительным. Отец В. Зеньковский не приводит доказательств такого влияния.

Если Гоголь-мыслитель был бы действительно «апостолом и пророком» Православия и, вообще, христианской жизни и культуры, то Православие и дело христианства в мире могли бы только пострадать от такого апостольства и пророчества. Вокруг идей Гоголя сразу же возник соблазн. Представления Гоголя о Боге нам в сущности неизвестны, за исключением идеи Провидения, в которой Гоголь склонялся к религиозному фатализму (все к лучшему). Отец В. Зеньковский не придает этой идее Гоголя большого значения. Гоголь прекрасно пишет о всеобщем братстве и любви, о всеобщей взаимной вине и ответственности. Он искренно преклоняется перед Церковью и призывает всех искать в Церкви идеал и силу жизни. Автор прав, видя в этом заслугу Гоголя. Но коль скоро Гоголь переходит от общей идеи братства и любви к конкретным вопросам нравственной и общественной жизни, он большей частью впадает в такой крайний и очевидный морализм, который делает его проповедь соблазнительной и чуждой духу христианства. Отец В. Зеньковский, к сожалению, едва только упоминает о морализме Гоголя, вероятно, или не замечая его или не считая его опасным. Вместе с тем, есть чрезвычайно существенное различие между подлинной христианской нравственностью и морализмом. Последний, во-первых, игнорирует свободу, и потому, как то и делает Гоголь в своих письмах, всеми способами навязывает мораль, не брезгая и самыми грубыми средствами (Гоголь, например, советует публично поносить и унижать порочных людей!). Во-вторых, морализм, сосредотачивается на поведении, а не

на внутренней жизни человека, почему неизбежно впадает в дух законничества и опасность фарисейства; морализм Гоголя постоянно доходит до таких мелочей и такой регламентации жизни, что в лучшем случае можно только улыбаться. В-третьих, морализм считает, что мораль может заменить все остальные начала жизни; это признает у Гоголя и о. В. Зеньковский, но, как мне кажется, не дооценивает опасность такой установки. Самое странное, что о. В. Зеньковский как будто не замечает, что морализм исключает богословие культуры, и что, в частности, именно морализм убил у Гоголя идею «праведного хозяйства», в которой Гоголь дошел до настоящего фарисейства.[3] К счастью, у Гоголя на всю жизнь сохранилась вера в искусство; идеи Гоголя об искусстве (и именно с христианской и идеалистической точки зрения!) подлинно прекрасны; неудача второго тома «Мертвых Душ», хотя и должна быть объяснена, не компрометирует теоретических воззрений Гоголя. Отец В. Зеньковский не дает, к сожалению, систематического изложения гоголевской теории искусства. Зато он приписывает ему «эстетическую антропологию» и «эстетический аморализм», которые, по моему, трудно у Гоголя обнаружить. Скорее уж можно было бы говорить об «идеалистической антропологии». Аморализм эстетики усматривается о. В. Зеньковским в истории Вакулы («Ночь перед Рождеством»), Андрия («Тарас Бульба») и Пискарева («Невский Проспект»); все они оказались жертвами женской красоты: первые два готовы были от всего отречься ради своих возлюбленных; Пискарев же не мог примириться с развратом прекрасной девушки. Но Вакула и Андрий были соблазнены не красотой, как таковой, но женщинами, в которых они были страстно влюблены. В истории Пискарева прекрасная наружность незнакомки побуждает Пискарева создать в своем воображении идеальный ее образ, противоположный ее действительному характеру. Следовательно в этом рассказе не красота аморальна, а прекрасная мечта сталкивается с уродливой действительностью. Красота не противоположна добру, но внешнее и чувственное может быть противно духовному, как идеальное — земной действительности. Гоголь с его несокрушимой верой в божественную силу красоты и святость искусства, которую он сохранил до смерти, представлял в данном случае истинную традицию христианства.

---

[3] См., например, «Русский Помещик» в «Переписке» или письмо к сестре, Ольге, от мая 1846 г.

Добро, истина и красота нераздельны. Аморализм красоты — нехристианская идея. В России она появилась с Леонтьевым, Соловьевым и символистами. Она совершенно чужда и классической литературе и богословию.

В Гоголе, как человеке, о. В. Зеньковский находит главным образом черты цельности, религиозной глубины и пророческого вдохновения, хотя и не закрывает глаз на все те внутренние страдания и конфликты, через которые прошел Гоголь. По мнению о. В. Зеньковского в первые годы жизни Гоголь был руководим эстетическими идеалами, после же кризиса, связанного с «Ревизором», всецело отдался религиозно-нравственной жизни. Конечную драму Гоголя отец В. Зеньковский не столько объясняет, сколько описывает и при том довольно кратко. Отношение Гоголя к родным, к друзьям и к России он склонен идеализировать. На самом же деле оно бывало часто отравляемо тем эгоцентризмом и морализмом, которые, вообще, сыграли роковую роль в жизни и творчестве Гоголя.[4]

От. В. Зеньковский отмечает стремление Гоголя к оригинальности и самобытности; отмечает так же его неуравновешенность, замкнутость, странности. Но, мне кажется, что трудно понять психологию Гоголя, если не обратить внимание на его крайний эгоцентризм. С юности Гоголь был сосредоточен в себе. У него было постоянное стремление к бегству от действительности и от окружающей его среды. Внешне это выражалось в его болезненной страсти к перемене мест, в его не менее болезненном отталкивании от русской действительности, в страстном стремлении к сохранению своей свободы от всех и от всего; в отвращении ко всяким обязательствам, обещаниям и связям. Внутренне Гоголь по существу интересовался только своим душевным и физическим состоянием, о котором он неизменно пишет в каждом своем письме, и своим духовным миром, в котором он отводил место Богу, Церкви, некой «идеальной России» как он ее своеобразно понимал,

---

[4] Напр., Гоголь был долго в наилучших отношениях со своей старшей сестрой и подарил ей даже 500 руб. на свадьбу. Но потом довел ее до ропота своими фарисейскими наставлениями (см. письма к матери от II — 1838 и XII — 1841). Узнав об ее ропоте, Гоголь прекратил навсегда ей писать, когда же она умерла, он в в чрезвычайно длинном письме матери уделил смерти сестры несколько холодных строк и поручил ее душу небесному заступлению покойной сестры имп. Николая I-го!

и тем близким, на которых он хотел иметь религиозно-нравственное влияние. Главное же Гоголь жил созданными им самим планами преображения России и всего русского общества силою его вдохновенного слова!... В своем эгоцентрическом отчуждении от действительности Гоголь не мог знать ни действительной России, ни людей, на что он сам постоянно жаловался. Он приписывал себе глубокое знание человеческой души, но почерпал он его главным образом из назидательной литературы и личного опыта. От Церкви он взял конечный идеал всеобщего братства во Христе, из традиции христианского гуманизма — свои прекрасные взгляды на искусство; моралистические утопии и рецепты благонравия родились, очевидно, из его собственного самосознания, и никакая критика не могла заставить Гоголя пересмотреть эти его взгляды. Катастрофический опыт с «Избранными местами из переписки» ни мало не помог ему. Через пять лет после «Переписки» он не пересмотрел своего «дела», но просто осудил его, обрек его на уничтожение, а себя на смерть.

Не менее пагубен для Гоголя, я думаю, был его своеобразный «фатализм»: всякий совершившийся факт был для него «ко благу» и происходил в конце концов от Бога. Весь путь своей жизни он считал провиденциально оправданным; свое проповедническое служение он считал внушенным Богом, т. к. по его мнению всё, что вдохновлено добрыми намерениями, непременно происходит от Бога. Так же и все устроение России и даже отделение Западной Церкви от Православной он считал провиденциальными. Каждый поставлен Богом на своем месте, а цари суть посредники между Богом и народами. Гоголь слишком легко «абсолютизировал» и возводил к Богу то, что на самом деле зависело от него самого или от людей и истории.

Эгоцентризм и провиденциализм Гоголя имели большое значение в укреплении его морализма. Поскольку проповедь своих идей он считал провиденциальной, он считал себя в праве всем их навязывать. По той же причине он считал священным всё, что он одобрял в русской жизни или в своих советах соотечественникам, хотя бы дело шло о самом сомнительном (крепостное право) или о самом мелочном («кучки денег» в «Чем может быть жена для мужа», в «Переписке»). Сам будучи сосредоточен в последние пятнадцать лет своей жизни исключительно на религии, морали и искусстве, Гоголь считал себя вправе игнорировать остальные области жизни, как будто бы неважные и даже вредные (напр. светское про-

свещение, государственные реформы, всю современную ему жизнь и даже богословие).

Гоголь был гениальным писателем, вдохновленным высокими идеалами христианского идеализма. Все художественные произведения его были сразу прославлены и никогда никем не оспаривались. Гоголь правильно понял высочайшие идеалы христианства; ошибкой его было ложное понимание Провидения (т. е. игнорирование свободы и «человеческого фактора» в жизни и истории) и самоуверенный эгоцентризм. Христианство в жизни совпало для него с морализмом, который фактически и погубил Гоголя и его дело. Художественный талант Гоголя никогда не ослабевал: художественно воплотить такие типы, как Костанжогло, или сделать их убедительными идейно было одинаково объективно невозможно. Гоголь, тем не менее, старался это сделать в течение десяти лет, несмотря на сожжение «Мертвых Душ» в 1845 г. и полный провал «Переписки». Когда же он признал себя побежденным и уничтожил свое творение, которое никакое чудо не могло сделать удачным, он очевидно решил, что вся жизнь его более ненужна и Провидению угодно, чтобы он умер. Костанжоглы не только погубили Гоголя, но они испортили и все его христианское мировоззрение. Поэтому мне кажется трудным признать в Гоголе «апостола и пророка Православия», как это делает о. В. Зеньковский. Православие не есть ни морализм, ни романтизм, ни «священный застой». Добрые намерения Гоголя бесспорны, но великое дело его заключается не в его идейной и нравственной проповеди, а в художественных творениях и в его понимании искусства.

Проф. С. С. Верховской

ИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

В этом году в Европе всюду, где я побывал до приезда в Париж — в Италии, Швейцарии, Германии — весь октябрь стояла чудесная погода. Даже в Мюнхене, который славится скверным климатом, за две недели, что я там провел, было всего два ненастных дня. Узнав от шофера, везшего меня из Орли в парижский отель, что и в Париже погода была на редкость хорошая, я пошутил, что это, может быть, из-за атомных взрывов, действия которых ведь никто точно не знает. Шофер ответил: «И лучше не знать. Спокойнее». Я думаю, что эта краткая реплика хорошо передает распространенное, вероятно, даже господствующее в Европе настроение — по крайней мере в странах, где я бывал за последние годы. Лучше не знать, не думать о возможных опасностях. Тем более, что беспокойством ничему не поможешь. Таково, по крайней мере, мое впечатление.

Я не говорю о впечатлении от одной поездки, которая на этот раз (в сентябре-октябре 1961) была не особенно плодотворной. Она продолжалась шесть недель. Это, конечно, слишком мало, тем более, что я побывал в четырех странах. И я бы не рискнул писать о своих впечатлениях на основании только этой одной поездки. Но это была уже четвертая поездка, начиная с 1955 года, и я могу более или менее уверенно говорить о том, что подтверждалось каждой поездкой, не смотря на существенные различия в политической обстановке. Когда я для простоты говорю о «европейцах», я имею в виду французов, немцев и итальянцев — в Англии я провел три года тому назад только одну неделю и только в Лондоне, а в Швейцарии я только отдыхал. С этой оговоркой я могу сказать, что европейцы в массе своей теперь почти аполитичны. Во Франции, в Италии, в Германии, всюду, где я был, я часто слышал одну и ту же фразу: «политикой никто не интересуется». В такой абсолютной форме это, конечно, преувеличено, но это правильно для очень широких слоев населения, даже для его подавляющего большинства. В той Европе, которую я в какой-то мере знаю, царит поразительная апатия — хотя, может быть, и не такая уж удручающая, как

это воспринимается по первому впечатлению, и во всяком случае, более понятная и даже, если угодно, более естественная, чем это кажется на первый взгляд. Тем не менее начну с первых впечатлений.

После войны я впервые приехал в Европу летом 1955 года — 14 лет после того, как ее покинул. Ехал на пароходе до Шербурга и, только переночевав в Париже, проехал через Францию в Германию, где не был с 1933 года, но до того жил 11 лет. Во французском поезде всё казалось таким же, как прежде. Но с того момента, как я очутился в немецком поезде, у меня было чувство, что я попал в совершенно чужую страну, тогда как во французском поезде я, наоборот, чувствовал себя «дома», словно попав в ту же Францию, какой я ее знал до войны (что далеко не во всех отношениях было верно). В немецком поезде всё было так чуждо, что я даже не сразу перешел на немецкий язык, а сначала говорил по-французски, пока не сообразил, что с немецкими чиновниками проще объясняться по-немецки. Кстати, совершенно то же рассказывал мне о своем приезде в Германию после войны покойный В. С. Войтинский, которому, по его словам, за всё время его пребывания в Германии приходилось делать над собой усилие, чтобы говорить по-немецки. Замечу еще, что, когда я встречался с немцами в Америке, для меня было естественно переходить на немецкий язык, который я нисколько не забыл. Но тут в момент переезда из Франции в Германию было совсем иначе, словно я попал в совершенно незнакомую мне атмосферу, где и говорить нужно было как-то иначе. Между тем, вокруг были немцы по внешности такие же, какими они были раньше. Но в поезде царило молчание. Я прошел через все вагоны и видел очень мало людей, разговаривавших между собой. А когда-то и в немецких поездах разговоры между попутчиками завязывались очень легко. Но я думал, что в этой стране у людей — за исключением совсем молодых — было достаточно оснований стать замкнутыми. Действительно удивило меня то, что я не увидал ни одного человека, читающего газету или еженедельный журнал. Вообще что-то читали только очень немногие. Почти все пассажиры и не разговаривали и не читали. Еще больше меня поразило, что на всем пути от границы до Мюнхена, куда я ехал, я ни на одной станции не мог купить газет. На вокзалах, куда идти не было времени, газеты, конечно, были, но к поезду газетчики нигде не выходили, очевидно, зная, что не найдут покупателей... И приблизительно та же

картина повторялась каждый раз, когда я ехал по Германии в поезде.

Первые впечатления подтвердились. Я читал, что тиражи газет сильно сократились и продолжали сокращаться (не знаю, однако, как было в последующие годы). Мне объясняли, что большинство немцев довольствуются тем, что слышат по радио. И вообще, замечал тот или иной собеседник, «политикой никто не интересуется». В трех городах — Мюнхене, Берлине и Бонне — я ходил по книжным магазинам и тщетно искал книг по проблемам современности. Неужели же в самом деле «ничем не интересуются»? Кроме, конечно, материальных условий существования.

В Берлине я был в дни, которые были посвящены воспоминанию о восстании в Восточной Германии в 53 году. Там все кипело, царило боевое настроение. Я видел огромные демонстрации, слышал страстные речи. Берлин не может отвернуться от политики. Разорванный на две части, он не может не жаждать восстановления единой Германии с Берлином, снова ставшим ее столицей. И гости из Бонна — больше ста депутатов Бундестага — говорят то, что берлинцы хотят слышать, — о своей верности идее объединения Германии, своей готовности идти ради Берлина на все жертвы. Берлинцам это приятно, но верят ли они этим своим гостям? В Берлине я встретил старых друзей и знакомых. Не могу поручиться, что все, но по крайней мере некоторые из них, высказывали свое раздражение по адресу их соотечественников в Западной Германии, которые и о Берлине и о воссоединении обеих частей Германии вспоминают лишь по случаю каких-нибудь торжеств. Насколько основательны были эти жалобы? Тогда же в Берлине я говорил с неберлинцем, много разъезжавшим по Западной Германии. На мой вопрос, как население относится к вопросу о воссоединении, он ответил одним словом: безразлично — «индифферентно». И чем дальше, тем больше я в этом убеждался.

И тем не менее, вопрос о воссоединении играл и играет очень большую роль, как будто даже доминирующую роль в западногерманской политике — политике, которой, однако, по ходячему выражению, «никто не интересуется». Это — парадокс, над которым нельзя не задуматься. Тем более, что в той или иной мере такой же парадокс наблюдается и в других европейских странах. С каждой новой поездкой в Европу я чувствовал это все определеннее. И как ни ограничен был круг моих непосредственных наблюдений, я неиз-

менно находил подтверждение в разговорах с постоянными жителями каждой страны. В 1958 году, я впервые после войны приехал в Рим во время очередного правительственного кризиса (в этом отношении политическое развитие в современной Италии не очень отличается от развития во французской Четвертой республике). Я приехал, точнее, прилетел — рано утром. Конечно купил утренние газеты. По ним можно было получить впечатление, что страна находится в напряженном ожидании, как закончится кризис, какое будет новое правительство, образования которого ждали с часа на час. В Риме перед вокзалом — целый ряд кафе. Я сидел в одном из них, когда появились газетчики со свежим выпуском газет, возвещавших об образовании нового правительства, но это ни на кого не произвело впечатления. Насколько я мог видеть, из по меньшей мере сотни посетителей этих кафе, ни один не купил газеты. Когда я потом рассказывал моим итальянским знакомым об этом равнодушии, они относились к этому как к совершенно нормальному явлению. Та же фраза «политикой никто не интересуется» и объяснение, что одно правительство похоже на другое, и от того, что новое правительство будет немного правее или левее, ничего не изменится. Пользуясь вошедшим в употребление во Франции выражением, в Италии царит политический «иммобилизм» (можно перевести «неподвижность»), как он царил и во Франции при Четвертой республике. И там и тут наличие больших коммунистических партий делало (и в Италии делает) невозможным образование прочных правительств, способных к проведению серьезных реформ. Это способствует распространению политической апатии, но целиком ее не объясняет. К тому же она не менее характерна для Западной Германии, где коммунистической партии нет и где до последних выборов имелось прочное парламентское большинство. Но прежде чем остановиться на том, в чем я после четырех поездок в Европу вижу более глубокие корни этой апатии, нужно еще к германским и итальянским добавить и французские впечатления.

В 1955 году я сначала только проехал через Францию а затем приехал в нее из Германии. Контрасты воспринимаются быстрее, чем сходные явления, и во Франции я прежде всего увидел разительный контраст по сравнению с Германией — контраст между интенсивной интеллектуальной жизнью во Франции и интеллектуальным застоем в Германии. Таково, по крайней мере, было впечатление от книжных магазинов. В Германии я тщетно искал книг, которые возбудили бы во

мне интерес. Обычно мне трудно уйти из книжного магазина, не соблазнившись и не купив хотя бы одной книги. В немецких книжных магазинах я не находил ничего. Спрашивал знакомых и неизменно получал ответ, что ничего интересного нет — ни в области общественных наук, проблем современности, ни в какой-либо отрасли философии, ни в художественной литературе. В парижских книжных магазинах глаза разбегались, трудно было себя сдерживать и ограничивать, считаясь с финансовыми возможностями и вместимостью чемоданов. Было очевидно, что, по крайней мере, какой-то слой населения живет интенсивной интеллектуальной жизнью и, судя по выходящим книгам, отнюдь не лишен интереса к политическим проблемам. Но затем мне пришлось убедиться в том, что преобладающим настроением и во Франции является та же политическая апатия. И здесь я слышал, что «политикой никто не интересуется» — никто, кроме сравнительно узкого круга интеллигенции да, как и всюду, профессиональных политиков и политических журналистов. А между тем назревали большие события, уже более полугода, как началась алжирская война... И только за год до моего приезда кончилась катастрофой война в Индокитае. Как мне говорили знакомые французы, именно в 1954-м году был период в несколько месяцев, когда страна на время вышла из политической апатии под влиянием динамической политики Мандес-Франса. После того, как Мандес-Франс перестал быть премьер-министром, возвратились и иммобилизм правительственной политики и политическая апатия населения. И эта апатия остается преобладающим настроением, несмотря на все бурные, даже трагические события последних лет. Так же, как и берлинский кризис не оказался достаточной встряской, чтобы пробудить политический интерес в широких кругах населения Западной Германии. «В столицах шум, гремят витии, кипит словесная война»... Но что же происходит «во глубине»?

Как я уже упоминал, мои первые впечатления подтверждались впечатлениями следующих поездок. Добавлю, что в некоторых отношениях не только подтверждались, но и усиливались. Конечно, чувствовались и перемены, в особенности во Франции, о чем я еще буду говорить. Доминирующее впечатление оставалось тем же. А усиливалось в частности впечатление контраста между политической пассивностью и экономической активностью. В Европе последние годы это годы экономического процветания — как часто говорят и пишут, «небывалого», что правильно, однако, не для всех европей-

ских стран. Но во всяком случае верно, что промышленность работает полным ходом, безработицы фактически нет (за исключением находящейся в особом и подлинно трагическом положении южной Италии). В Германии острый недостаток рабочих рук. В прошлом году я в двух хороших отелях оставался без горячей воды, так как теперь трудно найти рабочих для починок. Приходится ввозить рабочих из других стран, где нет такой полной занятости — из Италии, Испании, Греции, арабских стран. Таких импортированных рабочих в Западной Германии уже больше полумиллиона, и это несмотря на постоянный приток из Восточной Германии, прекратившийся лишь в августе 1961 года. В Швейцарии, имеющей несколько больше пяти с четвертью миллионов населения, в августе 1961 года было 550 тысяч иностранных рабочих, на 29 процентов больше, чем в августе же предыдущего года. Зачем же, можно спросить, при таком экономическом благополучии интересоваться политикой, если и при политической неподвижности жизнь становится лучше? Так вопрос часто и ставится, но меня такое объяснение политической апатии не удовлетворяет. Оно по меньшей мере односторонне и во всяком случае не идет достаточно далеко.

Материализм (конечно, практический, а не философский) ярче всего выражен в Западной Германии, где забота о материальных благах вытесняет у подавляющего большинства другие интересы. Но этот «материализм» существовал и до наступления экономического процветания. На это можно ответить, что тогда над всем доминировало желание выйти из нужды, в которой население оказалось после войны. Это верно, и тут мы уже ближе к более глубокому объяснению — и не только немецкого материализма. Конечно, было максимально напряженное желание выйти из нужды, грозившей полным истощением и сокращением жизни, создававшей мучительную проблему, как прокормить, уберечь от болезней и вырастить детей. Но ведь были и другие угрозы для жизни. За исключением Швейцарии, я посещал страны, где была война, сеявшая смерть не только на фронтах сражений, но и среди не сражавшегося населения, уничтожая не только боеспособных мужчин, но и женщин и детей. Для множества людей в этих странах жизнь сводилась к тому, как выжить. Теперь они хотят жить. Хотят жить, чувствуя себя людьми, а не агнцами, обреченными на заклание. И если перспектива вновь оказаться такими агнцами существует, то лучше ее не видеть. «Лучше не знать. Спокойней», как ска-

зал парижский шофер. Это не значит, что жизнь стала безмятежной и все — во Франции, в Западной Германии, в Италии — довольны тем, как они живут. В особенности в Германии я несколько раз от людей весьма различного положения слышал выражение тревоги, неуверенности в том, что теперешнее благополучие удержится. Выражалась боязнь, что за высокой конъюнктурой может последовать кризис и что тогда? Об этом говорили по-разному, но часто с большой тревогой. «Будет что-то дикое», сказал один видный журналист. «Если снова будет безработица, — говорил один мой старый знакомый (ярый антикоммунист), — то притягательность коммунистических стран усилится». Иначе видел следствия возможной безработицы молодой железнодорожный чиновник в разговоре с другим, пожилым. Они сходились на том, что в общем все хорошо. «Но, спросил молодой, ты не думаешь, что если опять будет безработица, то люди опять побегут за каким-нибудь Адольфом?» — «Ну, это само собой разумеется». Но это скорее всего преувеличенные тревоги людей, до сих пор запуганных недавним прошлым. Особенно неубедительно звучали для меня опасения, что немцы могут броситься в объятия коммунизма.

Нет недостатка и в недовольных — в особенности среди рабочих и служащих, чувствующих себя обделенными из-за неравенства в распределении народного дохода. Жизнь дорожает. Цены чувствительно подымаются, в особенности на продовольствие. Но этого недостаточно, чтобы политизировать население. Только, чтобы не было никаких потрясений, чтобы жить было спокойнее. Главным козырем Аденауэра является его выраженная в двух словах программа: никаких экспериментов. И вторая по величине социал-демократическая партия изменила свою программу приблизительно в том же направлении.

И так же мало политических реакций по отношению к внешней политике. Это — явление не только западногерманское, но общеевропейское. В этой области европейцы больше всего чувствуют себя не участниками, а объектами политики. Чувствуют себя бессильными и беспомощными перед лицом состязания двух гигантов — США и Советского Союза. «В столицах шум» — и больше всего в американской столице. В каждой стране имеется «политический класс», активно занимающийся политикой и старающийся оказать влияние на ход международной политики. Это делают правительства, об этом время от времени говорят в парламентах. Каж-

дое правительство заверяет о своей готовности выполнить «союзные обязательства». Парламенты подтверждают решимость правительств. Но в какой мере это выражает настроение широких слоев населения? Народ безмолвствует, и о том, что он думает, нельзя судить по очень редким высказываниям, которые удается слышать. Но все же я не могу считать случайным, что ни в Италии, ни в Западной Германии, ни во Франции, прислушиваясь к разговорам около меня, я ни разу не слышал слова «Берлин». Если бы я мог положиться на свою интуицию или на ощущение атмосферы, я бы сказал, что господствующим настроением является нейтрализм весьма аполитического характера. И этот разрыв между народным представительством и им представляемым народом наводит на очень тревожные мысли о современной демократии. Но это очень большая тема, которую нельзя развивать мимоходом.

Люди хотят жить и жить возможно спокойнее. Сейчас им это удается — даже во Франции, хотя в ней в меньшей степени, чем в Италии и Западной Германии. В последний раз в Париже мне вспомнился знаменитый эпизод, когда в зал заседаний Палаты депутатов была брошена бомба. Среди депутатов это, конечно, вызвало панику, но председатель призвал их к порядку: «Господа, заседание продолжается». Теперь каждый день взрываются бомбы, каждый день тем или иным способом убивают людей, со дня на день можно ожидать вооруженного бунта, но — жизнь продолжается и для большинства населения так мирно и спокойно, как будто вообще не о чем волноваться. Это еще гораздо более разительно, чем в Италии или в Западной Германии, где по крайней мере внешне царит полный порядок, никто не бросает бомб, и не грозят никакие «путчи». А во Франции: семь лет алжирской войны, переворот, приведший к власти де Голля... Но не буду пересказывать французскую историю за последние годы. Основные факты читателям, конечно, известны. И тот, кто приезжает во Францию, зная эти факты, естественно ожидает увидеть страну в крайнем волнении, людей с перенапряженными нервами и, если не в отчаянии, то в непрерывной тревоге. Но ничего этого нет. Даже политически активные люди совершенно спокойно говорят вам о безысходности положения, об опасности фашистского восстания. Ну, а люди, которых вы видите в кафе и ресторанах или наблюдаете в метро, говорят о совсем другом, о чем угодно, только не о политике. Ваши французские знакомые и на этот раз говорят вам, что «политикой никто не интересуется».

Нет сомнения, что подавляющее большинство французов в самой Франции хотят прекращения алжирской войны путем сговора с алжирскими революционерами и примирились с неизбежностью алжирской независимости. Но из этого еще не возникло действительно внушительное движение за мир. Правительство, несомненно, не имеет за собой не только большинства, но и сколько-нибудь значительного меньшинства населения. Оно даже не в состоянии управлять собственным административным аппаратом. Часть полиции и офицерского состава армии не выполняют приказов, не борются против вооруженной фашистской организации (ОСА), а ей помогают. Существует подозрение, что в самом правительстве имеются министры, сочувствующие этой организации и среди них называют премьер-министра Дебрэ.

Опять-таки политически активные люди и не только из «левых», но и умеренные демократы скажут вам, что это совершенно невозможное правительство, но они не знают, каким же правительством его можно заменить. Судьба правительства зависит от де Голля, и Дебрэ не уйдет, пока этого не захочет де Голль, чего, повидимому, пока ожидать нельзя. Свергнуть де Голля? Но что тогда? Ведь это будет скачок в неизвестное и еще более опасное положение. И если политические деятели, ломая себе голову, тщетно ищут выхода, то рядовые французы, которых вы всюду встречаете, предпочитают не ломать головы, а просто не думать ни о каких политических перспективах. Популярность де Голля упала. И тем не менее все убеждены, что если де Голль еще раз прибегнет к плебисциту, он получит очень значительное большинство. Потому что: а что после де Голля?

На том фоне, который я старался воспроизвести, выделяются, однако, некоторые явления другого характера. Политическая апатия есть преобладающее, но не всеобщее явление. У значительной части армии, то есть ее кадров, имеется политическая страстность, направленная против де Голля, который в течение трех лет своими противоречивыми заявлениями вводил армию (в только что указанном смысле) в заблуждение. Многие офицеры говорят о де Голле буквально с ненавистью. Еще в Нью-Йорке один французский офицер резерва (случайный сосед в ресторане) сказал мне: «Могу поручиться, что де Голль естественной смертью не умрет». Чрезвычайно политически активны фашистские элементы, несомненно готовящие захват власти и громогласно это возвещающие. Но проявления активности существуют и на другой стороне. Однако

не у коммунистов, которые отличаются сдержанностью и даже робостью. В попытках создать движение за окончание алжирской войны «миром по соглашению» инициатива принадлежит национальной организации студенчества, а к ней постепенно примыкают и члены профсоюзов всех направлений. И вообще в профсоюзах наблюдается рост политической активности. Это по крайней мере начало.

Пока что всё это относится к не очень значительному меньшинству и происходит на фоне господствующего безразличия. Но нужно указать еще на один процесс, который можно назвать пробуждением совести, выражающимся в усилении реакции на те жестокости и зверские убийства, которые в течение ряда лет происходили в Алжире, а за последние годы распространились и на европейскую Францию. Как мне говорил знакомый француз, одним из первых поднявший голос против пыток, сначала не было почти никакого отклика, потому что французы этому просто не верили. Но и после того, как факты стали несомненны и общеизвестны, реакция на них некоторое время была слабая и лишь постепенно стала вызывать у более широкого круга французов чувство стыда. Я приехал в Париж в конце октября, через несколько дней после брутальной расправы полиции с демонстрацией алжирцев, протестовавших против запрета выходить из дому после 7 часов вечера. Жестокость расправы имела действие сильной встряски. Поднялась волна протестов. Я читал, как даже политик очень правого толка, в сущности фашист, возмущался тем, что полиция проявила в своем поведении «расизм», и что это позор для Франции. Вечером, вернее, уже ночью накануне моего отъезда, я был на бульваре Сэн Мишель. Многочисленные кафе были переполнены, главным образом молодежью и в значительной части «цветной». Вместо расизма полное смешение рас. Я чувствовал, что тут опять та Франция, которую я так люблю. И это была молодежь, о которой уже никак нельзя сказать, что она не интересуется политикой. Я тщетно искал свободного столика в большом кафе. Группа студентов — негров с Мартиники, предложила мне к ним подсесть. Узнав, что я из Америки, они заговорили со мной о положении американских негров, не банальными фразами, а ставя серьезные вопросы с пониманием трудности проблемы. Разговор зашел за полночь. Когда я возвращался в отель, метро уже не ходило. Взял такси. Это было накануне 1 ноября — седьмой годовщины алжирской войны. Ожидалось, что будут демонстрации алжирцев. Я спросил об этом шофера, который

ответил, что он этого не думает — в Алжире да, но в Париже вряд ли. И добавил: «Мы возмущались тем, что делали немцы. Потом мы слышали, что подобные вещи творились в Индокитае, но успокаивали себя тем, что туда посылают всякую мразь (иностранный легион, в большинстве состоящий из бывших гитлеровцев). Ну а теперь знаем, что то же делают и самые настоящие французы». В его голосе чувствовались горечь и то, что я назвал пробужденной совестью. Это было мое последнее французское впечатление — не такое безнадежное, как другие. Но и те мои впечатления перестают быть удручающими, когда почувствуешь, как законно желание жить после мучительных лет выживания.

Ю. Денике

БИБЛИОГРАФИЯ

«ТАМАНЬ» *ЛЕРМОНТОВА* и «L'ORCO» *ЖОРЖ ЗАНД.*

Отдыхая осенью в Шотландии, просматривая взятые из Эдинбургской библиотеки старые журналы, я прочел напечатанный в «Revue des deux mondes» рассказ Жорж Занд «L'Orco» и невольно вспомнил «Тамань» — один из самых таинственных и прекрасных рассказов русской литературы. Отложив книгу, я спросил себя — кто на кого повлиял? Когда Лермонтов написал «Тамань»? Чей рассказ опубликован раньше? Посмотрел год издания — «Revue des deux mondes» — том XIII, 1-го марта, 1838 года. Достал однотомник Лермонтова, начал сверять тексты рассказов. Удивление не покидало меня.

У Жорж Занд дело происходит в находящейся под австрийским владычеством Венеции. Заговорщики, мечтая об освобождении родного города, ведут безжалостную борьбу с австрийцами. Отважная венецианская красавица завлекает ночью молодых офицеров в свою гондолу и топит их в море. О ее гондоле в Венеции многие знают, даже австрийские пограничники видели её, но считают лодкой контрабандистов (о контрабандистах Жорж Занд упоминает два раза). Во время ночной прогулки прибывший в венецианский гарнизон молодой австрийский офицер встречает ночную красавицу. Как и девушка в «Тамани» при первой встрече с молодым русским офицером, она поет народную песню, как бы не замечая его.

«...il reconnut des vers patois et un refrain populaire qu'il avait déjà entendu sur les places... il avait retenu ce refrain.»

В «Тамани»: «Вдруг что-то похожее на песню поразило мой слух. Точно, это была песня, и женский свежий голосок... прислушался — напев странный, то протяжный и печальный, то быстрый и живой... Я запомнил эту песню от слова до слова». (Не написал ли Лермонтов эту песню для своего рассказа, использовав фольклор? В ней поется о лодочке — «Моя лодочка неоснащенная». Запомним ее лодку).

После знакомства с офицером венецианка говорит:

— **A demain donc... à onze heures.**

— Нынче ночью, как все уснут... («Тамань»).

— Suivez moi, lui dit-elle («L'Orco»).

— Идите за мной, — сказала она («Тамань»).

У Жорж Занд она руководит, он в ее власти. То же и у Лермонтова. Она ведет его за руку, а он, несмотря на охватившее его недоумение, покорно за ней следует, спускаясь по дикому и опасному обрыву.

Венецианка увлекает офицера в гондолу.

«Elle sauta dans sa gondole... — Où allons-nous? dit-il...»
«Тамань»: «— Взойдем в лодку, — сказала моя спутница. Я колебался — я не охотник до сентиментальных прогулок по морю; но отступать было не время. Она прыгнула в лодку, я за ней, и не успел еще опомниться, как заметил, что мы плывем. — Что это значит, — сказал я сердито».

Кто она? Дочь старухи? Казак это отрицает. Всё происходит на пограничном кордоне. Она коварна, её глаза озарены какой-то магической властью, она то печальна, то весела. В ней много породы (когда Лермонтов говорит о породе, то добавляет, что порода в женщинах — великое дело, это открытие принадлежит юной Франции). Её речи загадочны (но до чего загадочны и речи венецианки). Мы не знаем, как её зовут.

Венецианская обольстительница в маске. Породы у нее больше. У Лермонтова она дика. Героиня Жорж Занд наделена всевозможными положительными качествами, а достоинств у нее так много, что несмотря на многословие Жорж Занд, мы её не видим.

У Лермонтова игра девушки начинается после того, как русский офицер шутя пригрозил ей, что донесет коменданту о деятельности контрабандистов. В лодке на его вопрос — что это значит, она отвечает: «— Это значит... что я тебя люблю». Но это не любовь, а коварство.

У Жорж Занд — страх офицера, его попытка приблизиться к ней и тут как бы начало борьбы. Когда офицер двинулся к ней, она ударила ногой с такой силой, что гондола чуть не перевернулась.

«...elle frappa du pied avec tant de violence, que la barque trembla comme si elle eut voulu chavirer».
Офицер от толчка упал (но не за борт, как другие). (Ср. «Тамань»: «И вдруг сильный толчок едва не сбросил меня в море. Лодка закачалась».) На этот раз не выполнив задания, венецианка не сбросила австрийца в море. Когда он очнулся, любящая, покорная, она лежала у его ног. Многих она топила, на этот раз она полюбила, и борьба кончается для нее неудачей. Не он, а она погибает. Всё, что происходит, фантастично, вплоть до приближения освещенного корабля свободолюбивых венецианцев, на котором поют отходную (в начале

«Тамани» Лермонтов пишет о корабле, на борту которого горит огонь).

До чего изумительна борьба у Лермонтова. Здесь всё сжато, стремительно. Её объятия коварны. Она ловко обезоружила офицера, бросив его пистолет в море. Сверхъестественным усилием повалила его на борт (у Жорж Занд он упал на дно гондолы). У Лермонтова сбросивший девушку в море офицер добирается до берега в лодке. Выплыл и австрийский офицер.

«..En remontant à la surface, il ne vit plus rien, ni la gondole, ni le Bucentaure, ni sa bien-aimée.»
У Лермонтова: «голова её мелькнула раза два среди морской пены и более я ничего не видел». Но девушка не погибла. С утеса офицер обрадованно увидел, что она спаслась.

Даже в детстве я всегда удивлялся тайне, которой овеян лермонтовский рассказ, но особенно меня поражали слова *свободные контрабандисты,* выделенные курсивом. (Думаю, что не только я, читая эти слова задумывался.) Они придавали рассказу еще большее очарование.

Я не знаю, когда и от кого получил Лермонтов мартовскую книжку «Revue des deux mondes». Был ли он в это время еще на Кавказе (пришла ли она из Одессы) или же он прочел «L'Orco» в пути. В начале 1838 года (1-го марта этого года был опубликован рассказ Жорж Занд) он был переведен в Гродненский гусарский полк.

Думаю, что когда он прочел рассказ Жорж Занд, в нем с особой силой раскрылось всё то, что он пережил в Тамани*.

В полном собрании сочинений Лермонтова под редакцией Эйхенбаума (изд. Academia 1935—1937, Москва—Ленинград) сказано: «Лермонтов начал работу над «Героем нашего времени» в 1838 году, а закончил в 1839. «Бэла», «Фаталист», «Тамань» были предварительно напечатаны в «Отечественных записках» в виде отдельных повестей» (стр. 483). В книге «М. Ю. Лермонтов в портретах и документах», составленной Е. А. Ковалевской и В. А. Мануйловым (Ленинград 1959) напечатано: «С начала 1838 года в Петербурге

---

* «В мемуарной литературе, пишет Эйхенбаум, (Полное собрание сочинений М. Ю. Лермонтова, стр. 489) есть указания на то, что описанное в «Тамани» происшествие случилось с самим Лермонтовым во время его пребывания в Тамани у казачки Царицыхи.» Следует ссылка на Цейдлера, товарища Лермонтова, которому суждено было жить в том же домике, где жил и он — «тот же слепой мальчик и загадочный татарин послужили сюжетом к его повести». Интересно отметить, что указаний на приключение в лодке нет.

стал издаваться обновленный журнал «Отечественные записки»... Редкая книжка журнала обходилась без участия Лермонтова... В «Отечественных записках» появились впервые и повести «Бэла», «Тамань» и «Фаталист»...» (стр. 20).

После того, как я прочел «L'Orco», гениальность Лермонтова для меня не померкла. «Тамань» не утратила своей прелести и силы. История мировой литературы полна примеров творческого воздействия одного автора на другого. В заключение мне хочется отметить следующее: если у Лермонтова слова *свободные контрабандисты* выделены курсивом, то курсивом выделены и некоторые слова в рассказе Жорж Занд.

Эдинбург, 3 октября, 1961 г. *Леонид Зуров*

Н. РУТЫЧ. КПСС У ВЛАСТИ. Очерки по истории коммунистической партии 1917—1957. Издательство «Посев», 1960.

Книга Н. Рутыча в своем роде единственная: впервые за пределами России вышел труд, посвященный истории властвования КПСС в нашей стране. Автор несомненно прав — потребность в таком труде назрела уже давно. Но если история КПСС не была написана за рубежом раньше, то, видимо, в силу тех же трудностей, какие должны были тормозить работу и автора отчетной книги: отсутствие нужных документов и исчерпывающих сведений, дающих возможность написать историю КПСС объективно и во всей должной полноте. Автор пользовался лишь материалами имеющимися за рубежом, и надо признать, что, в пределах этой литературы и официальных партийных документов, он достиг совсем не плохих результатов. Читатель, интересующийся историей КПСС, несомненно найдет книгу довольно поучительной и интересной, хотя и не слишком легкой для чтения. Главное, что в сжатой форме она дает в общих чертах представление о деятельности КПСС в течение сорокалетнего периода.

Большой интерес представляет глава четвертая — «Ленин и немецкие деньги». В этой главе автор приводит многочисленные ссылки на документы секретного архива германского министерства иностранных дел, который попал в руки англичан в 1945 году. Эти документы, под редакцией З. Земана, были опубликованы в 1958 году издательством Оксфорд Юниверсити Пресс. Автор довольно подробно развивает эту интересную и чрезвычайно важную тему. Он приходит к верному заключению, что именно поток немецкого золота способствовал быстрому созданию «партии нового типа» и помог Ленину захватить власть над Россией. Автор не приводит точной цифры полученных Лениным немецких денег. Но судя по ряду спра-

вок, разбросанных в тексте, можно заключить, что немецкое правительство дало Ленину свыше 190 миллионов марок.

Добрую половину книги автор посвящает первым пяти годам властвования КПСС. События этого периода освещены довольно полно и подробно. Но отводя остальным 35 годам истории КПСС вторую половину книги, автор допускает ничем неоправданную диспропорцию. Поэтому события с 1923 по 1957 год освещены в общем скупо и недостаточно. Многие интересные детали не находят себе места в книге, а некоторые события едва выходят за рамки простой хронологии. В частности, это относится к такой важной теме, как коллективизация сельского хозяйства, и к такому судьбоносному в жизни КПСС периоду, как период войны 1941—1945 гг. Эти большие темы представлены конспективно, поверхностно, и соответствующие главы не дают читателю ясного представления о весьма разносторонней и крайне напряженной деятельности компартии в эти наиболее для нее критические и трудные годы.

Всё же, несмотря на конспективность, не плохо описаны сталинские чистки. Автор хорошо показал механизм ежовщины, роль Сталина в создании показательных процессов, смысл и значение этих процессов, и проявил при этом, как впрочем и в других местах книги, хорошее знание и понимание функций советских органов безопасности.

Перечень использованной автором литературы говорит о том, что он прошел мимо огромной мемуарной литературы, созданной русскими эмигрантами в двадцатых годах. В его списке нет даже таких капитальных трудов, как «Архив русской революции», «Белое дело» и др. Этот пробел в работе автора сказался некоторыми неверными заключениями. Это, в частности, касается крымского периода Белого движения. Так, например, автор утверждает, что если бы генерал Врангель не потерял в Таврии «свои лучшие кадры», а предпочел бы отсиживаться в Крыму в ожидании тамбовского восстания крестьян и восстания матросов в Кронштадте, то тем самым сложилась бы более выгодная обстановка для борьбы с большевизмом. Но во-первых, никто этих восстаний не мог предвидеть. Во-вторых, экономика маленького Крыма не предоставляла ген. Врангелю возможностей неопределенно долгого сидения. В-третьих, принимая от ген. Деникина армию, Врангель уже не мог рассчитывать на победу над большевиками, а был вынужден думать больше о спасении своих войск от гибели.

Автор заявляет, что он писал книгу как историк. Но на позициях историка ему более или менее удается удерживаться только в начальной и средней частях книги. Чем ближе к концу, тем больше

в книге проявляется политик, а в заключительных главах — и откровенный пропагандист.

Отклоняясь от чисто фактической стороны дела, как раз и являющейся предметом работы историка, в главе 38-ой Н. Рутыч предлагает вниманию читателя экскурс в социологию. Он затевает спор с М. Джиласом на тему о «новом классе»: сложился ли в СССР «новый класс» или только правящий слой. Этот социологический экскурс дает автору повод бездоказательно утверждать следующее: «...большинство интеллигенции, в том числе и партийной, социологически всё больше склоняется в направлении солидаристической реорганизации советского общественного порядка. Как мы увидим ниже, в этом основном течении можно наблюдать ныне две главных тенденции — революционную и реформистскую» (стр. 420).

Ниже, в конце 39-ой главы, автор пишет о разных формах «реформизма» и останавливает внимание читателя на «радикальном реформизме», расшатывающем власть КПСС. Этот «реформизм», по утверждению Н. Рутыча, охватывает как интеллигенцию, так и партийные ряды. По его словам, борьба со сталинизмом «неизбежно ведет на путь глубоких экономических реформ, на путь отказа от коллективизации... на путь создания рабочих советов, на путь либерализации не только внутрипартийного режима, но и положения всего привлекаемого к власти слоя рабочих и интеллигенции» (стр. 433). Далее автор утверждает, что теперь положение в России напоминает 1905 год, когда быстро развивались и крепли революционные организации.

Это утверждение ставит читателя в тупик, ибо читатель не понимает на чем оно основано. Внимательное изучение советской действительности самыми различными наблюдателями как будто не дает никаких оснований для такого «оптимизма», высказываемого Н. Рутычем. Нам думается, что этот «оптимизм» больше похож на миф, очень опасный и дезориентирующий, как общественное мнение русской эмиграции, так и иностранного мира, тем более, что этот миф подан на фоне более или менее объективного изложения истории КПСС, преследующего, на первый взгляд, самые благие намерения.

Б. Прянишников

ЮЛИЙ МАРГОЛИН. *Еврейская Повесть.* Издательство «Мааян», Тель-Авив, 1960.

Изданная в Израиле на русском языке книга Ю. Б. Марголина, автора известного «Путешествия в страну зека», представляет собою биографию уроженца Вильны, Израиля Эпштейна, арестован-

ного в 1946 году в Риме в связи с взрывом здания Британского посольства террористическим отрядом ревизионистской молодежи и погибшего при попытке бегства из итальянской тюрьмы. Почему и как молодой еврей из Вильно попадает в Италию с целью ни более, ни менее, как взорвать здание Британского посольства — обо всей этой фантастической истории и рассказывает автор на 216 страницах хорошо изданной «Еврейской повести», снабженной портретами и иллюстрациями.

Для того, чтобы облегчить читателю понимание этого драматического эпизода и характера его главного героя, автор подробно рассказывает биографию Израиля Эпштейна, его детские и юношеские годы, его вступление в ревизионистскую организацию, его возвышение в этом экстремистском крыле сионизма и наконец его превращение в «гундара Авиэля», одного из деятелей террористической организации в Палестине и за ее пределами. Биография, порой поданная в беллетристической форме, вкраплена автором в рамки эпохи и в обстановку острой общественной борьбы, что придает книге Марголина публицистический характер.

Если бы за формой «Еврейской повести», романсированной биографией, не скрывался политический памфлет, рецензенту нужно было бы говорить о художественных приемах автора и беллетристической или психологической ценности созданного им произведения. В данном случае в этом нет особой нужды, ибо Ю. Б. Марголин откровенно выступает в этой книге, как еврейский политический деятель.

Правоверный сионист, проживающий в Израиле, человек, не принадлежащий ни к одной партии, Ю. Марголин в своих общественных притяжениях и отталкиваниях проявляет уклон в сторону сионистского экстремизма. Стоящий в стороне от внутренней борьбы в еврействе читатель, прочитав его «Еврейскую повесть», легко убедится, что сионизм Марголина особый, не лежащий на столбовой дороге истории палестинофильства или политического, хозяйственного и культурного сионизма конца 19-го и 20-го века.

Автор «Еврейской повести» охватывает в этой книге весьма большой отрезок времени: с 1914 года по 1953 и набрасывает свою схему истории сионизма за четверть века. Однако эта история, на мой взгляд, мало схожа с общеизвестной историей сионизма. Сионизм автора покрывается идеями, отколовшегося от сионистской организации до второй мировой войны направления, известного под именем «ревизионизма», возглавленного Владимиром Жаботинским, а впоследствии поглащенного террористическими отрядами «Иргун Цвей Леуми». Иргун представлял собою заговорщицкую организацию, специализировавшуюся на нападениях на английских солдат и офи-

церов — проводников политики Великобритании, имевшей мандат над Палестиной. Но в «Еврейской повести», как мне кажется, мы находим не столько объективное описание деятельности этого направления, сколько апологетическую его идеализацию и поэтизацию.

Так странно читать у человека, пережившего сталинскую каторгу, о которой он написал страшную и волнующую книгу, — увидевшего изнанку большевистской революции и сумевшего найти надлежащие слова для разоблачения революционного мифа в России, — так психологически непонятно читать у Марголина апологию «революции», апологию «профессиональных революционеров», «вождизма» и «героев», одетых в кожаные куртки и коричневые блузы и, наконец, апологию «партии», при чем эта партия неизменно пишется с большой буквы.

Не говорю уже о поэтизации «легендарного вождя» В. Жаботинского, русского либерального журналиста и переводчика стихов Бялика, поэтизации, принимающей гомерические размеры под пером одаренного автора, особенно там, где автор говорит об «учении» (без ковычек). Жаботинского или связывает его имя с мечтой ревизионистских кружков о «сильном человеке», с «песнями восстания», с присягой «револьверу и библии» и, наконец, с убийствами британских солдат и офицеров, до чего, к счастью, Жаботинский не дожил и за что лично ответственности не несет.

Мне думается, что выступая сейчас в качестве апологета террористических методов иргунистов, автор книги «Еврейская Повесть» только подчеркивает свою изоляцию в современном Израиле и современном сионизме, который, как известно, не шел за ревизионизмом Жаботинского и деятельностью Иргуна.

Григорий Аронсон

О ТВОРЧЕСТВЕ ЧЮРЛИОНИСА

"Lituanus". Lituanian Quarterly. Volume VII. No. 2. 1961.

Этот номер журнала «Литуанус» на английском языке целиком посвящен памяти большого, своеобразного художника и одаренного композитора Михаила Чюрлиониса (он умер пятьдесят лет тому назад). Все статьи, посвященные Чюрлионису указывают на значение его творчества для мировой культуры. Номер открывается отзывом Ромен Роллана (в письме, к С. Кумантайте-Чюрлионите, написанном в 1930 году). Из этого письма мы узнаем, что Ромен Роллан высоко ценил Чюрлиониса за то, что он «необыкновенно расширил известные искусству представления о полифонии и ритме». Роллан называет Чюрлиониса «Христофором Колумбом, открывшем

искусству новые материки». Не менее высоко ценил творчество Чюрлиониса Бернард Беренсон. В письме к эстонскому поэту Алексису Ранниту он писал, что Чюрлиониса «надо понять не только, как мистика и ясновидца, но и как создателя совершенно новых формально-эстетических идей в живописи».

Искусствовед Джордж Ганфман, профессор Харвардского университета и куратор музея Фогга, в своей статье говорит о Чюрлионисе как о художнике, который «убедил нас в существовании новой вселенной». Чюрлионис по мнению Ганфмана должен с полным правом занять почетное место в истории европейской живописи.

Алексис Раннит дал интересную статью — «Чюрлионис, как символист». Статья эта тщательно документирована. Раннит цитирует в ней высказывания Юрия Анненкова, исследование Николая Воробьева и работы других русских искусствоведов и художников. Жаль, что Раннит не остановился на творчестве такого крупного художника-символиста, как Константин Богаевский, одно время шедшего путем, близким к Чюрлионису. Следовало бы упомянуть и художника В. Замирайло, у которого есть некоторое тематическое сходство с Чюрлионисом.

В журнале «Литуанус» опубликован английский перевод, до сих пор не утратившей своей ценности, статьи Вячеслава Иванова «Чюрлионис и проблема синтеза искусств». В свое время эта статья была напечатана в «Аполлоне» (№ 3, 1914), а потом, после исправлений и дополнений, вошла в сборник статей «Борозды и Межи». Прозрения Вячеслава Иванова, который раньше других и глубже других оценил значение творчества Чюрлиониса, выдержали испытание временем и представляют до сих пор большой интерес. Мы должны быть признательны литовским искусствоведам, что они впервые познакомили с этой статьей английского читателя.

В юбилейном номере приведены также выдержки из писем Игоря Стравинского (июль 1961) и известного скульптора Ж. Липшица (датировано 1961 г.). Оба они оценивают творчество Чюрлиониса исключительно высоко.

Я думаю было бы интересно, если бы в «Литуанус» были приведены, хотя бы в отрывках, имевшие прямое отношение к Чюрлионису высказывания Н. А. Бердяева и Святослава Рихтера. Н. А. Бердяев находил общие точки соприкосновения между дерзаниями Чюрлиониса и Скрябина, а Святослав Рихтер увидел в Чюрлионисе не только крупного художника, но и незаурядного композитора. Это видно из того, что он и в Советском Союзе иногда исполняет на бис фортепьянные произведения Чюрлиониса (обычно его прелюды).

Покойный профессор Каунасской консерватории Владас Якубенас

в своей статье, помещенной в этом номере, хочет представить читателю Чюрлиониса, как композитора.

Обзор этого юбилейного номера литовского журнала был бы неполон, если б не выделить опубликованную в нем прекрасную работу Раймонда Пипера, профессора философии Сиракузского университета. Автор «Метафизики человеческой личности», на основе анализа цикла картин Чюрлиониса «Рекс» — дает крайне сжатую но яркую характеристику философских и духовных сторон творчества Чюрлиониса.

Вяч. Завалишин

НИКОЛАЙ ОЦУП. «*Жизнь и смерть*» стихи 1, 2. «Современники», «Литературные очерки». Париж. 1961.

Эмиграция, как известно, не мать, а мачеха своей многострадальной литературы. К Оцупу она была и продолжает оставаться особенно холодной. Ведь это не Гумилев, не Мандельштам. Но чем то привлекают, даже волнуют только что вышедшие в Париже четыре книги. Не глядящим ли с их страниц лицом автора, — на мой взгляд, одним из самых интересных лиц в умственной жизни эмиграции? Не скрою, при чтении я испытал род угрызений совести, какие бывают, когда несправедливо думаешь плохое о человеке. В годы 1920-21 мне довелось видеть Оцупа на каком-то литературном вечере, где стихов не читали, а больше говорили о поэзии. Говорили в те дни, не старые поэты, а молодежь — важно, с видом мэтров. На нас, пятнадцатилетних, это производило невыгодное впечатление. А чистенький, изящный Оцуп, похож был к тому же на маменькина сынка. Известность его в то время вряд ли выходила за пределы Петербурга, да и там ограничивалась набережной Мойки и Университетской линией Васильевского Острова. Знали его, как одного из птенцов «гнезда Гумилева» — самоуверенного, гениальничающего. Таким и остался он в памяти после того, как исчез с петербургского горизонта.

Прошла кошмарная четверть века. И вот в эмиграции снова слышу имя Николая Оцупа. К нему, как к другим знакомым именам, интерес был своеобразный; брало любопытство: что из них вышло здесь, за границей? О некоторых удалось узнать скоро, Оцуп же не поддавался уяснению. Несколько стихов, кой-какие статьи — вот всё, что удалось найти в медвежьих углах моего обитания. Только после смерти Оцупа — эти четыре изящные тома. Раскрыв наудачу один из них, сразу же напал на совершенно покоряющую строчку: «Кто может отнять у нас право непримиримой борьбы за искусство и

культуру, хотя бы мы и принуждены были бороться под знаком гибели?» Ни плоский ум, ни мелкая душа не могли породить таких слов. И еще: «Что труднее и страшнее душевной глубины? Но как же сугубо трудна эта глубина в такое время, как наше!» Есть, по мнению Оцупа, времена отмеченные свыше, на них изливается некая благодать, по каковой причине, чуть не каждый живописец становится Рафаэлем, «стихия делает их великими». И есть эпохи безблагодатные, вроде нашего серебряного века, в котором не меньше подлинных артистов, чем в золотом, но они предоставлены собственным силам, «стихия не помогает им». Наше время не углубляет, а измельчает души.

Достаточно было этих высказываний, чтобы образ претенциозного юноши как рукой сняло. Другое лицо многодумное, со следами большого внутреннего опыта глянуло со страниц посмертного издания. Умудрило его и изгнанничество. Не в сереньком беженском плане пережил он его, а скорей в духе Данте. Нам новым эмигрантам приходится только пожалеть о запоздании и о трудностях с которыми доходит до нас его наследство. Виной тому, отчасти, деликатность самого поэта. Он похож был в этом смысле не на феерического Гумилева, а на самоуглубленного Иннокентия Анненского. Недаром и умер, как Анненский. Душевный мир его настроен на холодноватый, аристократический, но всегда высокий лад. Он чужд всякому грубому слову или движению, способному исказить лицо злобой. Тщетно искать у него личные выпады, намеки на резкость, на грубый полемический тон. И видно, что избегал он этого не потому, что не хотел ссориться с людьми, а по причине органической нелюбви к нарушению гармонии. Между тем, ему приходилось высказывать жестокие истины. Взять, хотя бы, того же Гумилева. Кому, как не ему — личному другу, подобают фимиамы, курения и дифирамбы? Между тем, вряд ли у кого из гумилевского окружения можно найти более трезвый чем у Оцупа взгляд на Гумилева. Далеко не всё вышедшее из под его пера принимается с благоговением. Дружба и почитание не мешают нашему поэту произвести строгий отбор его стихов. Так же трезво судит он о степени его оригинальности, о месте в русской поэзии. Самый акмеизм, как направление, берется под сомнение; его, по словам Оцупа, «придумал Гумилев, перенося в теорию свои собственные склонности».

Тоже о Шкловском. Шумная деятельность главы формалистов не ослепила Оцупа. Он знает цену и ему и всему формализму. Умея отличать таланты Жирмунского, Томашевского, Эйхенбаума, как ученых, от суеты и фальши провозглашенного ими формального метода, он прекрасно понимает, что Шкловский, напротив, никаким ученым не является, что «выдумка» формализма была од-

ним из видов его писательства. Но надобно смотреть с большой высоты на людей и факты, чтобы так хорошо их зная, говорить о них без красного словца со сдержанностью исключительной.

Никто, мне кажется, не взял более верного тона в отношении литератур советской и эмигрантской, чем Оцуп.

Мы пламенно любим друг друга
Советский невольник, наш брат.

Обе эти литературы страдальческие. Одной нехватает свободы, другой народной стихии.

Как часто я прикидывал в уме,
Какая доля хуже:
Жить у себя, но как в тюрьме,
Иль на свободе, но в какой то луже.

Но изнурителен чужой язык,
И не привыкли мы к его чрезмерным дозам,
И эта наша песнь — под тряпкой вскрик,
Больного бормотанье под наркозом.
Но под приказом тоже не поется
И может быть в потомстве отзовется
Не их затверженный мотив,
А наш полузадушенный призыв.

Но подлинная значительность Н. А. Оцупа сказывается в его отношении к свободе. Я вряд ли ошибусь если скажу, что это был один из самых свободолюбивых писателей. Присяжных певцов и пророков свободы у нас больше чем надо. Но людей внутренне свободных и до конца независимых очень мало. Гражданская свобода, как первая, элементарная ступень, мало занимает Оцупа. Предмет его помыслов — высшая ее ипостась, связанная с духовной жизнью человека, с творчеством. Выражение «свобода творчества» представляется ему тавтологией. «Свобода может быть воистину свободой только, если она творческая, так же как творчество может лишь тогда называться этим именем, когда оно совершенно свободно». Он едва ли не острее других переживал трагедию свободы творчества. Заключалась она не в одном большевизме. Были и в эмиграции покушения на нее, как раз, со стороны кругов больше всех клявшихся именем свободы. Случилось так, что Оцупу пришлось скрестить шпаги по этому поводу с поэтом, да еще с таким, который на заре символизма, вместе с Мережковским, Волынским, Минским, отстаивал писательскую свободу, а потом покинул Россию во имя все

той же свободы. То была Зинаида Гиппиус. Она, Мережковский и другие в поэзии требовали «не простого равенства общественно-политических вопросов с другими человеческими, но полное и подавляющее превосходство первых». Они как-бы хотели поэзии наподобие советской, только с другим политическим знаком. Позицию Антона Крайнего Оцуп назвал «большевизмом наизнанку». И как жаль, что в эмиграции давно забыты его замечательные слова: «Сознаем ли мы, что политика — важное дело, особенно сейчас, особенно для русских? Да сознаем. Но не хотим ее неограниченной власти над всеми другими интересами человека». «Не против политики, а против ее тирании» восставал он. Антибольшевиком он хотел быть «не по указке политических деятелей, а по своему разумению, занимаясь своим прямым делом». По нашим временам, это целый литературный манифест.

Тогда Н. А. Оцуп создал журнал «Числа», как прибежище для эмигрантской молодежи, терпевшей утеснения. И не вина Оцупа, что лучшее, что печаталось в «Числах», принадлежало перу, главным образом, старшего писательского поколения, а не молодежи, ради которой были созданы «Числа».

Внешняя независимость не исчерпывает проблемы писательской свободы; необходимо избавление от власти всего навязанного, намеренно внедренного в человека, от всех «святынь», принятых не душой и сознанием, а внедренных политикой.

Женщины, которые в народ
(И в Сибирь) идут и погибают
И семнадцатый готовят год,
Нас теперь не эти восхищают.
Мне бы легче было воспевать
Более простую героиню,
Только женщину и только мать,
Мать с ребенком, кроткую богиню...
Но увы, святая простота
Многих раздражает неспроста.

Смелость высказываний делают Н. А. Оцупа одним из борцов с призраками прошлого, заступающими нам путь. Если усилия эмиграции не окажутся напрасными, если им суждено когда-нибудь сделаться вкладом в дело национального возрождения, то Оцуп не будет забыт русской литературой. Он не должен быть забыт и по причине своей страстной любви к России.

Пока над ним тяготело обвинение в эстетстве, пока стихи и статьи его были разбросаны по журналам и отдельным изданиям,

патриотизм его оставался в тени; только собранные (хоть и не полностью) вместе они представили образ глубоко страдающего вдали от родины изгнанника. Сомневаться в силе и искренности его любви невозможно, он, поистине «солнце схоронил» в той земле, где родился и вырос. И обосновал свою привязанность с обычной для него независимостью: «То, что гитлеровцы называли «Блу-Бо» (Blut und Boden) вовсе не презренная категория ценностей: свое, национальное органически историческое крепче всех интернациональных теорий». Русскость его выдержала испытание в годы изгнания — испытание Францией и Италией. Что значила наша Русь перед их сказочными богатствами? Но она устояла и до конца дней осталась заветным ларцом, в котором хранилась душа поэта.

Я Запада нелегкие уроки
Лишь для тебя учу мой край далекий
. . . . . .
. . . . . Но твоего врага
Давно от всей души умею ненавидеть
За то, что он в тебе добра не хочет видеть.
. . . . . .

Россию он воспринимал, как жребий ему назначенный.

. . . . . Великая утрата
Остаться без нее... А может быть тогда-то
Такую (и такое) потеряв,
Но ей чужим или врагом не став,
Тогда-то может быть и чувствуешь впервые
Всю жизни глубину... Мне трудно без России.

Даже волнение, охватившее его, как еврея, в связи с созданием государства Израиль и с новым периодом еврейской истории, не в силах было оттолкнуть его от России. Чувствуешь, что евреем он будет в том случае, если останется русским, если найдет путь единения России и еврейства через генетическую связь Библии с Евангелием, иудейства с христианством.

Мы чувствуем сквозь лед и зной
Ягве, Христа с Марией
Над жизнью Запада больной
Над дорогой Россией.

Каким же зельем приворожен он к ней? Патриотический опыт Оцупа

имеет принципиальное значение. Без чего нельзя оставаться русским и без чего Россия — не Россия?

Мы давно освободились от ложных национальных устоев, не выдержавших испытания. Они переменились на наших глазах. А Россия по всеобщему мнению, все-таки существует. Она погибнет в тот день, когда исчезнет русская культура и русский язык. Оцуп признается в их великой для него притягательной силе. Прочнее тех уз, которыми привязывают его к России Пушкин, Баратынский, Тютчев, Достоевский, вся русская литература — он не знает. Пусть на свете есть другие литературы богаче, славнее — тот аромат, которым он с детства зачарован, живет только в российской словесности. И не он ли определил причину недуга эмигрантской словесности, как отрыв от народной стихии?

Николай Авдеевич Оцуп был выдающимся человеком. Вместе с такими, как Муратов, Ходасевич, Вейдле, он представлял мозг эмиграции. Не одной только ее артистической части. Нам теперь видно, что подлинно политическое значение за границей имела ушедшая в изгнание русская культура. Страдать за нее, размышлять над ее судьбой, заботиться о продлении ее жизни — есть акция политическая.

Н. Ульянов

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

Вольная Мысль. Сентябрь 1961, № 3. Из-ние «Вольной Мысли». Аргентина.

НИКОЛАЙ ИРКОЛИН. *Вера и знание.* Изд-во ЦОПЭ. Мюнхен, 1961.

Проф. И. НИКОДИМОВ. *Трагедия советской молодежи.* Изд-во ЦОПЭ. Мюнхен, 1961.

Б. ДВИНОВ. *Московский Совет Рабочих Депутатов (1917—1922).* Воспоминания. Издание Inter-University Project on the History of the Menshevik Movement. Paper No. 1. New York. 1961.

Маркс против России. Анализ неизвестных статей. Изд-во ЦОПЭ. Мюнхен, 1961.

ТИБОР МЕРАИ. *Тринадцать дней, которые потрясли Кремль.* Перев. с английского В. Осипова. Изд-во Ф. Прегера. Нью-Йорк. 1961.

БАРБАРА УОРД. *Пять идей, которые меняют мир.* Перев. с англ. И. Матвеева. Изд-во Ф. Прегера. Нью-Йорк, 1961.

ДАВИД КОЙЛ. *Политическая система Соединенных Штатов и как она действует.* Перев. с англ. М. Корякова. Изд-во Ф. Прегера. Нью-Йорк, 1961.

В. В. РОСТОУ. *Стадии экономического роста.* Перев. с англ. В. П. Марченко. Изд-во Ф. Прегера. Нью-Йорк, 1961.

КОНРАД СВЕТ. *Весна в октябре.* Польская революция 1956 года. Перевод с англ. Ю. Большухина. Изд-во Ф. Прегера. Нью-Йорк, 1961.

МИЛОВАН ДЖИЛАС. *Новый класс.* Изд-во Ф. Прегера. Нью-Йорк, 1961.

Б. АНДРИАН. *Обреченные.* Роман в стихах. Монреаль. Канада, 1961.

НИКОЛАЙ ОЦУП. *Жизнь и смерть.* Стихи, т. 1 и т. 2. Париж, 1961.

БОРИС ПАСТЕРНАК. Три тома сочинений под редакцией Глеба Струве и Бориса Филипова. Ранние стихи (1912—1932). Том I. Проза (1915—1958). Том II. Статьи и стихи. Том III. Изд-во The University of Michigan Press. Ann Arbor, 1961.

DAGOBERT D. RUNES. The Art of Thinking. Philosophical Library. New York. 1961.

ARENA. 2. July 1961. Published by the P.E.N. Center for Writers in Exile. London, 1961.

W. S. WOYTINSKY. Stormy Passage. A Personal History Trough Two Russian Revolutions to Democracy and Freedom: 1905-1960. The Vanguard Press, Inc. New York, 1961.

НИКОЛАЙ ОЦУП. Современники. Париж, 1961.

НИКОЛАЙ ОЦУП. Литературные очерки. Париж, 1961.

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧ. Вклад русской эмиграции в мировую литературу. Париж, 1961.

ПОЛИНА ОШЕРОВА. Почему мы любим музыку. Нью Йорк, 1959.

THE SOVIET REVIEW. A Journal of Translations. Vol. 2, No. 4, April 1961, Published monthly by International Arts and Sciences Press. New York.

PROBLEMS OF THE PEOPLES OF THE USSR. A quarterly magasine. No. 11. 1961, Munich.

ERIC O. JOHANNESSON. The World of Isak Dinesen. University of Washington Press. Seattle, 1961.

АБРАМ ТЕРЦ. Фантастические повести. Instytut Literacki. Paryz, 1961.

И. ИВАНОВ. *Есть ли жизнь на Марсе?* Комедия в 3-х актах с прологом и эпилогом. Instytut Literacki. Paryz, 1961.

ВИКТОР ПЕТРОВ. *Сага Форта Росс.* Книга 1. Принцесса Елена. Изд. В. Камкина. Вашингтон. 1961 г.

ВСЕВОЛОД СОЛОВЬЕВ. *Вольтерьянец.* Хроника четырех поколений. Часть первая. Изд. В. Камкина. Вашингтон. 1961.

ВСЕВОЛОД СОЛОВЬЕВ. *Сергей Горбатов.* Хроника четырех поколений. Часть первая. Изд. В. Камкина. Вашингтон. 1961.

ВСЕВОЛОД СОЛОВЬЕВ. *Сергей Горбатов.* Хроника четырех поколений. Часть вторая. Изд. В. Камкина. Вашингтон. 1961.

СЕРГЕЙ МАКОВСКИЙ. *На Парнасе Серебряного Века.* Изд. ЦОПЭ. Мюнхен 1962.

S. J. ARBATOFF. *Vida Perdida.* Traducción del Alemán por Ana M. Hosselbartch. Edit. Planeta. Barcelona. 1961.

АЛЕКСАНДР ЕСЕНИН-ВОЛЬПИН. *Весенний лист.* Параллельный текст русский и английский. Английский перевод Джорджа Риви. Изд-во Фредерик Прегер. Нью-Йорк. 1961.

КНИГА 62-я: Из литературного наследства И. А. Бунина. *Борис Пастернак* — Безлюбье. *О. Анстей* — Стихи. *Вл. Корвин-Пиотровский* — Два рассказа. *Н. Моршен* — Стихи. *С. Максимов* — Фома Погребцов. *В. Ляпин* — Стихи. *Н. Туроверов* — Конец Суворова. *Странник* — Стихи. *В. С. Яновский* — Заложник. *Н. Ульянов* — Алданов-эссеист. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: Письма Александра Н. Бенуа. *В. Муромцева-Бунина* — Беседы с памятью. *Ек. Брешковская* — Как я ходила в народ. *Н. Нижальский* — Рыбий Бог. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: *Н. С. Тимашев* — Ломка советской школы. *Д. Н. Иванцов* — Легенды о советской деревне. *Ю. Марголин* — Интеллигенция в лагере. *Н. Нароков* — Старые мехи. *Г. В. Вернадский* — Из древней истории Евразии: Хунну. СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ: Четыре письма В. И. Иванова к В. Ф. Ходасевичу. БИБЛИОГРАФИЯ: *Д. Шуб* — L. Shapiro. The Communist Party of the USSR. *Б. Прянишников* — G. Bailey. The Conspirators. *В. Завалишин* — Л. Ржевский. Двое на камне. *Д. Викор* — Dr. B. Ischboldin. Economic Synthesis. *К. Солнцев* — У истоков русского книгопечатания. *Роман Гуль* — Л. Н. Толстой. Христианство и церковь.

КНИГА 63-я: Восьмидесятилетие Б. К. Зайцева. *Георгий Иванов* — Посмертный дневник. *Алла Кторова* — Кларка-террористка. *И. Одоевцева* — Стихи. *П. Штейнгель* — Кавказская степь. *Д. Кленовский* — Стихи. *В. С. Яновский* — Заложник. *Лидия Алексеева* — Стихи. *В. Ледницкий* — Л. Н. Толстой. *Вл. Злобин* — Из черновой тетради. *П. Ершов* — Толстой-драматург. *В. Завалишин* — Борис Зайцев (к восьмидесятилетию). ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: *Е. Петров-Скиталец* — Об отце. *Н. Берберова* — Конец Тургеневской библиотеки. *Письма М. Цветаевой к Г. П. Федотову. В. Муромцева-Бунина* — Встречи с писателями в 1907-08 г.г. *Вл. Бурцев* — Азеф и ген. Герасимов. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: *Г. Гинс* — О возможностях предвидения и будущем России. *Н. С. Тимашев* — Вместо комментария. *Ю. Деникс* — На темы дня. *Б. Двинов* — Л. Мартов (Ю. О. Цедербаум). СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ: *Историк* — О предках Ленина (письмо в редакцию). *Д. Шуб* — По поводу письма «Историка» и статьи Н. Валентинова о предках Ленина. БИБЛИОГРАФИЯ: *К. Солнцев* — О новом издании Ключевского. *Ю. Офросимов* — Л. Алексеева. В пути.

КНИГА 64-я: *Ив. Бунин* — Десятого сентября. *З. Гиппиус* — Стихи. *Д. Мережковский* — Св. Иоанн Креста. *Олег Ильинский* — Стихи. *С. Санинян.* — Ксения. *И. Одоевцева* — Стихи. *В. С. Яновский* — Заложник. *Алексис Раннит* — Стихи. *Г. Адамович* — Table Talk. *А. Величковский* — Стихи. *Н. Берберова* — Великий век. *Вл. Смоленский* — Таисии Смоленской (стихи). *В. Вейдле* — О ранней прозе Пастернака. *Ек. Таубер* — «Розы или рожь?» ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: *Н. Н.* — Дневник разочарованного коммуниста. *В. Н. Муромцева-Бунина* — Беседы с памятью. Италия. *А. Седых* — М. А. Алданов. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: *В. Некрасов* — «Московские чудаки». *Гр. Аронсон* — С. М. Дубнов, как историк. *Н. С. Тимашев* — Вместо комментария. *Т. И. Троянов* — Новый уголовный кодекс РСФСР. СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ: *Ю. Арбатский* — Humanitas Heroica. БИБЛИОГРАФИЯ: *Д. Шуб* — R. Daniels. The Conscience of the Revolution. *В. Завалишин* — Л. Т. Осипова. Явное рабство и тайная свобода. *A. Yarmolinsky.* Literature Under Communism.

КНИГА 65-я: *Л. Ржевский* — Через пролив. *Д. Кленовский* — Стихи. *Д. Мережковский* — Св. Иоанн Креста. *Вл. Корвин-Пиотровский* — Калифорнийские стихи. *В. Варшавский* — Мечтание. *Н. Туроверов* — Конь. *Р. Плетнев* — О животных в творчестве М. Ю. Лермонтова. *К. Померанцев* — Стихи. *Д. Гольдштейн* — Переделка писем Достоевского. *И. Одоевцева* — Стихи. ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ: *Ю. Анненков* — Воспоминания о Ленине. *А. Седых* — И. А. Бунин. *Б. Одинцов* — Высшая школа в 1918-22 г.г. *И. С. Ильин* — Комуч. *К. Вендзягольский* — Савинков и Керенский. ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА: *Н. Нижальский* — Эволюция Павлова. *Ю. Денике* — Труд порабощенной мысли. *Н. С. Тимашев* — Сталинский террор и перепись 1959 года. *В. Вейдле* — Похороны Блока. СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ: *Проф. Б. С. Ижболдин* — Русские историки о татарском иге. *А. Билимович* — О бюллетене русской зарубежной печати. БИБЛИОГРАФИЯ: *Ричард Пайпс* — A. Walicki. Osobowość a historia. *В. Варшавский* — «Воздушные пути». *Артур Адсон* — A. Rannit. Verse an Wiiralt und an das Geklaerte Gleichnis. *Л. Алексеева* — О. Ильинский. Стихи. *Н. Тимашев* — И. Курганов. Нации СССР и русский вопрос. *Ю. Арбатский* — Очерки по истории первого московского ордена Ленина медицинского института имени И. М. Сеченова. *Роман Гуль* — Игорь Чиннов. Линии. *Роман Гуль* — Л. Ржевский. Показавшему нам свет. *Л. Алексеева* — Н. Белавина. Синий мир.

УКАЗАТЕЛЬ
СОДЕРЖАНИЯ 8-ми КНИГ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»
(1960-1961)

УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ВОСЬМИ КНИГ «НОВОГО ЖУРНАЛА», с 59-ой по 66-ю. (1960—1961)

ПРОЗА

Бунин, Ив. — Десятого сентября. 64. Портрет. «Когда я впервые». 66.
Варшавский, Вл. — Мечтание. 65.
Газданов, Г. — Панихида. 59.
Корвин-Пиотровский, Вл.— Два рассказа. 60. Два рассказа. 62.
Кторова, Алла — Кларка-террористка. 63.
Лапикен, П. — Соловей. 66.
Максимов, Сергей — Фома Погребцов. 62.
Мережковский, Д. — Св. Иоанн Креста. 64, 65.
Нижальский, Н. — Фарт. 59. На Араксе. 61.
Пастернак, Борис — Безлюбье. 62.
Петров-Скиталец, Е. — Полёт. 61.
Ржевский, Л. — Через пролив. 65.
Саинян, Сурен — Ксения. 64. Философ. 66.
Сапронов, Анатолий — Революция. 66.
Таубер, Ек. — Сосны молодости. 59.
Темирязев, Б. — Рваная эпопея. 59, 60, 61.
Туроверов, Н. — Конец Суворова. 62.
Штейнгель, П. — Кавказская степь. 63. За дрофами. 66.
Яновский, В. С. — Заложник. 60, 61, 62, 63, 64.

СТИХИ

Адамович, Георгий — Отрывок. 59.
Алексеева, Лидия — 60, 63.
Анстей, Ольга — 62.
Берберова, Н. — 59.
Бунин, И. А. — Из литературного наследства. 59, 60, 61, 62.
Величковский, А. — 61, 64.
Гиппиус, Зинаида — 64, 66.

Елагин, Иван — Льдина. 66.
Злобин, Владимир — Из черновой тетради. 63. 66.
Иванов, Вячеслав — 61.
Иванов, Георгий — Посмертный дневник. 59, 61, 63.
Ильинский, Олег — 64, 66.
Кленовский, Д. — 61, 63, 65.
Корвин-Пиотровский, Вл. — Калифорнийские стихи. 65.
Ляпин, Виктор — 62.
Маковский, Сергей — Requiem. 59.
Можайская, О. — 59.
Моршен, Николай — Ямбы. 60, 62, 66.
Одоевцева, Ирина — 60. Разностопные ямбы, 61, 63, 64, 65.
Померанцев, К. — 65.
Раннит, Алексис — 64.
Смоленский, Вл. — 64.
Странник — 62.
Туроверов, Н. — Смерть, 61. Конь, 65.
Форштетер, М. — 61.
Чехонин, М. — Индейские мотивы. 66.
Чиннов, Игорь — 59.

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Адамович, Г. — Наши поэты, (Ирина Одоевцева) 61.
Берберова, Н. — Великий век, 64.
Вейдле, В. — О ранней прозе Пастернака, 64. Похороны Блока, 65. Ходасевич издали-вблизи. 66.
Гольдштейн, Д. — Переделка писем Достоевского, 65.
Домогацкий, Борис — Н. А. Малько. 66.
Ершов, П. — Толстой-драматург, 63.
Завалишин, Вяч. — Борис Зайцев (к восьмидесятилетию), 63.
Зеньковский, В., прот. — Л. Толстой как мыслитель.
Иваск, Ю. — Бодлер и Достоевский, 60.
Ледницкий, В. — Л. Н. Толстой, 63.
Лосский, Н. — «Война и мир» Толстого и «Доктор Живаго» Пастернака, 61.
Маковский, С. — К. Случевский, предтеча символизма, 59.
Нароков, Н. — Оправдание Обломова, 59.
Одоевцева, Ирина — О «Ремизове» Наталии Кодрянской, 61.
Офросимов, Ю. — Против течения, 61.
Петровская, Тамара — Об эстонской поэзии. 66.

Плетнев, Р. — Об одном чешском поэте, 60. О животных в творчестве М. Ю. Лермонтова, 65.
Таубер, Ек. — «Розы или рожь», 64.
Трубецкой, Н. С. — О двух романах Достоевского, 60. Ранний Достоевский, 61.
Ульянов, Н. — Д. Кленовский, 59. Алданов-эссеист, 62.
Фогельман, Л. — Шолом Алейхем, 59.

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

Адамович, Г.— Мои встречи с Алдановым, 60. Table Talk. 64, 66.
Анненков, Ю. — Воспоминания о Ленине, 65.
Аронсон, Г. — Записки провинциального журналиста, 61.
Бенуа, Александр — Письма, 62.
Берберова, Н. — Конец Тургеневской библиотеки, 63.
Бертенсон, С. — В. И. Немирович-Данченко в Холливуде, 60.
Брешковская, Ек. — Ранние годы, 60. Как я ходила в народ, 62.
Бунин, Ив. — К моему завещанию. 66.
Вендзягольский, К. — Савинков и Керенский, 65.
Гершензон, М. О. — Письма к В. Ф. Ходасевичу, 60.
Зайцев, Бор. — Давнее, 61.
Зубов, В., гр. — Страницы воспоминаний, 61.
Зуров, Леонид — Литературное завещание И. А. Бунина. 66.
Иванов, В. И. — Письма к В. Ф. Ходасевичу, 62.
Ильин, И. С. — Комуч, 65.
Кауфман, Л. — Мой отец — Шолом Алейхем. 66.
Милюков, П. Н. — Дневник. 66.
Муромцева-Бунина, В. Н. — Беседы с памятью, 59, 60, 62, 63, 64.
N. N. — Дневник разочарованного коммуниста, 64.
Нижальский, Н. — «Кавказский пленник», 60. Рыбий Бог, 62.
Одинцов, Б. — Высшая школа в 1918—22 г.г., 65.
Петров-Скиталец, Е. — Об отце, 63.
Седых, А. — М. А. Алданов, 64. И. А. Бунин, 65.
Цветаева, М. — Письма к Г. П. Федотову, 63.
Штеппа, К. — Ежовщина, 59, 60.

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

Аронсон, Гр. — С. М. Дубнов, как историк, 64.
Бурцев, Вл. — Азеф и ген. Герасимов, 63.
Валентинов, Н. — О предках Ленина и его биографиях, 61.

Вернадский, Г. В. — Повесть о Сухане, 59. Из древней истории Евразии: Хуину, 62.
Верховской, С. проф. — О Гоголе. 66.
Гинс, Г. — О возможностях предвидения и будущем России, 63.
Давыдов, А. — Декабристы и крестьянский вопрос, 59.
Двинов, Б. — Назад к Ленину? 59. Л. Мартов (Ю. О. Цедербаум), 63.
Денике, Ю. — Вместо комментария, 59. К диагнозу современного кризиса, 61. На темы дня, 63. Труд порабощенной мысли. 65. Из европейских впечатлений. 66.
Зеньковский, В. прот. — Мифология в науке. 66.
Иванцов, Д. Н. — Легенды о советской деревне, 62.
Карпович, М. М. — Два типа русского либерализма, 60.
Левицкий, С. — Толстой и Шопенгауэр, 59.
Марголин, Ю. — Интеллигенция в лагере, 62.
Нароков, Н. — Старые мехи, 62.
Некрасов, В. — В. И. Вернадский, 61. Московские чудаки, 64.
Нижальский, Н. — Эволюция Павлова, 65.
Петров-Скиталец, Е. — Кронштадтский тезис сегодня, 59.
Солнцев, К. И. — О новом издании Ключевского, 63.
Станка, Владас — В. С. Войтинский, 61.
Степун, Ф. — Москва — Третий Рим, 60.
Тимашев, Н. С. — М. М. Карпович, 59. Вместо комментария, 60. Ломка советской школы, 62. Вместо комментария, 63. Вместо комментария, 64, Сталинский террор и перепись 1959 года, 65. Судьбы России. 66.
Троянов, Т. И. — Новый уголовный кодекс РСФСР, 64.
Шмеман, А. прот. — Церковь, государство, теократия, 59.
Шуб, Д. — Европейский социализм и советский коммунизм. 66.

БИБЛИОГРАФИЯ

Книги на русском языке

Г. Адамович — В. А. Маклаков. 59. *(А. Гольденвейзер).*
Лидия Алексеева — В пути. 63. *(Ю. Офросимов).*
Н. Белавина — Синий мир. 65. *(Л. Алексеева).*
«Воздушные пути». 65. *(Вл. Варшавский).*
В. Дудинцев — Новогодняя сказка. 59. *(Роман Гуль).*
Е. А. Извольская — Американские святые и подвижники. 60. *(Роман Гуль)*
Олег Ильинский — Стихи. 65. *(Л. Алексеева).*
Ю. Лавріненко — Розстріляне відродження. 59. *(О. Анстей).*

Книга о русском еврействе 60, *(Д. Шуб)*.
«Культура» — русский номер. 60. *(Роман Гуль)*.
И. Курганов — Нации СССР и русский вопрос. 65. *(Н. Тимашев)*.
Ю. Марголин — Еврейская повесть. 66. *(Г. Аронсон)*.
Владимир Марков — Гурилевские романсы. 61. *(Ю. О.)*.
Мосты. 59. *(Вяч. Завалишин)*.
Л. Т. Осипова — Явное рабство и тайная свобода. 64. *(Вяч. Завалишин)*.
Очерки по истории Первого Московского ордена Ленина медицинского института имени И. М. Сеченова. 65. *(Юрий Арбатский)*.
Л. Ржевский — Двое на камне. 62. *(Вяч. Завалишин)*. Показавшему нам свет. 65. *(Роман Гуль)*.
Странник — Странствия. 59. *(В. З.)*.
Б. С. Тельпуховский — Великая отечественная война Советского Союза 1941—45 г.г. 59. *(Б. Прянишников)*.
Л. Н. Толстой — Христианство и церковь. 62. *(Роман Гуль)*.
У истоков Русского Книгопечатания. 62. *(К. Солнцев)*.
Игорь Чиннов — Линии. 65. *(Роман Гуль)*.

Книги на иностранных языках

Geoffrey Bailey — The Conspirators. 62. *(Б. Прянишников)*

Robert Vincent Daniels — The Conscience of the Revolution. 64. *(Д. Шуб)*

Dr. Boris Ischboldin — Economic Synthesis. 62. *(Д. Викор)*

Isaac Don Levine — The Mind of an Assassin. 60. *(В. В.)*

Aleksis Rannit—Verse an Wiiralt und an das Geklaerte Gleichnis. 65. *(Артур Адсон)*

Leonard Schapiro — The Communist Party of the Soviet Union. 62. *(Д. Шуб)*

Antoni Slonimski — Nowe Wiersze. 59. *(Зоя Юрьева)*

Fedor Stepun—Der Bolschewismus und die Christliche Existenz. 59. *(В. Франк)*

Abraham Yarmolinsky — Literature under Communism. 64. *(Вяч. Завалишин)*

Andrzej Walicki—Osobowość a historia. 65. *(Ричард Пайпс)*

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

Арбатский, Юрий — Humanitas Heroica. 64.
Билимович, Александр — О бюллетене русской зарубежной печати. 65.
Вельмин, А. — Американская помощь голодающим в Киеве. 59.
Восьмидесятилетие Б. К. Зайцева. (Редакция). 63.
Иванов, П. К. — Н. А. Бердяев и В. А. Тернавцев. 60.
Ижболдин, Б. С. — Русские историки о татарском иге. 65.
Историк — О предках Ленина (Письмо в редакцию). 63.
Чернов В. М. — Из детства. 60.
Шмеман, А., прот. — Умер Пастернак. 60.
Шуб, Д. — По поводу письма «Историка» и статьи Н. Валентинова о предках Ленина. 63.

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ

ПЛАЧ О ЕСЕНИНЕ

Поэма

Изд-во «Мост» Цена 1 дол.

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

1943-1958

СТИХИ

Вступительная статья **Романа Гуля**

Издание «Нового Журнала» Цена 2 дол.

А. И. ГЕРЦЕН

НЕИЗДАННЫЕ ПИСЬМА

к Н. И. и Т. А. Астраковым

Приготовил к печати **Л. Л. Домгер**

Издание «Нового Журнала» Цена 1 д. 50 ц.

РОМАН ГУЛЬ

СКИФ В ЕВРОПЕ

(Бакунин и Николай 1-й)

Издательство «Мост» Цена 2 д. 50 ц.

РОМАН ГУЛЬ

АЗЕФ

Исторический роман

Издательство «Мост» Цена 3 д. 50 ц.

Эти книги можно заказывать в редакции «Нового Журнала». Можно заказывать все ранее вышедшие книги «Нового Журнала» за исключением № 1 и № 3. До № 25 книги стоят 2 дол. (10 центов пересылка), начиная с книги № 26 — 2 долл. 25 цент. (10 центов пересылка).

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ"

под редакцией

Р. Б. ГУЛЯ, Ю. П. ДЕНИКЕ, Н. С. ТИМАШЕВА

ДВАДЦАТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ

●

В 1962 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

●

Подписная цена 9 долл. в год (за 4 книги)

Цена одной книги — 2 дол. 25 цент.

Во Франции — 8 франков.

●

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ «НОВОГО ЖУРНАЛА»:

The New Review, 2700 Broadway
New York 25, N. Y.

Телефон редакции и конторы: MO-6-1692.

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня